

"ELECTRIFYING!"
ONE OF THE MOST PROFOUNDLY IMPORTANT
BESTSELLERS OF OUR TIME.

THE FABULOUS JOURNEY OF A MAN
IN SEARCH OF HIMSELF.



ZEN
AND THE
ART OF
MOTORCYCLE
MAINTENANCE

AN INQUIRY INTO VALUES

ROBERT M. PIRSIG

NEW YORK TIMES BESTSELLING AUTHOR OF LILA

Annotation

Легендарный американский писатель, бывший битник, мыслитель, моралист, затворник, дзен-буддист, Роберт Мэйнард Пирсиг ныне редко появляется на публике и с неохотой дает интервью. Вышедший в 1974 году роман "Дзен и искусство ухода за мотоциклом" сделал своего автора, бывшего составителя научно-технической документации, настоящим духовным лидером целого поколения.

Это автобиография ума и тела, задающихся проклятыми вопросами человеческого существования, пытающихся установить новую систему жизненных ценностей. "Дзен и искусство ухода за мотоциклом" — по-настоящему захватывающий роман, философия которого примиряет технологию и религию, лотос и гаечный ключ.

- [Роберт М. Пирсиг](#)

-

-

- [ЧАСТЬ I](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [ЧАСТЬ II](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [ЧАСТЬ III](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [ЧАСТЬ IV](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [Послесловие к изданию 1984 года](#)
-

Роберт М. Пирсиг

Дзен и искусство ухода за мотоциклом

Исследование некоторых ценностей

“Настоящий мотоцикл, с которым вы работаете — это машина, которая называется “вы сам”

“Рассмотрение искусства ухода за мотоциклом по существу представляет собой миниатюрное исследование искусства рациональности как таковой. Если работаешь с мотоциклом, работаешь хорошо и с любовью, то сам становишься частью процесса, процесса по достижению спокойствия духа. Мотоцикл, в сущности, — это умственное явление”

Роберт М. Пирсиг

От автора

То, что изложено здесь, основано на фактических событиях. Хотя многое я изменил по стилистическим причинам, в основном всё это следует рассматривать как факт. Однако, никоим образом изложенное не следует ассоциировать с огромным объёмом фактических сведений, имеющих отношение к ортодоксальной практике дзен-буддизма. То же самое относится и к мотоциклу.

*И что такое благо, Федр,
И что такое зло —
Надо ли просить кого-либо рассказывать нам об
этом?*

ЧАСТЬ I

Даже не подымая кисти с левой ручки мотоцикла, я вижу по часам, что сейчас восемь тридцать утра. Ветер, даже при скорости в шестьдесят миль в час, тёплый и влажный. Раз уж он такой сырой и горячий в восемь тридцать, то каким же будет после полудня?

В порывах ветра чувствуются резкие запахи с болот у дороги. Мы находимся в районе Центральных равнин среди тысяч охотничьих болот, где водятся утки, и направляемся от Миннеаполиса на северо-запад к Дакотам. Шоссе представляет собой старую бетонную двухполосную дорогу, на которой не так уж много движения с тех пор, как несколько лет назад параллельно с ним пролегла новая чертырёхполосная магистраль. Когда мы проезжа-ем болото, воздух сразу же становится прохладнее. Затем он снова теплеет.

Как я рад, что снова еду по этой местности! Эта глушь ни-чем не знаменита, и хотя бы только поэтому нравится мне. На таких старых дорогах расслабляешься. Мы трясёмся по избитому бетону среди рогоза и лугов, а дальше опять рогоз и болотная трава. То тут, то там открывается водная гладь, и если приглядеться, то можно заметить диких уток на окраинах зарослей рогоза. И черепахи... Вон дрозд с красноватыми крыльями.

Я хлопаю Криса по колену и показываю на него.

— Что? — кричит он.

— Дрозд!

Он что-то ответил, но я не расслышал.

— Что? — ору я.

Он берёт меня за шлем и вопит: “Да я их столько видел, пап!”

— Вот как! — откликаюсь я. Затем киваю. В одиннадцать лет дрозды с красноватыми крыльями не очень-то впечатляют. Для этого надо быть постарше. У меня лично всё это связано с воспоминаниями, которых у него нет. Помню холодное утро давным-давно, когда болотная трава была бурой, а рогоз качался под северо-западным ветром. Резкий запах тогда исходил от грязи, которую я размесил своими сапогами-заколенниками, пока мы выбирали место в ожидании восхода солнца в день, когда открывался сезон охоты на уток. И зиму, когда болота промёрзли и замерли, и можно было ходить по льду и снегу среди пожухлого рогоза, а кругом не видно ничего кроме серого неба, стылости и мерзлоты. Дроздов тогда не было. Но теперь

июль, они уже вернулись, и всё кругом брызжет жизнью, каждая пядь этих болот гудит и чирикает, жужжит и воркует, целое сообщество миллионов живых существ живёт здесь своей жизнью в некотором роде блаженной бесконечности. Путешествуя на мотоцикле, все вокруг видится совсем иначе в сравнении с другими видами странствований. В автомобиле всегда находишься в замкнутом пространстве, и поскольку к нему привыкаешь, то практически не сознаёшь, что из окна машины видишь лишь ещё одну картину как по телевизору. Ты просто пассивный наблюдатель, и всё нудно проплывает мимо тебя как в кадре.

На мотоцикле же кадра нет. У тебя устанавливается связь со всем окружающим. Ты сам находишься на сцене, а не просто наблюдаешь за ней со стороны, при этом чувство присутствия просто потрясающе. Этот бетон, шипящий в пятнадцати сантиметрах под ногами, настоящий, точно такой же, по какому мы ходим, он тут-вот, хоть и смазанный от скорости и его нельзя чётко рассмотреть, и всё же можно просто опустить ногу и коснуться его в любое время. А всё вокруг, весь опыт постоянно присутствует в сознании.

Мы с Крисом едем в Монтану, а может и дальше, впереди нас едут наши друзья. Наши планы преднамеренно расплывчаты, мы больше стремимся просто путешествовать, а не добраться до какого-либо конкретного места. Мы просто проводим отпуск. Предпочитаем второстепенные дороги. Лучше всего мощёные сельские дороги, дороги штатного подчинения — на втором месте. Хуже всего для нас — большие магистрали. Мы хотим хорошо провести время, но при этом делаем упор на “хорошо”, а не на “время”. А когда ценности смещаются таким образом, то меняется целиком и весь подход к предприятию. Петляющие дороги на холмах долги с точки зрения секунд, но от них получаешь гораздо больше удовольствия на мотоцикле, когда делаешь вираж на повороте, а не болтаешься из стороны в сторону в кабине. Дороги, где мало движения, гораздо приятнее, к тому же безопаснее. Лучше всего дороги, где нет придорожных ресторанов и громадных щитов с рекламой. Дороги, где рощи, луга, сады и палисадники подходят к самой обочине, где дети машут вам вслед, где люди смотрят с крыльца, кто это там едет, где можно остановиться и спросить, куда ехать дальше или ещё что-нибудь та-кое. А ответ при этом получается более пространственным, чем того хочется. К тому же вас спрашивают, откуда вы едете и как долго уже в пути.

Вот уже несколько лет, как мы с женой и друзьями пристрастились к таким дорогам. Иногда мы съезжали на них ради разнообразия или чтобы срезать путь до другой магистрали. И каждый раз природа оказывалась

настолько великолепной, что мы съезжали с шоссе с чувством облегчения и радости. Мы поступали так раз за разом, не сознавая очевидного: эти дороги действительно отличаются от основных. Здесь совсем другой ритм жизни, люди, живущие у таких дорог, очень своеобразны. Они никуда не ездят. Они не настолько заняты, чтобы не уделить вам внимания. Им хорошо известно о сущем и происходящем вокруг. Об этом почти забыли те, кто много лет тому назад переехал в город, об этом забыли их потомки. И мы с радостью сделали это открытие. Я иногда удивлялся, почему нам потребовалось так долго понять это. Всё у нас было перед глазами, а мы не видели этого. Нам, вероятно, вдолбили мысль, что настоящая жизнь — в городе, а это всё лишь тоскливая глушь. Удивительное дело. Правда стучится к вам в дверь, а вы говорите: “Прочь, я ищу истину”. И она уходит. Странно как-то.

Но как только мы дошли до этого, то ничто уж нас, естественно, не могло отвлечь от таких дорог: по выходным, вечерами, в отпуске. Мы стали настоящими приверженцами глухих дорог при мотоциклетных поездках и поняли, что в пути можно многому на-учиться.

Например мы научились находить хорошие дороги даже по кар-те. Если черта извилиста, — это хорошо. Это значит — там холмы. Если это основной маршрут из одного города в другой — это плохо. Лучше всего те, которые ведут из ниоткуда в никуда, и у них к тому же есть обходной путь, который гораздо короче. Если направляешься из большого города на север, то никогда долго не едешь по прямой. Только выедешь и начинаешь двигаться то на север, то на восток, затем снова на север и вскоре попадаешь на второстепенную дорогу, которой пользуются только местные жители.

Главное тут — не заблудиться. Поскольку этими дорогами пользуются лишь местные жители, которые знают их наизусть, ни-кто не жалуется на отсутствие указателей на перекрёстках. А если они и помечены, то, как правило, это небольшая табличка, которая скромно прячется где-то среди сорняков, и не более того. И уж очень редко знаки дублируются. Если вы проглядели знак среди зарослей, — это ваша проблема. Более того, выясняется, что дорожные карты частенько не очень-то точны в отношении сельских дорог. Время от времени получается так, что “сельская дорога” переходит из двухколейной в одноколейную и затем заканчивается на каком-то пастбище или же выводит вас на задний двор чьей-либо фермы.

Итак, мы путешествуем большей частью наугад, стараясь делать выводы лишь по тем признакам, какие нам попадаются. У меня в кармане есть компас на случай пасмурных дней, когда нельзя определить

направление по солнцу, а над бензобаком на специальной подставке у меня укреплена карта, так что можно вести отсчёт расстояния от последнего перекрёстка и составить себе представление, что делать дальше. С таким снаряжением и при отсутствии необходимости “куда-либо добраться” у нас всё выходит отлично, и вся Америка — в нашем распоряжении. По праздникам в День труда и День памяти мы проеезжаем много миль по этим дорогам, не встречая ни одной машины, пересекаем федеральное шоссе и видим его запруженным машинами вплотную до самого горизонта. В них сидят люди с кислыми физиономиями. На задних сиденьях плачут дети. Мне так хочется им что-нибудь сказать, но они куксятся и куда-то всё торопятся и всё никак не...

Эти болота я видел тысячу раз, но опять нахожу в них нечто новое. Их нельзя назвать благодатными. Их можно назвать суровыми и бессмысленными, так оно и есть на самом деле. Но их наличие просто подавляет воображение. Вот! Напуганная нашим шумом, огромная стая краснокрылых дроздов вылетает из гнёзд среди рогоза. Я снова хлопаю Криса по колену... и вспоминаю, что он уже видел их прежде.

— Что? — снова кричит он.

— Да так.

— Так что же?

Просто проверить, на месте ли ты, — ору я, и на этом разговор замирает.

Если вы не большой любитель просто поорать, то на работающем мотоцикле не очень-то разговоришься. И тогда проводишь время в созерцании и размышлениях. Виды и звуки, состояние погоды и воспоминания, машина и окружающая среда. Думаешь обо всём этом на досуге, никто тебя не торопит, и нет ощущения, что зря теряешь время.

И вот теперь мне хочется воспользоваться этим временем, чтобы поговорить о том, что пришло на ум. Как правило, все мы куда-то торопимся, и нам просто некогда поговорить. В результате получается какая-то повседневная обыденность, монотонность, и годы спустя задаёшься вопросом, куда же делось это время, жаль, что оно прошло. Теперь же мы знаем, что время у нас есть, и мне хотелось бы потратить его, чтобы потолковать достаточно подробно о том, что представляется важным. Я имею в виду некоторого рода шатокуа, — никакого другого названия не приходит на ум, — подобно тем странствовавшим по Америке палаточным труппам, по той самой Америке, где мы находимся сейчас. В былые времена проводились такие популярные беседы, как просветительские, так и развлекательные, чтобы расширять кругозор и прививать культуру и

просвещение желающим послушать. Вездесущие радио и телевидение потеснили шатокуа, но мне кажется, что вряд ли это к лучшему. В результате таких перемен поток национального сознания, пожалуй, стал теперь и шире и быстрее, но всё-таки он как-то обмелел. Он уже не уместается в старом русле, и в поисках новых по берегам возникает неразбериха и разрушения. В этой беседе мне не хочется прорубать в сознании новые каналы, я просто углублю прежние, те, что заилились остатками заскорузлых мыслей и общих мест, которые повторяются слишком часто. “Что новенького?” — интересный и вечный вопрос, но если заняться исключительно им, то он выливается в бесконечный парад банальности и моды: это — завтрашний ил. Вместо этого я хотел бы перейти к вопросу: “Что лучше всего?”, вопросу, который больше устремлён вглубь, чем вширь, вопросу, ответы на который смыывают ил вниз по течению. В истории человечества есть такие периоды, когда курс мыслей уходил слишком глубоко, ничего нельзя было изменить, не происходило ничего нового и “лучшее” становилось просто догмой. Но теперь положение совсем иное. Теперь поток нашего общего сознания как бы размывает берега, теряет основное направление и цель, затопляет низины, разъединяет и изолирует возвышенности. И всё это ради никакой конкретной цели, кроме как для осуществления своей внутренней разрушительной инерции. Да, каналы требуется углублять.

Впереди нас наши спутники Джон Сазэрлэнд и его жена, Сильвия, съехали на придорожную площадку для отдыха. Пора размяться. Когда я подъезжаю к ним, Сильвия снимает шлем и встряхивает головой, чтобы распустить волосы, а Джон ставит свой БМВ на стоянку. Мы все молчим. Мы столько уж раз бывали вместе в таких поездках, что просто по внешнему виду определяем само-чувствие друг друга. Сейчас мы все спокойны и осматриваемся. В этот утренний час все пикниковые скамейки пусты. Вся площадка в нашем распоряжении. Джон пошёл по траве к чугунной колонке и стал качать воду, чтобы попить. Крис побрёл по травянистому холму сквозь деревья вниз к небольшому ручью. Я же просто осматриваюсь.

Немного погодя Сильвия садится на деревянную скамью, вытягивает ноги и, опустив взор вниз, поочерёдно медленно подымает их вверх. Затянувшееся молчание означает, что у неё скверное настроение, и я говорю ей об этом. Она поднимает глаза и затем снова смотрит вниз.

— Это всё те люди в машинах, что ехали нам навстречу, — говорит она. — Первый из них выглядел так тоскливо. У следующего был точно такой же вид, и у следующего тоже, все они выглядели одинаково.

— Но они же просто едут на работу.

Она всё понимает, и ничего особенного тут нет.

— Ну видишь ли, на работу, — повторяю я. — Утром в понедельник. Не выспавшись. Ну кто же отправляется на работу в понедельник с ухмылкой?

— Но у них такой отрешённый вид, — отвечает она. — Все как мертвецы. Какая-то похоронная процессия.

Она опускает ноги на землю. Я чувствую, что она хочет сказать, но логически это ни к чему не приводит. Ведь работа-есть, чтобы жить, а они как раз это и делают.

— А я рассматривал болота, — говорю я. Немного погодя она поднимает взор и спрашивает: “И что же ты увидел?”

— Целую стаю краснокрылых дроздов. Когда мы проезжали мимо, она вдруг взлетела.

— Ага.

— Мне было приятно вновь увидеть их. Они увязывают многое, мысли и прочее. Так ведь?

Она поразмыслила и улыбнулась. Деревья позади неё отливали темной зеленью. Она понимает тот язык, который не имеет никакого отношения к тому, что говорится. Как дочь.

— Да, — говорит она. — Они прекрасны.

— Понаблюдай за ними.

— Хорошо.

Появляется Джон и проверяет поклажу на мотоцикле. Поправляет верёвки, открывает сумку и начинает рыться в ней.

— Если тебе понадобится верёвка, ты только попроси, — говорит он. — Боже, да у меня её тут в пять раз больше чем надо.

— Пока не надо, — отвечаю я.

— А спички? — продолжает он, по-прежнему копаясь. — Лось-он от загара, расчёски, шнурки... шнурки? Шнурки-то нам за-чем?

— Не заводись, — говорит Сильвия. Они уставились друг на друга, затем перевели взгляд на меня.

— Шнурки ведь иногда рвутся, — торжественно изрекаю я. Они улыбаются, но не друг другу. Вскоре подходит Крис, и нам можно ехать. Пока он собирается и садится на мотоцикл, они выезжают и Сильвия машет нам рукой. Мы снова выезжаем на шоссе, и я вижу как они удаляются вперёд.

Тему беседы, которую я имею в виду на данную поездку, подсказала мне эта пара много месяцев назад, и возможно, хоть я и не знаю этого

наверняка, связана с некоторым подспудным потоком несоответствия между ними.

Полагаю, что дисгармония нередко встречается в любом браке, но в их случае она представляется более драматичной. По край-ней мере мне.

Не то чтобы у них было столкновение личностей; это нечто такое, в чём нельзя винить ни того, ни другого, но ни у кого из них нет какого-либо решения проблемы. Я и сам не уверен, что знаю решение, у меня только есть кое-какие мысли на этот счёт.

Эти мысли возникли при появлении казалось бы несущественного расхождения во мнениях у меня с Джоном по пустяковому поводу: как много следует ухаживать за своим мотоциклом. Мне представляется естественным и нормальным воспользоваться не-большим набором инструментов и брошюрой по уходу, прилагаемой к машине, и самому отлаживать и настраивать её. Джон же считает иначе. Он предпочитает поручить это компетентному механику с тем, чтобы всё сделать как следует. В каждой из этих точек зрения нет ничего необычного, и наши незначительные разногласия никогда бы не разрослись, если бы мы не проводили так много времени в совместных поездках и в разговорах о том, что только придёт в голову, пока мы сидим в придорожных ресторанах попивая пиво. А на ум обычно приходит то, о чём дума-лось за последние полчаса или три четверти часа со времени последнего разговора. Коль речь заходит о дорогах, погоде, людях или о том, что пишут в газетах, или просто нахлынут воспоминания, то разговор завязывается легко и непринуждённо. Но если речь зайдёт о состоянии машины, то тут возникает заминка. Разговор больше не клеится. Возникают паузы и непоследовательность в мыслях. Как если бы два старых приятеля, католик и протестант, сидели мирно за пивом, наслаждаясь жизнью, и вдруг возникла тема регулирования рождаемости. Наступает сплошное оцепенение. И когда случается нечто подобное, то это как если бы вы вдруг заметили, что из зуба выпала пломба. Его просто нельзя оставить в покое. Вы касаетесь его, ощупываете, облизываете не потому, что это приятно, а просто потому, что от этого нельзя отвязаться. И чем больше я обдумываю и обсасываю во-прос об уходе за мотоциклом, тем больше он меня раздражает и, естественно, вызывает потребность снова и снова возвращаться к нему. Не преднамеренно будоражишь его, а потому, что раздражение кажется симптоматичным и чем-то более глубоким, не находящимся на поверхности, чем-то таким, что не сразу очевидно. В разговоре о регулировании рождаемости трудности и проблемы возникают не из-за того, что следует иметь больше или меньше детей. Это всё на

поверхности. В основе же лежит конфликт верований, веры в эмпирическое социальное планирование в противовес вере в величие Бога, как это дано в учении католической церкви. Можно выбиваться из сил, доказывая практичность планирования семьи, но это ни к чему не приводит, так как ваш оппонент просто не считает, что нечто социально практичное хорошо само по себе. У его блага другие источники, которые он расценивает ничуть не меньше, или даже больше, чем социальную практичность.

Вот так и с Джоном. Я могу до хрипоты распинаться о практической пользе ухода за мотоциклом, а его это вовсе не трогает. Как только я произношу пару фраз на эту тему, глаза у него становятся совершенно отсутствующими, и он меняет тему или же просто отворачивается. Он даже слышать не хочет об этом.

И вот тут Сильвия полностью на его стороне. Она даже более эмоциональна при этом. Если она в задумчивости, то говорит:

“Ну это совсем другое дело”. Если же нет, то режет: “Всё это ерунда.” Они даже не хотят вникать. И даже слышать об этом. И чем больше я стараюсь выяснить, отчего же мне нравится работать с техникой, а им нет, тем более скользкой становится тема. И конечная причина этого незначительного в начале расхождения мнений уходит далеко, далеко вглубь. С порога следует исключить их неспособность к пониманию. Оба они весьма смышлённые люди. Если бы они только захотели взяться за дело, то каждый из них сумел бы за полтора часа научиться налаживать мотоцикл. А уж сколько бы они выиграли в плане денег, хлопот и времени, — даже и не сосчитать. И им это известно. А может и нет. Трудно сказать. Я так и не задавал им этого вопроса. Лучше уж оставить всё как есть. Но помнится, однажды в невыносимо жаркий день в Сэвидже, Миннесота, я просто взорвался. Мы пробыли в баре около полу-тора часов и, когда вышли, мотоциклы так нагрелись, что мы с трудом уселись на них. Я завёл свой и готов был уже ехать, а Джон всё ещё пинает рычаг стартера. В воздухе пахло бензином, как рядом с нефтеперерабатывающим заводом, и я говорю ему об этом, полагая, что он поймёт: пересосал бензин.

Да, я тоже чую, — отвечает он и продолжает качать. Качает и качает, подскакивает и снова качает, а я не знаю, что же ему сказать ещё. Наконец он совсем запыхался, пот льёт ручьями у него по лицу, он больше не в силах качать. Я предлагаю ему вывернуть свечи, просушить их и проветрить цилиндры, а мы тем временем сходим и дёрнем ещё пива. О Боже мой, нет. Он не хочет проделывать всё это.

— Что всё?

— Ну, доставать инструмент и всё такое прочее. И с чего бы он не

заводился. Машина совсем новая, а я действую точно по инструкции. Видишь, я совсем закрыл воздушную заслонку, как там и сказано.

— Полностью закрыл?!

— Так сказано в инструкции.

— Но ведь это на холодном двигателе!

— Ну так ведь он не работал больше получаса, по меньше мере, — отвечает он.

Я чуть не вздрогнул. — Но ведь сегодня так жарко, Джон, — говорю я — И они остывают гораздо дольше даже в морозный день. Он чешет голову. — Ну так почему же об этом не говорится в инструкции? Он открывает заслонку, и со второго раза мотор заводится.

— Да пожалуй так оно и есть, — весело говорит он.

А на другой день мы оказались почти в том же месте и всё произошло снова. На этот раз я решил не проронить ни слова, и когда моя жена велела мне пойти и помочь ему, я только покачал головой. Я сказал ей, что пока он действительно не почувствует, что ему нужна помощь, он просто обозлится на такое предложение. Так что мы пошли, сели в тенёчке и стали ждать.

Я заметил, что он был сверх вежлив с Сильвией, пока заводил мотор, а это значило, что он просто в ярости, а она смотрела на всё это с выражением “Господи ты боже мой!” Если бы он подал мне хоть малейший намёк, я бы мигом подошёл и помог, но он не стал. Когда он, наконец, завёл машину, прошло минут пятнадцать.

Позже мы снова пили пиво у озера Миннетонка, за столом шла оживлённая беседа, а он молчал, и я чувствовал, что внутри у него всё просто кипит. И наконец, видимо, чтобы расслабиться, он произнёс: “Знаешь.... когда он вот так не заводится... я просто зверею. Меня просто охватывает паранойя.” Кажется при этом он расслабился, затем добавил: “Видишь ли, у них в про-даже был только один этот мотоцикл. Эта дрянь. И они не знали, как им быть с ним: то ли отправить его обратно на завод, то ли сдать в металлолом, то ли... И вот в последний момент поя-вился я. С восемнадцатью сотнями долларов в кармане. Тогда они поняли, что все проблемы у них решены.” Чуть ли не нараспев я повторил ему призыв настроить мотоцикл, и он попробовал прислушаться. Иногда он прилагает к этому усилия. Но затем вновь нашло затмение, и он направился к буфету за новой порцией выпивки для всей компании, и на этом обсуждение этой темы закончилось.

Нет, он не упрям, не уколоб, не ленив, не глуп. Просто не нашлось лёгкого объяснения. Так всё и повисло в воздухе, некая тайна, от разгадки которой отказываешься, ибо нет смысла ходить вокруг да около и пытаться

найти разгадку, которой вовсе не существует.

Мне подумалось, что я, пожалуй, сам помешан на этом пункте, но потом отбросил такую мысль. Большинство туристов-мотоциклистов умеют наладить свою машину. Владельцы автомашин обычно не лезят в мотор, но в любом мало-мальски приличном городишке есть мастерская с дорогостоящим подъёмником, специальным инструментом и диагностической аппаратурой, приобрести которые обычный владделец автомашины позволить себе не может. Но автомобильный двигатель гораздо сложнее, и подобраться к нему труднее, чем к мотоциклетному, поэтому так поступать разумнее. Но для мотоцикла Джона, БМВ Р60, могу спорить, не найдётся специалиста-механика отсюда до самого Солт-Лейк-Сити. Если у него сгорят контакты или свеча, он пропал. Я точно знаю, что у него с со-бой нет запасных контактов. Он даже не знает, что это такое. Если они выйдут из строя где-нибудь на западе Северной Дакоты или в Монтане, то не знаю уж, что он будет делать. Может при-дётся продать мотоцикл индейцам. И я знаю, как он ведёт себя сейчас. Он тщательно избегает даже думать об этом. БМВ славится своей безотказностью в пути, и именно на это он и рассчитывает.

Можно подумать, что они так по особому относятся именно к мотоциклам, но позднее выяснилось, что и к другим вещам также... Однажды утром у них на кухне ждал, пока они соберутся, и обратил внимание, что кран у раковины подтекает, затем вспомнил, что он ведь капал и в прошлый раз; насколько я помню, он капал у них всегда. Я сказал об этом Джону, и тот ответил, что пробовал было починить его, заменив прокладку, но из этого ни-чего не вышло. Больше он ничего не сказал. Оставалось предположить, что на этом вопрос исчерпан. Если пробуешь починить кран, и ничего не получается, то такова уж твоя доля жить с капающим краном.

Тут мне пришло в голову, а не влияет ли им на нервы это капанье, кап-кап-кап, неделя за неделей, из года в год, но не заметил никакого раздражения или беспокойства с их стороны по этому поводу, и сделал вывод, что их просто не волнуют такие вещи, как протекающие краны. Бывают же такие люди. Не помню уж, что заставило меня изменить это мнение... интуиция, прозрение, а может перемена в настроении Сильвии в один прекрасный день, когда стало капать особенно громко в то время, как она разговаривала. У неё очень тихий голос. И как раз, когда она пыталась перекричать этот шум, появились дети и перебили её, она вышла из себя и набросилась на них. Вряд ли бы она так рассердилась на детей, если бы кран не капал в то время, как она разговаривала. Она взорвалась, когда этот

шум совпал с гамом детей. Больше всего меня при этом поразило то, что она совсем не винила кран, она преднамеренно не сердилась на него. Она вовсе не выбросила его из головы! Она прос-то подавляла своё раздражение краном, хотя этот распроклятуший кран чуть не доконал её! Но в силу каких-то причин она просто не хотела признавать важность этого.

Я удивлялся, а зачем подавлять свой гнев на капающий кран? А затем это состыковалось с уходом за мотоциклом, над моей головой ярко вспыхнула лампочка, и я подумал: “Ах-х-х-х!” Дело вовсе не в уходе за мотоциклом, не в кране... Они про-сто не воспринимают технику. Затем всё стало становиться на свои места, и тогда я понял, в чём дело. Как Сильвия рассердилась на одного из друзей, когда тот сказал, что программирование на ЭВМ — “творчество”. Все их рисунки, картины и фотографии, на которых нет места технике. Нет уж, она не позволит себе сердиться на кран. Ведь всегда подавляешь в себе ми-молётный гнев на то, что глубоко и постоянно ненавидишь. Так и Джон всегда уклоняется от разговоров о ремонте мотоцикла, даже когда очевидно, что он страдает от этого. Это техника. Точно, верно и очевидно. Насколько просто, если поймёшь. Они прежде всего и сели на мотоцикл, чтобы удрать от техники на природу, где свежий воздух и светит солнце. И если я снова пытаюсь вернуть их к ней именно в то время и в том месте, где они полагают, что избавились от неё, то они просто цепенеют. Вот почему наш разговор на эту тему всегда прерывается и замирает.

Сюда вписывается и прочее. Иногда они с болью перебрасываются несколькими словами об “этом” и “обо всём этом”, напри-мер как в предложении: “Ну куда от этого денешься?” И когда я спрашиваю: “От чего?”, то ответ будет: “Ну от всего этого”, “Всей этой структуры” или даже “Системы”. Сильвия даже однажды настороженно произнесла: “Тебе хорошо, ты умеешь справляться с этим”. Это меня настолько обескуражило, что я даже не спросил “с чем?” и так и остался в недоумении. Мне подумалось, что это нечто более таинственное, чем техника. Но теперь понимаю, что “это”, главным образом, если не полностью, техника. И всё-таки что-то здесь не совсем так. “Это” — некая сила, которая подводит к технике, нечто неопределённое, бесчеловечное, механическое, безжизненное, какое-то слепое чудовище, сила смерти. Они бегут от чего-то ужасного, но знают, что им не убежать. Я тут немного утрирую, но если отбросить эмоции и строгие рамки, то по существу так оно и есть. Где-то есть люди, которые понимают всё это и управляют им, но ведь они техники, и когда они говорят о своих делах, то говорят на каком-то

нечеловеческом языке. Это всё какие-то детали и взаимоотношения каких-то неслыханных штук, которые невозможно понять, сколько бы тебе ни толковали о них. Это их дело, это чудовище пожирает нашу землю и загрязняет нам воздух и озёра, от него никак нельзя отбиться, и вряд ли от него можно убежать.

К такому впечатлению не так уж трудно придти. Проойдитесь по промышленному району большого города, и там-то всё оно и есть, эта техника. Она окружена высокими заборами с колючей проволокой, закрытые ворота, таблички “Посторонним вход воспрещён”, а за ними сквозь дымный воздух просматриваются уродливые странные очертания из металла и кирпича, назначение которых неизвестно, а хозяев никогда не видать. Непонятно, для чего это всё, зачем оно здесь — никто не скажет, и ты лишь чувствуешь себя отчуждённым и посторонним, как будто тебе здесь не место. Тот, кто владеет всем этим, кто понимает это, — тому ты здесь не нужен. И вся эта техника некоторым образом превратила тебя в чужака на своей собственной земле. Сам её вид, её формы и таинственность гласят: “Убирайся прочь”. Тебе известно, что где-то этому есть объяснение, и то, что здесь делается, несомненно, каким-то косвенным путём служит человечеству, но ты этого не видишь. Ты видишь только таблички “Посторонним в...” и “Не входить”, а не что-либо полезное людям, ты видишь людишек как муравьёв, которые служат этим странным, непостижимым формам. И тогда думаешь, если бы ты был частью этого, если бы ты не был здесь чужаком, то был бы просто ещё одним муравьём, обслуживающим эти формы. И в конечном итоге возникает чувство враждебности, и мне кажется, что необъяснимое иначе отношение к этому Джона и Сильвии всё-таки связано с этим. Всё, что связано с клапанами, валами и ключами, — это часть дегуманизированного мира, и они просто не хотят думать о нём. Они не хотят с ним связываться.

И коль это так, то они не одиноки. Нет сомнения в том, что они поддались своим собственным естественным чувствам, а вовсе не подражают кому-либо. И многие другие также полагаются на свои чувства и не пытаются подражать другим; чувства очень многих людей в этом сходятся. Так что если посмотреть на них коллективно, как это делают журналисты, то возникает впечатление массового движения, массового движения против техники. Возникает массовое левое политическое движение против техники, появившееся совершенно из ниоткуда с лозунгами: “Долой технику”, “Занимайтесь ей в другом месте, только не здесь”. Его несколько сдерживает тонкая паутина логики, указывающая на то, что без заводов не было бы работы и приличного уровня жизни. Но есть

человеческие силы сильнее логики. Они были всегда, и если они достаточно окрепнут в своей ненависти к технике, то эта паутина может лопнуть.

Такие клише, как “битники” или “хиппи” были придуманы для людей, выступающих против техники, против системы, и они будут возникать и потом. Но личность не превращается в массу людей простым созданием массового термина. Джон и Сильвия — люди не из массы, и большинство остальных, идущих этим путём, также не представляют собой массу. Весь их протест как бы направлен против того, чтобы превратиться в частичку массы. Они чувствуют, что техника тесно связана с силами, которые стремятся превратить их в коллектив, и это им не нравится. До сих пор это проявлялось главным образом в пассивном сопротивлении, в сельской местности иногда возникают стычки и тому подобное, но вовсе не обязательно всё это будет настолько пассивным всегда.

Я расхожусь с ними во мнениях относительно ухода за мотоциклом, но вовсе не потому, что не сочувствую им по поводу техники. Мне просто кажется, что их бегство от техники и ненависть к ней — саморазрушительны. Верховное Божество, Будда, чувствует себя так же уютно в цепях цифровой ЭВМ и в шестернях коробки передач мотоцикла, как и на вершине горы или в лепестках цветка. Думать иначе — значит принижать Будду, то есть принижать самого себя. Вот об этом-то я и хотел поговорить в этой шатокуа.

Мы уже проехали болота, но воздух всё ещё настолько влажен, что можно прямо смотреть на жёлтый круг солнца, как если бы в небе был дым или туман. Но мы уже находимся в зеленеющей сельской местности. Дома фермеров — чистые, белые и свежие. И нет больше никакого дыма и тумана.

Дорога въётся всё дальше и дальше... Мы останавливаемся, чтобы отдохнуть и пообедать, потолковать о том, о сём и настроиться на долгую поездку. После обеда нас начинает одолевать усталость, которая сбавляет возбуждение первого дня, и мы едем спокойнее, не слишком быстро, не слишком медленно.

В бок нам дует юго-западный ветер, и мотоцикл как бы сам по себе подвывает под его порывами, чтобы сбавить его натиск. Недавно не дороге возникло какое-то особое ощущение, что-то вроде опасения, как будто за нами следят или следуют за нами. Но впереди нигде не видать машин, а в зеркале видно только Джона и Сильвию, едущих поотдадь.

Мы ещё не въехали в Дакоты, но обширные поля свидетельствуют, что они уже близко. Некоторые из них голубеют льняным цветом как длинные волны на поверхности океана. Склоны холмов стали круче и теперь господствуют повсюду, кроме неба, которое кажется ещё шире. Домишки фермеров вдалеке едва различимы. Земля начинает раскрываться перед нами.

Нет такого места или чёткой границы, указывающих на то, где кончается Центральная равнина и начинается Великая равнина. Постепенные перемены застают вас врасплох: как будто плывёшь из покрытой рябью гавани, и вдруг замечаешь, что волны стали круче и длинней, оглядываешься назад, а земли уже не видать. Здесь меньше деревьев, и я вдруг сознаю, что они здесь инородные. Их привезли сюда и посадили вокруг домов и рядами между полей, чтобы не продувал ветер. Но где их не сажают, там нет ни кустарника, никакой иной поросли, одни травы, иногда вперемешку с полевыми цветами и сорняком, но большей частью просто травы. Мы теперь едем по луговой местности. Теперь мы — в прерии.

У меня такое впечатление, что никто из нас толком не представляет себе, каковы будут эти четыре июльских дня, пока мы будем ехать по прерии. В памяти остались лишь автомобильные поездки по ней: всё время равнина и бесконечная пустота, насколько хватает взор; исключительная монотонность и скука, пока час за часом едешь по ней никуда не доезжая. Всё время думаешь, сколько же это будет так продолжаться без единого поворота, без каких-либо перемен на местности, простирающейся без конца до самого горизонта.

Джон беспокоился, что Сильвии это не понравится, и хотел было, чтобы она летела самолётом до Биллингса в Монтане, но мы с Сильвией отговорили его. Я убеждал их, что физические неудобства играют роль только тогда, когда плохое настроение. Тогда обращаешь внимание на эти неудобства и считаешь их причиной всего. Но если настрой боевой, то физические неудобства не играют большой роли. Думая о настроении и чувствах Сильвии, я не замечал, чтобы она жаловалась.

Кроме того, если прилететь в Скалистые горы на самолёте, то увидишь их в совсем другом плане, просто как живописную местность. А если попадешь туда после нескольких дней трудного пути по прериям, то увидишь их совсем иначе, как заветную цель, как землю обетованную. Если бы мы с Крисом и Джоном приехали с таким ощущением, а Сильвия увидела бы их лишь как «миленькое» и «чудное» место, то испытали бы больше дисгармонии, чем по прибытии туда после жары и монотонности Дакот. Мне, во всяком случае, нравится беседовать с ней, и я также думаю о себе.

Оглядывая эти поля, я мысленно обращаюсь к ней: "Видишь?... Видишь?", и мне кажется, что она видит. Затем, надеюсь, она тоже увидит и прочувствует нечто в этих прериях; нечто, о чём я уже перестал беседовать с другими, нечто, существующее лишь потому, что ничего другого нет, и всё это замечаешь только оттого, что всё остальное отсутствует. Иногда кажется, её настолько угнетает монотонность и скука городской жизни, что я предположил, может среди этих бескрайних трав и ветра она увидит то, что иногда является и тебе, когда уже смирился с монотонностью и скукой. Оно вот тут вот, рядом, но назвать его я никак не могу.

А вот теперь на горизонте я вижу то, что вряд ли замечают остальные. Далеко на юго-востоке, это видно лишь с вершины холма, на небе просматривается темная кромка. Надвигается буря. Возможно именно это и беспокоило меня. Я намеренно стараюсь не думать о ней, но знаю, что при такой влажности и ветре, вероятнее всего она настигнет нас. Жаль, если это случится в первый же день, но, как я уже говорил раньше, на мотоцикле ты сам находишься на сцене, а не наблюдаешь за ней со стороны, и именно бури составляют её неотъемлемую часть.

Если это лишь грозовой фронт или буря изломанной линией, то можно попробовать объехать их, но на этот раз всё совсем иначе. Эта длинная темная полоса без предшествующих кучевых облаков — холодный фронт. Холодные фронты — весьма буйны, а когда они появляются с юго-запада, то очень сильно бушуют. Нередко они переходят в торнадо. Если уж попался в них, то лучше затаиться где-нибудь и переждать. Они проходят

довольно быстро, а в прохладном воздухе после них ехать очень приятно.

Хуже всего теплые фронты. Они могут длиться по несколько дней подряд. Помню, мы с Крисом несколько лет тому назад ездили в Канаду. Проехали миль 130 и попали в тёплый фронт, о котором нас много раз предупреждали, но мы ничего в этом не поняли. Всё случившееся было грустно и глупо.

Мы ехали на маленьком мотоцикле с мотором в шесть с половиной лошадиных сил, перегруженные багажом, но недогруженные здравым смыслом. При умеренном встречном ветре он давал лишь сорок пять миль в час при полном газе. Это был вовсе не туристский мотоцикл. Мы добрались до большого озера в Северных лесах и разбили палатку во время грозы, которая длилась всю ночь. Я забыл прокопать канавку вокруг палатки, и около двух часов ночи к нам просочилась струя воды и промочила оба наших спальных мешка. Наутро мы были расстроены, промокшие и невыспавшиеся, но я посчитал, что, если мы поедem дальше, то дождь со временем перестанет. Ничего подобного. К десяти утра небо стало совсем тёмным, и все машины ехали со включёнными фарами. И затем небо прорвало совсем.

На нас были пончо, из которых мы накануне делали палатку. Теперь же они развевались как паруса и сбавили нам скорость до тридцати миль при полном газе. Воды на дороге было около двух дюймов. Вокруг нас сверкали молнии. Помнится изумлённое лицо одной женщины в окне проезжавшей машины. "Какого чёрта мы едем на мотоцикле в такую погоду?" Вряд ли бы у меня нашёлся ей подходящий ответ.

Мотоцикл сбавил скорость до двадцати пяти, затем до двадцати. Потом мотор стал давать сбои, чихать и перхатъ. Наконец, на скорости миль пять или шесть в час мы подъехали к захудалой старой бензоколонке рядом с делянкой лесоповала и завернули туда.

В то время я, как и Джон, совсем не интересовался тем, чтобы научиться уходу за мотоциклом. Помню, как я держал пончо над головой, чтобы дождь не попадал на бензобак и покачал мотоцикл между ногами. Кажется, бензин плескался где-то внутри. Посмотрел свечи, контакты в прерывателе, проверил карбюратор, затем до изнеможения пинал рычаг стартера. Мы зашли на бензоколонку, где была также совмещённая пивная и ресторанчик, и откушали подгоревший бифштекс. Затем я вернулся к мотоциклу и снова попробовал завести его. Крис всё время задавал мне вопросы, которые начинали сердить меня, ибо он не признавал, насколько всё это серьёзно. В конце концов я понял, что всё бесполезно, плюнул на всё, и гнев на него прошёл. Я очень осторожно, как мог, объяснил ему, что

всё кончено. Мы больше никуда не поедem на мотоцикле в эти каникулы. Крис предлагал проверить бензин, что я уже делал, и поискать механика. Но никаких механиков там не было и в помине. Только сосновая лесосека, кусты и дождь.

Я сидел с ним на траве на обочине дороги совершенно подавленный, разглядывал деревья и подлесок. Терпеливо отвечал на все вопросы Криса, и со временем их становилось всё меньше и меньше. Затем Крис понял, что наше путешествие на мотоцикле действительно закончилось, и расплакался. Тогда ему было лет восемь.

Мы добрались обратно к себе в город автостопом, взяли напрокат прицеп, сели в машину и вернулись за мотоциклом. Привезли его домой и начали путешествие снова на машине. Но это уже было совсем не то. И удовольствия от него мы получили не так уж много.

Недели две спустя после каникул, однажды вечером после работы я снял карбюратор, чтобы выяснить, в чём же дело, и ничего не нашёл. Чтобы смыть с него грязь, прежде чем установить на место, я отвернул кран бензобака, чтобы налить немного бензина. Но ничего не получилось. В баке совсем не было бензина. Я просто не поверил своим глазам. Мне до сих пор не верится, что это было так.

Сколько раз я мысленно проклинал себя за подобную глупость и вряд ли когда-либо прощу себе это. Очевидно, тот бензин, который как я слышал, плескался где-то, был в запасном баке, на который я так и не переключился. Тогда я не стал обстоятельно проверять его, ибо посчитал, что неполадка произошла из-за дождя. Я тогда не понимал, как глупо делать поспешные выводы. Теперь же у нас машина в двадцать восемь лошадиных сил, и я очень серьёзно отношусь к уходу за ней.

Вот меня обгоняет Джон, опустив руку и давая сигнал остановиться. Мы сбавляем ход и присматриваем подходящее место, чтобы съехать на гравийную обочину. Край бетонки довольно крутой, а гравий рыхлый, и мне совсем не по душе такой манёвр.

Крис спрашивает: "Зачем мы остановились?"

— Мы вроде бы пропустили наш поворот, — отвечает Джон.

Я оборачиваюсь, но ничего такого не вижу.

— Я и не видел никаких знаков.

Джон только качает головой.

— Большой как амбарные ворота.

— Правда?

Они с Сильвией утвердительно кивают.

Он наклоняется, изучает мою карту и показывает, где был поворот, а за

ним мост через большую магистраль. "Мы уже переехали это шоссе", — утверждает он. Видно, он прав. Вот незадача. — Поедем теперь назад или вперёд? — спрашиваю я.

Он задумался. — Пожалуй, нет смысла возвращаться. Ладно. Едем вперёд. Так или иначе мы туда доберёмся.

И теперь, следуя за ним, я думаю себе: "И как же это так получилось? Я ведь почти не заметил и магистрали. А теперь я забыл сказать им о буре. Что-то всё не так."

Грозовая туча значительно разрослась, но движется медленнее, чем я предполагал. Тоже не очень хорошо. Когда они надвигаются быстро, то вскоре затем и проходят. Если же подступают медленно, как теперь, то тут уж можно застрять надолго.

Зубами я стягиваю перчатку, опускаю руку и щупаю алюминиевую обшивку мотора. Температура подходящая. Слишком жарко, чтобы держать руку на ней, но и не так уж горячо, чтобы обжечься. Тут всё в порядке.

На моторах с воздушным охлаждением при перегреве случается «заклинивание». На этом мотоцикле такое уже бывало... целых три раза. И время от времени я проверяю его, точно так же, как проверяют пациента после инфаркта, даже если он совсем поправился.

При заклинивании поршни расширяются от перегрева, не умещаются больше в цилиндрах, схватываются с ними, иногда даже плавят их, мотор и заднее колесо блокируются, и мотоцикл начинает юзить. Когда это случилось впервые, голова у меня оказалась над передним колесом, а пассажир чуть ли не верхом на мне. На скорости около тридцати миль мотор отпустил и снова заработал, но я съехал с дороги и остановился, чтобы выяснить в чём дело. Мой пассажир только и смог вымолвить: "И зачем ты только это сделал?"

Я пожал плечами, ибо был удивлён ничуть не меньше его самого, и стоял, тупо глядя на проносящиеся мимо машины. Мотор был настолько горяч, что воздух вокруг него просто шипел, и мы чувствовали, как он излучает жар. Когда я послунил палец и приложил к нему, то он зашипел, как раскалённый утюг, и мы медленно поехали домой, при этом слышался новый звук, стук, означавший, что поршни больше не годятся, и требуется капитальный ремонт.

Я отдал машину в мастерскую, ибо посчитал, что ремонт не так уж сложен, чтобы заняться им самому, изучать все сложные детали и возможно заказывать запчасти и специальные приспособления, на всё это уйдёт масса времени, а ведь кто-то сможет сделать это быстрее, ну в некотором роде отношение Джона.

Мастерская оказалась совсем не такой, как я её себе представлял. Все механики, которые раньше казались мне опытными ветеранами, теперь выглядели просто детьми. Вовсю орало радио, а они дурачились, болтали о чём-то своём, и казалось, совсем не обращали на меня никакого внимания. Когда, наконец-то, один из них соизволил подойти, то едва послушав, как стучат цилиндры, он промямлил: "Ну да. Клапана."

Клапана? Вот тогда-то мне и следовало понять, что меня ожидает. Две недели спустя я заплатил по счёту 140 долларов, стал осторожно ездить на мотоцикле на малых скоростях, чтобы сделать ему обкатку и только после тысячи миль дал ему разгон. На скорости примерно в семьдесят пять миль он схватил снова и отпустил примерно на тридцати, точно так же, как и раньше. Когда я вернул его в мастерскую, меня обвинили в том, что я неправильно сделал обкатку, и лишь после долгих споров согласились снова посмотреть его. Они снова перебрали его и на этот раз взялись сами испытать его на скорости на дороге.

Его заклинило и у них.

После третьей переборки два месяца спустя они заменили цилиндры, вставили в карбюратор жиклёры последней комплектации, установили позднее зажигание, чтобы мотор нагревался как можно меньше и сказали мне: " Не ездь на нём быстро."

Он был весь в масле и не запускался. Я обнаружил, что свечи не подключены, присоединил их и запустил мотор, и вот теперь-то действительно застучали клапана. Они их совсем не отрегулировали. Я указал им на это, вышел какой-то парнишка с разводным ключом, небрежно настроил его и быстренько свернул обе гайки, крепящие алюминиевый кожух клапанов, испортив их начисто.

— Пойду посмотрю, есть ли на складе ещё такие, — сообщил он.

Я кивнул.

Он притащил кувалду и зубило и начал срубать их. Зубило соскочило, пробило алюминиевую крышку и я заметил, что он долбит головку цилиндров. Следующим ударом он промахнулся по зубилу, ударил по головке цилиндров и отколол два ребра охлаждения.

— Погоди, — вежливо попросил я, чувствуя себя как в кошмарном сне. — Ты только дай мне новые кожуха, и я возьму мотоцикл так, как есть.

Я убрался оттуда как можно скорее со стучащими клапанами, сбитыми кожухами, замасленной машиной и, выехав на дорогу, почувствовал вибрацию на скорости свыше двадцати миль в час.

На обочине я выяснил, что двух болтов, крепящих мотор не было совсем, на третьем не было гайки, и весь мотор держался только на одном

болте. Не было также винта, крепящего цепь натяжения кулачков, что означало, что регулировать клапана нет смысла. Кошмар.

Я ещё не делился с Джоном мыслью о том, чтобы отдать его БМВ в руки одного из этих людей. Но пожалуй мне следует сделать это.

Несколько недель спустя я обнаружил, отчего мотор заклинивает, ибо ждал, когда это произойдёт снова. Оказалось, что причина в двадцатипятицентовом штифте во внутренней системе подачи масла, его срезало, и масло не поступало в головку на большой скорости.

Снова и снова возникал вопрос "Ну почему?", и он стал основной причиной того, что я хочу провести эту шатокуа. Ну почему они так изуродовали его? Ведь эти люди в отличие от Джона и Сильвии не чураются техники. Они сами техники. Они взялись делать работу, а выполнили её как шимпанзе. Я не имею в виду никого лично. Ведь для того не было никакого очевидного повода. И я снова стал думать об этой мастерской, об этом кошмаре, пытаюсь припомнить хоть что-нибудь, что могло бы послужить причиной.

Разгадкой стало радио. Когда слушаешь радио, нельзя в сущности сосредоточиться на том, что делаешь. Но может быть они не считают свою работу связанной с мышлением, просто так, вертишь гайки. Ведь если можно вертеть гайки и слушать радио одновременно, то так оно и веселее.

Другая причина — торопливость. Второпях они теряли детали и даже не замечали этого. Так ведь больше заработаешь, если не задумываться, но, как правило, получается дольше или хуже.

Но главной разгадкой было их отношение к делу. Это трудно объяснить. Добродушные, любезные, свойские и...непричастные. Они просто зрители. Складывалось впечатление, что они сами забрели туда невзначай и кто-то дал им в руки ключ. Нет никакой причастности к работе. Никто не заявляет: "Я механик." В пять вечера, или когда там у них кончается смена, знаете, они всё бросают и гонят из головы всё, относящееся к работе. Да и во время работы они стараются не очень-то о ней думать. Они по своему достигли того же, чего добились Джон и Сильвия: жить в век техники и не иметь с ней ничего общего. Или, пожалуй, они имеют к ней какое-то отношение, но их собственное «я» не связано с ней, отстранено, отчуждено. Они занимаются ею, но любви к ней не испытывают.

Эти механики не только не нашли этот срезанный штифт, но прежде всего сам механик и сорвал его, когда пытался неправильно собрать боковой кожух. Помню, как прежний владелец сообщил мне, что его механик говорил ему, как трудно надеть этот кожух. Вот почему. В

инструкции по ремонту об этом говорится, но, как и остальные, он, возможно, слишком спешил или ему было просто не до того.

У себя на работе я тоже задумывался об отсутствии ответственности к делу в руководствах по цифровым ЭВМ, которые я редактирую. Остальные одиннадцать месяцев в году я зарабатываю себе на жизнь составлением и редактированием технических описаний и знаю, что они полны ошибок, двусмысленностей, пропусков и сведений, которые настолько запутаны, что прочесть их надо раз шесть, прежде чем доберёшься до сути. И впервые меня поразило то, что эти руководства выдержаны в том же духе постороннего человека, с которым я столкнулся в мастерской. Это руководства для стороннего наблюдателя. Эта мысль просто встроена в них. В каждой строке сквозит мысль: "Эта машина изолирована во времени и пространстве от всего на свете. Она не имеет отношения к вам, вы не имеете никакого отношения к ней, кроме как крутить такие-то ручки, поддерживать такое-то напряжение, проверять неисправности..." и так далее. Вот в чём дело. Механики совсем не отличаются в своём отношении к машине от этих руководств или к тем надеждам, с которыми я пришёл сюда со своим мотоциклом. Все мы сторонние наблюдатели. И тогда меня озарило, что нет такого руководства, которое бы по настоящему освещало ремонт мотоцикла, самый важный из всех аспектов его. Относиться с любовью к тому, что делаешь, считается либо неважным, либо самим собой разумеющимся.

В этой поездке, думается, следует отметить это, подразобраться в этом деле немного, выяснить в чем разница, между тем, что человек собой представляет и что он делает на самом деле, и тогда, черт возьми, мы может быть начнём понимать, что же всё-таки не так в нашем двадцатом веке. Я не хочу спешить. Это само по себе вредное свойство двадцатого века. Если вы торопитесь, то это значит, что вам уже надоело, и вам хочется заняться чем-то другим. Я же хочу заняться этим не спеша, с расстановкой и любовью, с тем отношением, которое у меня, помнится, было как раз перед тем, как я обнаружил ту срезанную шпильку. Только в результате такого отношения я и обнаружил её, и ничего прочего.

Теперь я замечаю, что земля вокруг стала совсем гладкой, как Евклидова плоскость. Нигде ни холма, ни горки. Это значит, что мы въехали в долину реки Ред-Ривер. Скоро доберёмся до Дакот.

К тому времени, как мы выезжаем из долины Ред-Ривер, грозовые облака уже появились повсюду и почти накрыли нас.

Мы с Джоном обсудили обстановку в Брекенридже и решили ехать дальше до тех пор, пока не придётся остановиться. Теперь уж недолго осталось. Солнце скрылось, дует холодный ветер и вокруг нас маячит пелена различных оттенков серого.

Она кажется громадной и устрашающей. Прерии здесь огромны, но зловещая серая масса, готовая опуститься на нас, страшит больше громадности прерии. Мы теперь можем двигаться только по её милости. Мы не в силах определить, когда и где она на-валится на нас. Нам остаётся только наблюдать, как она подходит всё ближе и ближе.

Когда самая серая темнота опустилась на землю, то пропал городок, который мы видели раньше, несколько небольших строений и водокачка. Вскоре мы туда доедем. Впереди больше не предвидится никаких городов, и нам просто придётся добираться до него во что бы то ни стало.

Я подъезжаю к Джону и, выбрасывая руку вперёд, делаю жест “Давай скорей!” Он кивает и поддаёт газу. Я даю ему отъехать немного вперёд и тоже набираю скорость. Мотор отлично тянет — семьдесят... восемьдесят... восемьдесят пять... мы теперь по настоящему чувствуем ветер, и я опускаю голову, чтобы сбавить его напор... девяносто. Стрелка спидометра прыгает назад и вперёд, но тахометр стабильно показывает девять тысяч... около девяноста пяти миль в час... и мы движемся, выдерживая та-кую скорость. Скорость слишком велика, чтобы смотреть на обо-чину дороги... Я тянусь вперёд и ради безопасности включаю фару. Но свет уже нужен так или иначе. Становится очень темно.

Мы проносимся по открытой плоской равнине, нигде нет ни машины, изредка попадаетея дерево, но дорога ровная и чистая, а мотор ровно гудит на полной мощности, что свидетельствует, что всё в нём порядке. Становится всё темней и темней.

Вспышка и сразу за ней раскат грома: “Трах-тарарах! Я вздрогнул, а Крис прижался головой к моей спине. Несколько предупредительных капель дождя... на такой скорости они кажутся иголками. Вторая вспышка и грохот, и всё вокруг засверкало... затем в сиянье следующей вспышки фермерский дом... мельница... о, Боже мой, он уже был здесь... сбрасывай газ... это его дорога... забор и деревья... и скорость падает до семидесяти,

затем шестидесяти и пятидесяти пяти миль, и я оставляю её такой.

— Отчего мы замедлили? — кричит Крис.

— Было слишком быстро!

— Да нет же!

Я всё же киваю утвердительно.

Тот дом и водокачка уже пропали, появилась небольшая сточная канава, и дорога на перекрёстке уходит к горизонту. Да... всё верно, думается мне. Совершенно верно.

— Они же уехали далеко вперёд! — орёт Крис. — “Давай быстрее!”

— Я отрицательно покачиваю головой.

— Ну почему? — кричит он.

— Небезопасно!

— Но ведь они-то уехали!

— Подождут!

— Гони же!

— Нет, — снова качаю головой. Тут просто какое-то ощущение. На мотоцикле полагаешься на ощущения, и мы едем дальше на скорости пятьдесят пять миль.

Начинается первый наплыв дождя, но впереди я уже вижу огни города... Я знал, что он здесь.

Когда мы подъезжаем, Джон и Сильвия уже ждут нас под первым же деревом у дороги.

— Что с вами случилось?

— Просто сбавили скорость.

— Ну это-то нам понятно. Что-нибудь не так?

— Да нет. Давайте уберёмся от этого дождя.

Джон говорит, что на другом конце города есть гостиница, но я отвечаю, что если свернуть вправо в нескольких кварталах отсюда у трехгранных тополей, то есть другая получше.

Мы сворачиваем у тополей, проезжаем несколько кварталов, и возникает небольшой мотель. В конторе Джон осматривается и произносит: “Хорошее место. Когда ты здесь бывал?”

— Не помню уж, — отвечаю я.

— Так как же ты узнал о нём?

— Интуиция.

Он смотрит на Сильвию и качает головой.

Сильвия вот уже некоторое время молча наблюдает за мной. Она замечает, что, когда я заполняю бумаги, руки у меня дрожат. “Ты совсем бледный, — замечает она. — Тебя что, потрясла молния?”

— Нет.

— У тебя такой вид, как будто ты видел привидение.

Джон и Крис смотрят на меня, и я отворачиваюсь от них к двери. Дождь по-прежнему сильный, но мы всё-таки бежим к своим номерам. Поклажа на мотоциклах защищена, и мы ждём пока пройдёт гроза, чтобы распаковать её.

После того, как дождь перестал, небо понемногу проясняется. Но из двора мотеля, глядя мимо тополей, я вижу, что надвигается вторая темнота, это уже ночь. Мы прогулялись по городу, поужинали, и к тому времени, как стало пора возвращаться на-зад, я почувствовал на себе усталость целого дня. Почти без движения мы отдыхаем в металлических креслах во дворе мотеля, потягивая пинту виски, которую Джон принёс вместе с каким-то тоником из холодильной комнаты мотеля. Медленно и с аппетитом виски убывает. Прохладный ночной ветерок шелестит листьями тополей вдоль дороги.

Крис осведомляется, что мы будем делать дальше. Этого ребёнка совершенно не берёт усталость. Новизна и необычность окружения мотеля возбуждают его, и ему хочется петь, как это бывало в лагерях.

— Ну, какие уж из нас певцы, — возражает Джон.

— Ну тогда давайте рассказывать истории, — предлагает Крис.

Он задумывается. — Вы знаете какую-нибудь хорошую историю про привидения? В нашем домике все ребята рассказывали истории про привидения.

— Ну вот ты нам и расскажешь, — отвечает Джон.

И он начинает. Забавно как-то их слушать. Некоторые из них я не слышал с тех пор, как был в его возрасте. Я говорю ему об этом, и Крис хочет послушать что-нибудь из моих, но я ничего не могу вспомнить.

Немного спустя он спрашивает: А ты веришь в привидения?

— Нет, — отвечаю я.

— А почему?

— Потому что они не-на-уч-ны.

Джон улыбнулся от того, как я это произнёс. “В них нет материи, — продолжаю я, — в них нет энергии, и поэтому, согласно законам науки, они существуют только в воображении людей.”

Виски, усталость и ветер в деревьях начинают путаться у меня в голове. — Конечно же, — продолжаю я, — законы науки тоже не содержат материи и в них нет энергии, и они тоже существуют только в умах людей. Лучше всего быть полностью научным во всём и отказываться верить как в привидения, так и в научные законы. Так оно вернее. Таким образом тебе

остаётся не так уж много, во что можно верить, но это тоже научный подход.

— Не понимаю, о чём ты говоришь, — произносит Крис.

— Да, я выражаюсь несколько калейдоскопически.

Крис отчаивается, когда я разговариваю таким образом, но вряд ли это вредит ему.

— Один из ребят в лагере Лиги молодых христиан говорил, что он верит в призраки.

— Он просто дурачил тебя.

— Нет, не дурачил. Он говорил, что, если неправильно похоронить человека, то его призрак возвращается и преследует людей. И он действительно так думает.

— Он просто морочил тебе голову, — повторяю я.

— Как его зовут? — спрашивает Сильвия.

— Том-Белый Медведь.

Мы с Джоном переглядываемся, поняв вдруг, в чём дело.

— О, индеец! — восклицает он.

Я смеюсь. — Мне тогда придётся немного отступить, — говорю я. Я имел в виду европейские призраки.

— А какая разница?

Джон заливается смехом. — Он тебя достал.

Немного поразмыслив, я отвечаю: — Ну, индейцы иногда не-сколько иначе смотрят на вещи, что с моей точки зрения не так уж и неверно. Наука не включает в себя часть индейских традиций.

— Том-Белый Медведь говорил, что его мать и отец велели ему не верить этому. Но бабушка нашептала ему, что это все-таки правда, и он верит.

Он просительно смотрит на меня. Иногда ему просто не хочется знать кое-какие вещи. И то, что ты калейдоскопичен, во-все не значит, что ты очень хороший отец. “Ну да, конечно” — я меняю позицию, я тоже верю в призраки.

Джон с Сильвией смотрят на меня с подозрением. Я чувствую, что мне нелегко будет выбраться из этого положения и собираюсь представить пространное объяснение.

— Вполне естественно, — продолжаю я, — думать о европейцах, которые верили в призраков, или индейцах, которые также верили в них из невежества. Научная точка зрения теперь смела все остальные мнения таким образом, что они представляются примитивными, так что если кто-то сейчас и говорит о призраках или привидениях, то его считают

невежественным или может чокнутым. Сейчас практически невозможно представить себе мир, где могут действительно водиться призраки.

Джон утвердительно кивает и я продолжаю.

— Я же лично считаю, что интеллект современного человека ещё не настолько вырос. Коэффициенты умственного развития не так уж сильно и различаются. Индейцы и средневековые люди были так же разумны, как и мы, но контекст, в котором они мыслили, был совершенно иным. Вот в таком контексте мышления призраки и привидения так же реальны как атомы, частицы и кванты для со-временного человека. В таком смысле я верю в духов. Тебе ведь известно, что у современных людей также есть свои призраки и привидения.

— Что?

— Ну, законы физики и логики... система чисел... принцип алгебраической подстановки. Вот это и есть призраки. Мы просто настолько уверовали в них, что они кажутся нам действительными.

— Мне они представляются реальными, — заявляет Джон.

— Не пойму, — замечает Крис.

И я продолжаю: Например, совершенно естественно предположить, что притяжение и закон всемирного тяготения существовали и до Исаака Ньютона. Было бы глупо думать, что до семнадцатого века притяжения не было.

— Ну конечно.

— Так когда начался этот закон? Всегда ли он существовал?

Джон нахмурился, стараясь понять, к чему это я клоню.

— Я же хочу сказать, — продолжаю я, — что понятие о законе всемирного тяготения существовало ещё до появления земли, до того, как образовались солнце и звёзды, до того, как появилось исходное поколение всего сущего.

— Ну да.

— Он существовал, хоть не имел своей собственной массы, никакой собственной энергии, он не присутствовал ни в чьём-либо воображении, ибо никого не было, ни в космосе, ибо и космоса не было, нигде.

Теперь Джон не столь уж уверен.

— И если закон тяготения существовал, — говорю я, — то я искренне не знаю, как же должно себя вести нечто, чтобы быть несуществующим. Мне кажется, что закон тяготения прошёл все испытания на небытие. Нельзя придумать каких-либо атрибутов небытия, которыми бы не обладал закон тяготения. Или же хоть один научный атрибут на бытие, которым бы он обладал. И всё-таки “здравый смысл” подсказывает, что он существовал.

Джон говорит: “Мне, пожалуй, надо подумать об этом.”

— Так вот, могу предсказать, что если ты будешь думать достаточно долго, то будешь ходить все вокруг да около, вокруг да около, и только тогда придёшь к единственно возможному, рациональному, разумному выводу. Закона тяготения и самого притяжения до Исаака Ньютона не было. Любой другой вывод не имеет смысла.

— А это значит, — спешу я, пока он не перебил меня, — это значит, что закон всемирного тяготения не существует нигде, кроме как в понятиях людей! Это призрак! Мы все слишком запальчивы и самодовольны, попирая призраки других людей, но в то же время так же невежественны, дики и суеверны в отношении своих собственных.

— Почему же тогда все верят в закон тяготения?

— Массовый гипноз. Это вполне ортодоксальная форма, известная под названием “просвещение”.

— Ты хочешь сказать, что учитель гипнотизирует детей и прививает им веру в закон тяготения?

— Конечно.

— Но это же абсурд.

— Ты слышал о важности зрительного контакта в классной комнате? Это подчёркивают все педагоги. Но никто так и не объяснил его суть.

Джон качает головой и наливает мне ещё порцию виски. Он прикрывает рот рукой и шутя говорит в сторону Сильвии: “А ты знаешь, он почти всегда казался мне нормальным человеком.”

Я возражаю: — Это первая из нормальных мыслей, которую я высказал в течение многих недель. Всё остальное время я просто прикидываюсь лунатиком двадцатого века, точно так же как и ты. Чтобы не привлекать к себе внимания.

— Но для тебя я повторяю, — говорю я. — Мы считаем, что бесплотные слова сэра Исаака Ньютона находились прямо среди небытия миллионы лет до того, как он родился и затем по волшебству открыл их. Но ведь они всегда существовали, даже если ни к чему и не относились. Постепенно возник мир, и тогда они стали относиться к нему. В самом деле, сами эти слова образовали мир. Вот это-то, Джон, и парадоксально. Проблема, противоречие, в которых увязли учёные, это разум. У разума нет материи или энергии, но никто не может избежать его преобладания во всём, чем бы ни занимался. Логика заключена в разуме. Числа существуют только в уме. И меня не тревожат утверждения учёных, что призраки существуют только в воображении. Меня беспокоит лишь “только”. Наука тоже существует только в твоём воображении, и поэтому это не так уж

плохо. Да и призраки тоже.

Они молча смотрят на меня, а я продолжаю: Законы природы — это лишь изобретение человека, как и призраки. Законы логики, математики такие же человеческие изобретения, как и призраки. Всё-всё на свете представляет собой изобретение человека, в том числе и понятие о том, что это не изобретение человека. Мир вообще не существует кроме как в воображении человека. Всё это призрак, и в античности это и признавалось как призрак, весь мир благословенный, в котором мы и живём. Им и управляют призраки. Мы и видим то, что мы видим, только потому, что призраки указывают нам на это, призраки Моисея и Христа, Будды и Платона, Декарта, Руссо, Джефферсона и Линкольна и так далее, и тому подобное. Ньютон — очень хороший призрак. Один из лучших. И наш здравый смысл — ничто иное, как голоса тысяч и тысяч таких призраков из прошлого. Призраки и ещё призраки. Призраки, которые стремятся найти себе место среди живых.

Джон задумался и кажется не в состоянии говорить. А Сильвия возбуждена.

— И где это ты нахватался таких мыслей? — спрашивает она.

Я хотел было ответить, но затем передумал. У меня такое ощущение, что я подошел к самому краю, может даже перешел его, и что пора остановиться.

Немного погодя Джон произносит: “ Хорошо будет снова увидеть горы”.

— Да, конечно, — соглашаюсь я. — Давай напоследок за это и выпьем.

Мы допили и разошлись по комнатам.

Я наблюдаю, как Крис чистит зубы, и позволяю ему отделаться обещанием принять душ утром. По праву старшего занимаю кровать у окна. После того, как погасили свет, он говорит: “А теперь расскажи мне историю про привидения”.

— Я же только что рассказал, на улице.

— Ну, настоящую историю про привидения.

— Более настоящей истории ты больше и не услышишь.

— Ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Историю другого сорта.

Я стараюсь вспомнить какую-нибудь обычную историю. “ Когда я был пацаном, Крис, я столько их знал, но теперь все позабыто, — отвечаю я. — Да и спать пора. Завтра нам придется рано вставать”.

Если не считать шума ветра сквозь сетку на окне мотеля, то все тихо. Мысль о ветре, несущемся к нам над открытыми полями прерии, очень

покойна, она меня убаюкивает.

Ветер вздымается и спадает, снова подымается и вздыхает, спадает опять... а ведь отсюда так много миль.

— А ты когда-нибудь встречал привидения? — спрашивает Крис.

Я уже почти уснул. — Крис, — отвечаю. — я знал когда-то человека, который потратил всю свою жизнь охотясь за привидением, и все это время оказалось потраченным впустую. Так что давай спать.

Я слишком поздно понял свою ошибку.

— Так он нашел его?

— Да, он его нашел, Крис.

Мне так хочется, чтобы Крис прислушался к ветру и не задавал мне больше вопросов.

— И что же он тогда сделал?

— Он его хорошенько отвалтузил.

— И что потом?

— А потом он сам стал призраком. — Я посчитал, что теперь-то уж Крис уснет, но не тут-то было, и он совсем размаял меня.

— Как его звали?

— Ты его не знаешь.

— Но все-таки.

— Не играет роли.

— Ну все равно скажи.

— Зовут его, Крис, раз уж это не имеет значения, Федром. Ты такого имени и не слышал.

— Ты видел его на мотоцикле во время бури?

— С чего это ты взял?

— Сильвия же сказала, что ей показалось, что ты видел привидение.

— Это было сказано просто так.

— Пап?

— Пусть это будет последний вопрос, Крис, а не то я рассержусь.

— Я только хотел сказать, что ты разговариваешь совсем не так, как остальные.

— Да, Крис, я знаю. В этом-то и дело. А теперь спи.

— Спокойной ночи, пап.

— Спокойной ночи.

Полчаса спустя дыхание у него становится сонным, ветер по-прежнему дует сильно, а я не могу уснуть. Там, за окном в темноте, холодный ветер рвется через дорогу к деревьям, листьям, шуршащим хлопьями лунного света. Фейд все это видел, в этом нет никакого сомнения,

Я понятия не имею, что он тут делает. И почему он тут оказался. я, возможно, тоже никогда не узнаю. Но он здесь был, направил нас на эту странную дорогу, и все время был рядом. От этого не уйдешь.

Хотелось бы мне сказать, что не знаю, почему он здесь, но боюсь и вынужден признаться, что знаю. Те идеи, то, что я говорил о науке и призраках, и даже мысль о любви к технике, все они не мои собственные. У меня уже много лет нет своих мыслей. Все они украдены у него. А он за этим наблюдал. Вот потому-то он здесь и присутствует.

На этом признании, надеюсь, он теперь и позволит мне поспать.

Бедный Крис. “А ты знаешь истории про призраков? — спросил он. Я бы рассказал ему одну, но при этой мысли мне становится страшно.

Да, надо спать.

В каждой шатокуа где-то должен быть перечень нужных вещей, о которых следует помнить; его надо хранить в надёжном месте, чтобы в будущем по потребности в него можно было заглянуть. Подробности. А теперь, пока остальные всё ещё храпят, попусту растрачивая прекрасный солнечный утренний свет... ну... как бы заполнить время...

Вот здесь у меня список важных вещей, которые следует взять с собой в следующую мотоциклетную поездку по Дакотам.

Я не сплю с рассвета. Крис всё ещё крепко спит на другой кровати. Я стал было поворачиваться на другой бок, чтобы ещё поспать, но тут закричал петух, и я вспомнил, что у нас каникулы, и спать просто нет смысла. Сквозь перегородку стены мотеля я слышу, как Джон пилит дрова... или это Сильвия... нет, слишком уж громко. Проклятая цепная пила, она визжит как...

Мне так надоело забывать вещи в таких поездках как эта, что я составил список и храню его в папке дома, чтобы можно было свериться, когда приходит пора ехать.

Большинство вещей самые обычные и не требуют комментариев. Некоторые из них относятся только к мотоциклу, и тут надо сделать ряд замечаний. Некоторые из них настолько специфичны, что на них надо остановиться особо. Перечень делится на четыре раздела: одежда, личные вещи, кухонные и туристские принадлежности и принадлежности к мотоциклу.

Раздел первый, одежда, простой:

1. Две пары белья
2. Кальсоны
3. Смена рубашек и штанов для каждого из нас. Я пользуюсь армейским обмундированием. Оно дешево, прочно, и на нем не видно грязи. Сначала у меня была позиция “выходная одежда”, но Джон приписал сюда фрак. Мне же думалось о чём-то, что можно одеть не только на бензоколонке.
4. Один свитер и куртка каждому.
5. Перчатки. Лучше всего кожаные перчатки без подкладки, они не дают сгореть рукам на солнце, впитывают пот, и руки в них остаются прохладными. Если выезжаешь на час-другой, то это не так важно, но если собираешься ехать несколько дней подряд, то они очень кстати.

6. Мотоциклетные полусапожки.

7. Средства на случай дождя.

8. Шлем и солнечный тент.

9. Забрало. Оно вызывает у меня клаустрофобию, так что я пользуюсь им только при дожде, ибо при большой скорости капли колются как иголки.

10. Лётные очки. Я не люблю ветровых стёкол, ибо они тоже огораживают. У меня же английские ламинированные стеклянные очки, и мне в них очень удобно. В них не попадает ветер. А пластмассовые очки вскоре покрываются царапинами и нарушают видимость.

Следующий список, личные вещи:

Расчёски. Бумажник. Складной нож. Записная книжка. Ручка. Сигареты и спички. Фонарик. Мыло и мыльница. Зубные щетки и паста. Ножницы. Аптечка. Инсектицид. Дезодорант (после жаркого дня на мотоцикле пусть уж лучшие друзья не делают тебе замечаний). Лосьон от загара. (На мотоцикле сгораешь незаметно, замечаешь это только на остановке, когда уже слишком поздно. Намазывайся заранее). Перевязочный материал. Туалетная бумага. Мочалка (её можно положить в пластиковый пакет, чтобы не промочить остальные вещи.) Полотенце.

Книги. Я не знаю такого мотоциклиста, который бы брал их с собой. Они занимают много места, но я всё-таки беру с собой три, вкладываю в них несколько листов писчей бумаги.

Вот они:

1. Заводская инструкция по эксплуатации мотоцикла.

2. Руководство по ремонту, где есть все технические сведения, которые никак не держатся у меня в голове. Это “Руководство по ремонту мотоцикла Чилтона”, составленное Оси Ритчем. Продаётся в магазинах Сирса и Рёбака.

3. Томик Торо “Вальден”... которого Крис ещё не слышал, его можно без усталости перечитывать хоть сто раз. Я всегда стараюсь подбирать книги гораздо выше его понимания, чтобы было побольше оснований для вопросов и ответов, чтобы не читалось без прерываний. Я прочитываю одно-два предложения, жду обычной лавины вопросов от него, отвечаю на них, затем читаю ещё пару предложений. Таким образом хорошо читать классиков. Они, должно быть, и писали так. Иногда мы проводим весь вечер за чтением и беседой, затем обнаруживаем, что прошли только две или три страницы. Так читали примерно век тому назад... когда были популярны шатокуа. Если не пробовали, то вы и представить себе не можете, насколько приятно читать таким образом.

Смотрю и вижу, что Крис спит совершенно безмятежно, у него нет

обычной напряжённости. Пожалуй, не буду его будить пока.

В туристское снаряжение входит:

1. Два спальных мешка.
2. Два пончо и парусина на подстилку. Из них можно сделать палатку, и они также защищают багаж от дождя во время путешествия.

3. Верёвка.

4. Географические карты тех районов, где мы собираемся побродить.

5. Топорик.

6. Компас.

7. Фляжка. Когда мы уезжали, я никак не мог её найти.

Наверное дети затеряли её где-нибудь.

8. Два армейских столовых набора с ножом, вилкой и ложкой.

9. Складная полевая печка “Стерно” и средних размеров бачок с горючим для неё. Это — экспериментальная покупка. Я ещё не пользовался ею. Когда идёт дождь или когда находишься выше зоны лесов, то с дровами туго.

10. Несколько алюминиевых посуды с винтовой крышкой.

Для сала, соли, масла, муки, сахара. Несколько лет тому назад мы купили всё это в магазине для альпинистов.

11. Кухонная паста для мойки посуды.

12. Два алюминиевых каркаса для рюкзаков.

Мотоциклетные принадлежности. Стандартный набор инструментов является штатным хранится под сиденьем. В дополнение к нему:

Большой разводной ключ. Слесарный молоток. Зубило. Пробойник. Пара монтировок для шин. Комплект для ремонта колёс. Велосипедный насос. Баночка молибденово-дисульфитного спрея для цепи. (Он прекрасно проникает внутрь каждой втулки, где это действительно нужно, а смазывающие свойства его хорошо известны. Однако, если он подвысох, то надо добавить старого доброго моторного масла SAE-30). Вороток для ключей и отверток. Напильник. Щуп. Контрольная лампочка.

Из запчастей:

Свечи. Тросики для газа, сцепления и тормозов. Контакты, предохранители, лампочки для фары и заднего фонаря, звено для ремонта цепи, шпильки, моток проволоки. Запасная цепь (старая, чуть было не лопнула, и я заменил её новой, но её хватит доехать до мастерской, если эта выйдет из строя).

Вот примерно и всё. Никаких шнурков.

Теперь уместно, наверное, спросить, каких размеров фургон надо иметь, чтобы уместить всё это. Но в самом деле всё не так уж громоздко,

как кажется.

Боюсь, если позволить, то мои спутники проспят весь день. Ясное небо сверкает, нельзя упускать такую прелесть.

Наконец я подхожу к Крису и тормошу его. Глаза у него распахиваются и он, ничего не соображая, садится в постели.

— Пора принимать душ, — сообщаю я.

Выхожу на улицу. Воздух бодрит. Пожалуй даже, Господи! — так ведь холодно. Я стучу в дверь Сазэрлэндам.

— Ага, — доносится сонный голос Джона из-за двери. — Гмम्म. Угу.

Такое ощущение, как будто осень. Мотоциклы покрылись росой. Дождя сегодня нет. Но как холодно! Градусов должно быть около десяти.

Тем временем я проверяю уровень масла и давление в шинах, крепления, натяжение цепи. Немного слабовато, я достаю набор инструментов и подтягиваю её. Мне уже не терпится в путь. Я слежу за тем, чтобы Крис тепло оделся, мы собрались и выехали на дорогу. Действительно холодно. Уже через несколько минут всё тепло из одежды выветрилось, и я дрожу крупной дрожью. Свежо.

Как только солнце поднимется повыше, должно потеплеть. Ещё полчаса и мы будем завтракать в Эллендейле. Сегодня по этим ровным дорогам нам надо будет проехать много миль.

Если бы не такой собачий холод, то езда была бы просто чудной. Солнце стоит под низким углом и освещает поля как бы покрытые инеем, но это всё-таки роса, сверкающая и немного туманная. Рассветные тени делают всё вокруг рельефнее, и всё кругом не кажется таким плоским, как вчера. И всё это наше. Кажется, ещё никто не проснулся. На часах у меня — шесть тридцать. На старой перчатке как будто выступил иней, но думается, что это просто остатки влаги со вчерашнего. Добрые старые перчатки. Они так заскорузли, что я с трудом распрямляю руку.

Вчера я говорил о любви. Я люблю эти старые, потерявшие форму дорожные перчатки. Я улыбаюсь им, летящим по ветру рядом со мной, ибо они всегда рядом вот уже столько лет, они так состарились, так устали и прогнили, что в них даже есть нечто смешное. Они столько раз промокали от масла, пота, грязи и сбитых мошек, что когда я кладу их теперь на стол, они не распрямляются, даже если и не холодно. У них собственная память. Они стоили всего три доллара, я столько раз их уже чинил, что дальше некуда, и всё же я трачу на них время и труд, ибо не могу представить себе, что их место займёт новая пара. Это непрактично, но практичность в отношении перчаток — это ещё не всё, да и в остальном тоже.

К машине у меня примерно те же чувства. Она прошла 27000 миль и

уже становится бывалой и старой, хотя на ходу есть много других и постарше. При значительном пробеге, и большинство мотоциклистов согласится со мной, к конкретной машине возникают определённые чувства, которые уникальны только для неё и не относятся к другим. У одного приятеля есть мотоцикл такой же марки, той же модели и даже того же года выпуска, что и у меня. Когда он приехал с ним на ремонт, я прокатился на нём после этого. Трудно было поверить, что его сделали на том же заводе. Видно было, что много лет назад он выработал свои собственные ощущения, ход и звук, которые совершенно не похожи на мои. Может быть, и не хуже, но совсем другие.

Это можно, пожалуй, назвать характером. У каждой машины он свой, уникальный характер, который вероятно можно определить как интуитивный итог всего, что знаешь о ней и чувствуешь к ней. Этот характер постоянно меняется, как правило к худшему, но иногда, на удивление, к лучшему, и именно этот характер и является настоящим объектом ухода за мотоциклом. Новые начинают как миловидные незнакомцы, и в зависимости от того, как с ними обращаются, быстро дегенерируют в злых ворчунов или даже калек, или же становятся здоровыми, добродушными друзьями на долгие времена. Вот этот, несмотря на убийственное обращение в руках так называемых механиков, кажется, поправился и требует с течением времени всё меньше и меньше ремонта.

Ну вот и Эллендейл!

Водокачка, группы деревьев и строения между ними в утреннем свете солнца. Я уже почти смирился с дрожью, которая не отпускала меня всю дорогу. Часы показывают семь пятнадцать.

Несколько минут спустя мы останавливаемся у каких-то старых кирпичных домов. Я оборачиваюсь к Джону и Сильвии, которые только что подъехали.

— Ну и холодина же! — восклицаю я.

Они только смотрят на меня рыбьими глазами.

— Свежо, а? — повторяю я. Но ответа нет.

Я жду, пока они совсем отойдут, затем вижу, что Джон распаковывает весь свой багаж. У него затруднения с узлом. Он бросает всё, и мы направляемся в ресторан.

Я пробую снова. Иду впереди них к ресторану, чувствую себя слегка помешанным после езды, потираю руки и смеюсь. — Сильвия! Поговори со мной! — В ответ ни улыбки.

Пожалуй, они совсем промёрзли.

Они заказывают завтрак не поднимая глаз.

Завтрак заканчивается и я, наконец, спрашиваю: Что дальше? Джон медленно и отчётливо произносит: Мы никуда отсюда не поедём, пока не станет тепло. — Тон при этом у него как у шерифа при закате солнца, и я полагаю, что это окончательно.

Итак Джон, Сильвия и Крис остались в теплом вестибюле гостиницы рядом с рестораном, а я выхожу на прогулку.

Они, наверное, сердятся на меня за то, что я поднял их так рано и заставил ехать в такую погоду. Когда случаются такие вещи, думается, обязательно должны выявиться небольшие различия в темпераменте. Теперь, поразмыслив, я вспоминаю, что никогда раньше не отправлялся с ними вместе в поездку раньше часа или двух пополудни, хотя для меня рассвет и раннее утро всегда самое чудное время для поездки.

Городок чистенький и свежий, совсем не похож на тот, где мы проснулись сегодня утром. На улице уже появились люди, они открывают лавки, говорят “Доброе утро”, разговаривают и отмечают, как сегодня холодно. Два градусника на теневой стороне улицы показывают 6 и 8 градусов. Тот, что на солнце, показывает 18 градусов.

Несколько кварталов спустя главная улица переходит в две грязных колеи среди поля, мимо жестяного амбара с сельхозмашинами и ремонтными механизмами и заканчивается в поле. В поле стоит какой-то человек и смотрит на меня с подозрением, с чего это я вдруг заглядываю в амбар. Я возвращаюсь назад по улице, нахожу леденящую скамейку и разглядываю свой мотоцикл. Делать нечего.

Ну конечно, холодно, но не так уж и совсем. Удивляюсь, и как только Джон с Сильвией переносят зиму в Миннесоте? Здесь какое-то явное несоответствие, на этом даже не стоит задерживаться. Раз уж они не выносят физических неудобств, терпеть не могут технику, то им нужно идти на компромиссы. Они ведь зависят от техники и проклинают её в то же время. Я уверен, что это им известно, и этим они только усугубляют сложившееся положение. Они не выдвигают какой-либо логический тезис, а просто констатируют, как обстоит дело. Вот три фермера въезжают в город и заворачивают за угол на новеньком полугрузовичке. Готов спорить, что у них-то все как раз наоборот. Они собираются похвастать этим грузовиком и трактором, и новой моечной машиной. У них есть инструмент для ремонта, если что-то случится, и они сумеют воспользоваться им. Технику они ценят, а им-то она нужна меньше всего. Если завтра исчезнет вся техника, то они выйдут из положения. Будет нелегко, но они выживут. А Джон, Сильвия Крис и я погибнем через неделю. Осуждение техники —

не что иное, как просто неблагодарность.

Хотя здесь тупик. Если кто-то неблагодарен, а ты скажешь ему об этом, так вот уже и обзываешься. Но ничего не решил.

Полчаса спустя термометр у дверей гостиницы показывает 11 градусов. Я нахожу их в пустой столовой, они нервничают. Однако, судя по их виду, настроение у них уже лучше, и Джон оптимистически заявляет: “Сейчас надену на себя все, что у меня есть, и тогда будет все в порядке”.

Он выходит к мотоциклам и по возвращении говорит: “Как мне не хочется распаковывать все это хозяйство, но и больше не хочу ездить, как в этот раз”.

Он говорит, что в уборной морозилка, и поскольку в столовой никого нет, то он заходит за стол позади нас, а я продолжаю разговаривать с Сильвией. Оглянувшись, вижу Джона уже полностью экипированного во фланелевое нижнее белье голубого цвета. Он ухмыляется от уха до уха по поводу того, как глупо выглядит. Я смотрю на его очки, лежащие на столе, и замечая Сильвии:

— Представляешь, минуту назад мы сидели здесь и разговаривали с Кларком Кентом... вон видишь его очки... а теперь вдруг... Луи. как ты считаешь?

Джон взвывает: “ТРУСИШКА!”

Он скользит по полированному полу как конькобежец, разворачиваемся и скользит обратно. Поднимает руку над головой, затем изгибается, как бы глядя в небо. “Я готов, вот он я”. Он грустно качает головой: “Боже мой, мне не хочется пробивать головой этот чудный потолок, но мое рентгеновское зрение дает мне знать, что кто-то попал в беду”. Крис хихикает.

— Мы сейчас все попадем в беду. если ты не оденешься, — говорит Сильвия.

Джон смеется. “Эксгибиционист, а? Эллендейльский открыватель!” Он еще раз прошелся вокруг и начинает одевать верхнюю одежду. Затем произносит: “Нет, нет, нет, они этого не сделают. Трусы и полицейские понимают дело. Они-то знают, кто соблюдает правопорядок, чтет закон, приличия и справедливость для всех”.

Когда мы снова оказываемся на шоссе, по-прежнему холодно, но уже не так, как было. Мы проезжаем несколько городков, и постепенно, почти незаметно, солнце согревает нас, и вместе с этим у меня поднимается настроение. Чувство усталости полностью проходит, а от солнца и ветра теперь бодрый дух, и все становится по настоящему. Да, все так и есть, просто от солнечного тепла, дороги, зеленой фермерской земли в прерии и

встречного ветерка, И вскоре нет ничего, кроме чудного тепла, ветра, скорости и солнца на пустой дороге. Теплый воздух растопил последнюю стужу утра. Ветер, солнце и ровная дорога.

Такое зеленое и свежее лето.

Среди трав попадаются желто-белые маргаритки у старой проволочной изгороди, дальше — луг, где пасутся коровы, а вдалеке — пологий склон холма, на котором виднеется нечто золотистое. Трудно понять, что это такое. Да и к чему знать?

На незначительном подъеме дороги гул мотора становится громче. Мы поднимаемся на гребень, видим перед собой новый простор, дорога пошла вниз, и шум мотора снова ослабевает. Прерия. Спокойная и равнодушная.

Позднее, когда мы останавливаемся, у Сильвии от ветра на глазах слезы, она раскидывает руки в стороны и восклицает: “Как красиво! Все так пустынно!”

Я показываю Крису, как расстелить куртку на земле и как воспользоваться запасной рубашкой в качестве подушки. Ему совсем не хочется спать, но я все-таки велю ему полежать, надо отдохнуть. Я распахиваю свою куртку, чтобы впитать в себя побольше тепла. Джон достает фотоаппарат.

Немного спустя он заявляет: “Нет на свете ничего труднее, чем фотографировать. Тут нужен объектив кругового обзора или нечто в этом роде. Видишь этот простор, затем смотришь в видоискатель, и ничего этого нет. Как только вгоняешь все это в рамку — все пропадает.”

Я откликаюсь: ” Вот этого-то и не видать из машины, так ведь?”

Вступает Сильвия: “ Однажды, мне было тогда лет десять, мы вот так же остановились у дороги. и я израсходовала полплетки, снимая все вокруг. А когда получила снимки, то расплакалась. Там ничего такого не было.”

— Когда поедem дальше? — спрашивает Крис.

— А куда ты торопишься?

— Мне хочется ехать дальше.

— Там впереди нет ничего лучше того, что ты видишь здесь.

Нахмурившись, он смотрит вниз. “Мы сегодня будем ночевать в палатках? “ — спрашивает он. Сазэрлэнды с опаской смотрят на меня.

— Так будем? — повторяет он.

— Потом видно будет, — отвечаю я.

— Потому что сейчас я еще не знаю.

— А почему ты не знаешь теперь?

— Ну просто не знаю теперь, почему не знаю.

Джон пожимает плечами, ведь все в порядке.

— Ну здесь не самое лучшее место для бивуака, — говорю я. — Здесь нет укрытия и воды. — Затем вдруг добавляю: “Хорошо, сегодня разобьем бивуак.” — Мы уже обговаривали это раньше.

Итак, мы едем по пустой дороге. Мне не хочется владеть этой прерией, не хочется ни фотографировать ее, ни изменять ее, даже не хочется останавливаться или продолжать движение. Мы просто едем себе по пустынной дороге.

Ровная прерия постепенно заканчивается, и местность становится холмистой. Изгороди попадаются всё реже, а зелень становится бледной... все признаки того, что мы приближаемся к плоскогорьям.

Останавливаемся на заправку в Хейге и спрашиваем, есть ли переправа через Миссури между Бисмарком и Мобриджем. Заправщик этого не знает. Теперь стало жарко, и Джон с Сильвией куда-то удалились, чтобы снять теплое нижнее бельё. Я меняю масло в мотоцикле и смазываю цепь. Крис наблюдает за работой с некоторым нетерпением. Нехороший признак.

— У меня болят глаза, — заявляет он.

— Отчего?

— От ветра.

— Подыщем тебе очки.

Затем все вместе идём перекусить и попить кофе.

Всё вокруг здесь отличается от прежнего, и мы больше глядим по сторонам, чем разговариваем. Мы слышим обрывки разговоров знакомых друг другу людей, которые посматривают на нас, потому что мы здесь новенькие. Затем, чуть дальше по улице я нахожу термометр для продуктов в поклаже и пластмассовые очки для Криса. Продавец в хозмаге тоже не знает короткого пути через Миссури. Мы с Джоном изучаем карту. Я было надеялся, что найдём какой-нибудь неизвестный паром или еще что-либо на протяжении девяноста миль, но очевидно, ничего такого здесь нет, так как на ту сторону почти нечего перевозить. Это всё индейская резервация. Мы решили ехать на юг к Мобриджу и пересечь реку там.

Дорога на юг ужасна. Потрескавшаяся, узкая, с неровным бетонным покрытием, к тому же всё время дует встречный ветер, солнце светит в глаза, и навстречу то и дело попадают большие полуприцепы. Волнистые холмы ускоряют их ход на склоне вниз и замедляют на подъеме, поэтому обзор получается неважным и при обгоне приходится нервничать. Когда я встретился с первым из них, то от неожиданности испугался. Теперь же я крепче держу руль и готовлюсь к встрече. Ничего опасного. Тебя лишь обдаёт волной воздуха, который стал горячее и суше.

В Херрейде Джон исчезает, чтобы попить, а мы с Сильвией и Крисом находим тенистое место в парке и пробуем отдохнуть. Но что-то не отдыхается. Произошла какая-то перемена, а я не могу понять в чём. Улицы

в городе широкие, гораздо шире, чем следовало бы, и в воздухе висит пыльная дымка. Тут и там между домами попадаются пустыри, поросшие сорняком. Жестяные сараи и водокачка такие же, как и в прежних городах, но как-то больше разбросаны. Всё как-то больше обветшало, выглядит еще механичнее и расположено наугад. Постепенно я понимаю, в чём дело. Никто здесь уже не заботится о том, чтобы содержать город в чистоте. Земля здесь обесценилась. Мы находимся в типичном западном городке.

Мы пообедали гамбургерами и топлёным молоком в ресторанчике “А & W” в Мобридже, проехали по сильно запруженной главной улице, и вот она, у подножия холма, Миссури. Вся эта движущаяся масса воды выглядит как-то странно, течет она среди поросших травой берегов, на которых почти не бывает воды. Я оборачиваюсь и бросаю взгляд на Криса, но его это всё, кажется, не интересует.

Спускаемся по склону холма, громыхаем по мосту и смотрим на реку сквозь ритмично мелькающие балясины перил, и наконец переезжаем на другую сторону.

Долго, долго поднимаемся в гору и попадаем совсем в другую страну.

Заборов не стало совсем. Ни кустов, ни деревьев. Вид с холмов настолько раздольный, что мотоцикл Джона похож на муравья, ползущего впереди вверх по зеленым склонам. Поверх склонов на вершинах утесов кустиками торчат скалы.

Здесь всё естественно опрятно. Если бы это была заброшенная земля, то всё было бы изжевано, замызгано, с кусками бетона от фундаментов, обрывками крашеной жести и проволоки, с сорняками на месте нарушенного дерна, там где пытались хоть мало-мальски что-то делать. Здесь ничего подобного нет. Неухожено, но прежде всего, никто здесь и не мусорил. Вот такой вот она, вероятно, и была всегда, земля резервации.

По ту сторону этих скал уже нет приветливого механика по мотоциклам, и я с тревогой думаю, готовы ли мы к такому. Ведь если случится серьезная неполадка, то будет беда.

Я проверяю температуру мотора рукой. Он достаточно прохладен. Я выключаю сцепление и еду некоторое время накатом, чтобы послушать холостой ход. Что-то мне показалось забавным, и я повторяю маневр. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что дело вовсе не в моторе. Просто после того, как сбросишь газ, от скал впереди доносится эхо. Забавно. Я повторяю это два-три раза. Крис спрашивает, в чём дело, и я даю ему послушать эхо. Но он никак не реагирует на это.

Мой старый двигатель звенит как горсть мелких монет. Как если бы внутри у него болталась куча мелочи. Звук ужасный, но это всего лишь

нормальный перестук клапанов. Как только привыкнешь к нему и станешь ожидать его, то автоматически услышишь любые отклонения. Если никакой разницы не уловил, то это хорошо.

Я пробовал заинтересовать Джона этим звуком, но всё оказалось безнадежно. Он слышал всего лишь гул и видел лишь машину и меня с промасленными инструментами и руками, ничего больше. Ничего из этого не вышло.

В сущности, он не видит, что происходит вокруг, и ему не хочется выяснять. Его не столько волнует, что означает то или иное, его больше интересует, что оно из себя представляет. И это весьма знаменательно, то, что он видит жизнь в таком свете. Мне понадобилось много времени, чтобы понять эту разницу, и для шатокуа важно уточнить эти различия.

Меня огорошил его отказ даже задуматься о механическом аспекте явления, я изыскивал пути приобщения его ко всему этому, но не знал как начать.

Я полагал, что следует подождать, пока с его машиной случится какая-нибудь неполадка, и тогда я помогу ему починить ее и таким образом смогу вовлечь его. Но и здесь у меня ничего не вышло, ибо я не понимал разницы в том, как мы смотрим на вещи.

Как-то у него ослабло крепление руля. Не очень сильно и только тогда, когда он крепко надавливал на ручки. Я предупредил его не пользоваться разводным ключом при затяжке гаек. Можно повредить хромовое покрытие и вызвать появление пятнышек ржавчины. Он согласился воспользоваться комплектом моих метрических ключей-стаканчиков и накидных ключей.

Когда он привёл свой мотоцикл, я достал ключи, но затем заметил, что сколько не затягивай гайки, руль будет проворачиваться, так как концы разрезных гаек уже плотно сомкнулись.

— Тебе надо вложить сюда прокладку, — сказал я.

— Что за прокладку?

— Это тонкая плоская полоска металла. Ею надо обернуть рукоятку, концы разрезной гайки разойдутся, и тогда её можно будет затянуть снова. Прокладки такого рода применяют во всяких механизмах для регулировок.

— Да? — воскликнул он. Его это заинтересовало. — Отлично. Где их можно купить?

— Да у меня тут с собой есть, — самодовольно произнёс я и протянул ему жестяную банку из-под пива.

Сначала он не понял. Затем вымолвил: “Что, банка?”

— Конечно, — ответил я, — самый лучший материал в мире для прокладок.

Мне самому это показалось очень разумным. Не надо ездить бог знает куда, чтобы достать прокладку. Экономия времени, экономия денег.

Но к моему удивлению он так и не понял, как это здорово. Он даже отнёсся к такой идее несколько высокомерно. Вскоре он стал искать всяческие предлоги и отговорки в ремонте, и прежде чем я понял его настоящее настроение, мы решили не трогать больше крепление руля.

Насколько мне известно, руль у него до сих пор слабовато держится. И теперь я убеждён, что в то время он просто оскорбился. Я позволил себе предложить ему ремонтировать его новый БМВ стоимостью восемнадцать сотен долларов, полувековую гордость немецкого мастерства механики, с помощью старой консервной банки!

— Ach, du lieber! (Ах ты, дорогой мой!)

С тех пор мы очень мало беседовали на тему об уходе за мотоциклом. Да пожалуй, не говорили вовсе.

Если пытаться настаивать, то вдруг безо всякой причины начнешь сердиться.

Хочу пояснить, что консервный алюминий — мягкий и вязкий металл. Прекрасно подходит для таких целей. Алюминий не ржавеет в сырую погоду — вернее, у него всегда есть тонкая плёнка окисла, которая предотвращает дальнейшее окисление. Ну просто совершенство.

Другими словами, любой настоящий немецкий техник с полувековым опытом мастерства в механике пришёл бы к выводу, что именно такое решение данной технической проблемы — совершенно.

Вначале я подумал было, что мне следует сбегать к верстаку, вырезать прокладку из консервной банки, удалить с неё надписи, вернуться и сообщить ему, что нам повезло, у меня оказалась последняя прокладка, специально выписанная из Германии. Это доконало бы его. Специальная прокладка из личных запасов барона Альфреда Круппа, которому пришлось продать её чуть ли не себе в ущерб. Тогда он был бы от неё без ума.

Мысль о частной прокладке от Круппа согревала меня некоторое время, но затем как-то потускнела, а позже даже опротивела. Снова возникло прежнее чувство, о котором я уже упоминал: здесь кроется нечто большее, чем просто видно на поверхности. Если последить за такими незначительными расхождениями достаточно долго, то иногда находят откровения. У меня же возникло ощущение, что тут кроется нечто больше того, с чем мне хотелось бы согласиться без раздумий. И я как обычно попытался найти причины и следствия, чтобы выяснить, что же привело к полному расхождению точек зрения у меня и Джона на эту прелестную

прокладку. В механике такое случается постоянно. Тупик. Просто сидишь, смотришь и думаешь, ищешь наугад новые сведения, отходишь и возвращаешься снова, а спустя некоторое время начинают возникать новые факторы.

Вначале смутно, а затем всё четче появилось объяснение: я видел эту прокладку в интеллектуальном, рациональном, умственном плане, где только научные свойства металла играют роль. Джон же подходит к этому интуитивно и непосредственно, и цепляется за это. Мой подход заключается в подспудных формах. Он же обращает внимание непосредственно на внешний вид. Я вижу смысл действия прокладки. Он же видит лишь то, как она выглядит. Вот так я дошёл до сути этих различий. И когда видишь, как выглядит прокладка, как в данном случае, то возникает разочарование. Ну кому понравится, если чудесную сложнейшую машину вдруг будут чинить с помощью каких-то отходов или отбросов?

Я кажется забыл сказать, что Джон — музыкант, барабанщик. Он работает с разными группами по всему городу и довольно прилично зарабатывает. Полагаю, что он мыслит обо всём так же, как и о своей работе, то есть по сути дела он совсем о ней не думает. Он просто делает её. Существует в ней. Он отреагировал на ремонт своего мотоцикла с помощью банки из-под пива так же, как если бы кто-то выбился из ритма, когда играет. Для него это оказался просто посторонний шум и ничего больше. Его это просто не касается.

Вначале такие расхождения казались довольно мелкими, но затем они разрастались... разрастались... и разрастались... пока я не понял, почему же я упускал их из виду. Некоторые вещи упускаешь потому, что они настолько незначительны, что просто не обращаешь на них внимания. Но другие вещи не замечаешь потому, что они слишком велики. Мы оба смотрели на одно и то же, видели одно и то же, говорили об одном и том же, думали о том же, но только он смотрел, видел, говорил и думал в совершенно иной плоскости.

В общем-то ему нравится техника. Но только в своей другой плоскости он воспринимает её в извращённом виде, и это отталкивает его. Они просто никак не совпадают. Он пытается попасть в струю без какого-либо предварительного рационального размышления, и всё попадает мимо, мимо и мимо. После множества таких промахов он машет на всё рукой и проклиная без оглядки всю эту муру из болтов и гаек. Он не хочет или не может поверить, что в мире есть нечто, куда просто нельзя попасть наскоком.

Вот он и живёт в такой плоскости. Всё наскоком. Я же большой педант, ибо всё время только и толкую обо всей этой механике. Всё это лишь детали и их взаимосвязь, анализ и синтез, выявление сути вещей, но ведь в самом деле это не здесь. Это всё где-то в другом месте, хоть и кажется, что оно здесь, но находится в миллионах миль отсюда. Вот в этом-то и всё дело. Он существует в совершенно иной плоскости, которая в значительной степени была в основе культурных перемен шестидесятых годов, и сейчас переживает процесс преобразования всего мировоззрения нации на жизнь. В результате возник “разрыв поколений”. Из этого выросли понятия “битник” и “хиппи”. И теперь очевидно, что эта плоскость не просто дань моде, которая пройдёт на будущий год или ещё через год. Она сохранится, потому что это очень серьёзный и важный подход к жизни, хотя кажется, что он несовместим с разумом, порядком и ответственностью. На самом деле это не так. Вот теперь-то мы и подошли к сути.

У меня так занемели ноги, что стали побаливать. Я вытягиваю их по очереди и кручу ногой вправо и влево, чтобы размять их. Помогает, но затем другие мускулы начинают болеть от того, что ноги на вису.

Здесь мы сталкиваемся с конфликтом воззрений на действительность. Видимый нами мир находится вот тут, прямо сейчас, это действительность, независимо от того, что нам твердят ученые. Вот так его и видит Джон. Но мир, выявляемый научными открытиями, также действительность, независимо от того, как он представляется, а людям из плоскости Джона придётся потрудиться, если захотят сохранить свое видение действительности. Им не удастся просто игнорировать его. Джон обнаружит это, если у него сгорят контакты.

Вот именно поэтому он так расстроился, когда у него не заводился мотоцикл. Это было вторжение в его действительность. Это прорвало дыру во всём его спонтанном подходе к жизни, и он не принял вызова, потому что это угрожало всему образу его жизни. В некотором роде он испытал такое же раздражение, какое бывает у людей научного мышления в отношении абстрактного искусства, или по крайней мере бывало раньше. Это также не вписывается в их образ жизни.

В самом деле тут получаются две действительности, одна — непосредственного художественного восприятия, другая — с подспудным научным объяснением. Они не соответствуют и не подходят друг другу, у них в сущности нет почти ничего общего. Ничего себе ситуация. Даже можно сказать, тут есть кое-какая проблема.

На одном из промежутков долгой пустынной дороги мы замечаем

одиноким продовольственным магазином. Там, в глубине мы находим несколько ящиков, усаживаемся на них и пьем пиво из банок.

Теперь я начинаю чувствовать усталость и боль в пояснице. Отодвигаю ящик к стойке и облокачиваюсь на него. По выражению Криса видно, что ему очень плохо. День был долгий и тяжелый. Я говорил Сильвии еще в Миннесоте, что упадок духа можно ожидать на второй или третий день, и вот он уже наступил. Миннесота... когда это было?

Очень пьяная женщина покупает пиво мужчине, который остался в машине. Она никак не может решить, какой сорт ей брать, и обслуживающая её жена хозяина начинает терять терпение. Она по-прежнему не может решиться, затем замечает нас, подходит и спрашивает, не наши ли это там мотоциклы. Мы утвердительно киваем. Тогда ей хочется прокатиться. Я отодвигаюсь назад и предоставляю Джону решать вопрос.

Он любезно отказывает ей, но она снова и снова возвращается и предлагает ему доллар, чтобы покататься. Я пытаюсь отшутиться, но шутки получаются не смешными, и плохое настроение у всех только усугубляется. Мы опять выходим на улицу навстречу бурным холмам и жаре. К тому времени, как мы добираемся до Леммона, мы просто с ног валимся от усталости. В баре мы узнали о турплощадке к югу отсюда. Джон хочет разбить палатки в парке в центре Леммона, но такое предложение выглядит довольно странно и очень сердит Криса.

Я так устал, что даже не могу вспомнить, бывало ли так раньше. Остальные тоже. Но мы тащимся в универсам, покупаем кое-какие продукты и с трудом упаковываем их на мотоциклы. Солнце уже совсем низко, и скоро стемнеет. Через час наступит ночь. Но мы всё не можем тронуться. Что, мы просто валяем дурака?

— Ну, Крис, давай, поехали, — говорю я.

— Не ори на меня. Я готов.

Мы едем по дороге от Леммона, измотанные, и кажется едем очень долго. Но впечатление обманчиво, так как солнце всё ещё над горизонтом. На площадке никого нет. Хорошо. Но до захода солнца осталось меньше получаса, а сил уже нет. Вот сейчас настал самый трудный момент.

Я стараюсь распаковать вещи как можно скорее, но настолько одурел от усталости, что складываю всё прямо у дороги и не замечая, насколько это неудобное место. Затем оказалось, что здесь слишком ветрено. Это ветер с нагорья. Здесь полупустыня, все вокруг выжжено и иссушено за исключением озера или какого-то большого водохранилища под нами. Ветер дует с горизонта через озеро и стегает нас упругими порывами. Уже

стало прохладно. Позади дороги на расстоянии двадцати ярдов стоит несколько чахлых сосенок, и я прошу Криса перетащить наш багаж туда.

Он отказывается и идёт вниз к озеру. Я перетаскиваю поклажу сам.

Тем временем вижу, что Сильвия прилагает все усилия, чтобы приготовить место для костра, но она так же устала, как и я.

Солнце село. Джон набрал дров, но они слишком толсты, а ветер слишком порывист, и костёр не разгорается. Надо наколоть щепок. Я возвращаюсь к соснам, ищу в сумерках свой топорик, но в роще уже так темно, что я не могу найти его. Нужен фонарик. Ищу его, но в темноте не нахожу и его.

Я возвращаюсь, завожу мотоцикл, подъезжаю назад и включаю фару, чтобы посветить. Перебираю все вещи одну за другой, отыскивая фонарик. До меня слишком долго доходит, что фонарик мне не нужен, а нужен топор, который теперь совсем на виду. Пока я с ним вернулся к стоянке, Джон уже разжёг костёр. Я разрубаю топором большие поленья.

Возвращается Крис. Фонарик у него!

— И когда же мы будем есть? — жалобно произносит он.

— Мы стараемся приготовить ужин как можно быстрее, — отвечаю я. — Оставь фонарик тут.

Он снова исчезает вместе с фонариком.

Ветер настолько силён, что отклоняет пламя в сторону и бифштексы не получают. Пробуем исправить положение, соорудив укрытие из камней с дороги, но кругом слишком темно, и мы толком не видим, что надо делать. Подводим оба мотоцикла и в перекрестии лучей фар видим всю сцену действия. Какой-то особенный свет. Хлопья золы, вздымаясь над костром, становятся ярко белыми в этом свете, затем пропадают с ветром.

Бабах! Позади нас раздался сильный взрыв. Затем слышно, как хихикает Крис.

Сильвия огорчена.

— Я нашёл тут хлопушки, — говорит Крис.

Я вовремя спохватываюсь и спокойно говорю ему: “Пора ужинать.”

— Мне нужны спички, — говорит он.

— Иди садись есть.

— Дай мне сначала спички.

— Садись есть.

Он садится, я пытаюсь резать бифштекс армейским ножом, но он слишком твёрдый, так что приходится доставать охотничий нож и резать им. Свет от фары мотоцикла слепит мне глаза и когда я опускаю нож в посудину, то в тени совсем ничего не видеть.

Крис заявляет, что он тоже не может отрезать, и я отдаю нож ему. Потянувшись за ним, он опрокидывает посуду на брезент.

Никто не проронил ни слова.

Я не сержусь на него за то, что он пролил еду, сержусь оттого, что теперь брезент будет сальным на всю поездку.

— Ещё есть? — спрашивает он.

— Ешь этот кусок, — отвечаю я, — он всего лишь упал на брезент.

— Он весь испачкался, — парирует он.

— Другого нет.

Накатывается гнетущая волна. Мне очень хочется спать. Но он очень сердит, и можно ожидать, что сейчас устроит нам сцену. Я жду этого, и вскоре начинается.

— Не нравится мне это мясо, — заявляет он.

— Да, сыровато, Крис.

— Мне вообще здесь не нравится. Не хочу я такого пикника вовсе.

— Но ведь ты же сам предложил пикник, — говорит Сильвия. — Ты ведь настаивал на бивуаке.

Ей не стоило говорить этого, но она ведь не знала. Стоит только клонуть, как он подбросит новую приманку, затем ещё и ещё, до тех пор, пока не стукнешь его, а он на это и напрашивается.

— А мне плевать, — канючит он.

— Ну, что ж, давай, — отвечает она.

— Не буду.

Вот-вот произойдет взрыв. Сильвия и Джон смотрят на меня, но я сижу с каменным лицом. Мне очень жаль, что так выходит, но прямо сейчас ничего не могу поделать. Любой спор лишь усугубит положение.

— Я больше не хочу, — говорит Крис.

Никто ему не отвечает.

— У меня болит живот, — заводит он.

Взрыва избежали, так как Крис поворачивается и уходит в темноту.

Заканчиваем еду. Я помогаю Сильвии убрать, и потом мы просто сидим у костра. Выключаем фары, чтобы не сажать аккумуляторы, а также потому, что их свет просто жуток. Ветер приутих, и становится светло от костра. Со временем глаза привыкают к нему. Сытость и злость несколько поубавили сонливость. Крис всё ещё не вернулся.

— Как ты думаешь, он просто капризничает? — спрашивает Сильвия.

— Да, пожалуй, — отвечаю я, — хоть это и звучит не очень убедительно. — Подумав, добавляю: “Это термин из детской психологии... не нравится мне такой контекст. Давай лучше скажем, что он просто ведёт

себя как негодяй.”

Джон рассмеялся.

— Как бы там ни было, — говорю я, — ужин был хороший. Жаль, что он повёл себя так.

— Да всё обойдётся, — говорит Джон. — Жаль, что ему больше нечего поесть.

— Ничего, перебьётся.

— А он там не заблудится?

— Нет, если что, закричит.

Теперь, когда он ушёл, а нам больше нечего делать, я обращаю больше внимания на пространство вокруг нас. Кругом полная тишина. Голая прерия.

Сильвия спрашивает: “Как ты думаешь, у него действительно болит живот?”

— Да, — подчёркнуто отвечаю я. Мне не хочется говорить на эту тему, но они все-таки заслуживают более полного объяснения. Они вероятно чувствуют, что здесь кроется нечто большее, чем сказано. — Конечно болит, — наконец говорю я. — Его несколько раз обследовали по этому поводу. Однажды было так плохо, что мы даже предположили — это аппендицит... Помню, мы путешествовали в отпуске на севере. Я только что закончил одну инженерную разработку по контракту стоимостью в пять миллионов долларов, который меня чуть ли не доконал. Это совсем другой мир. Времени нет, все нервничают, за неделю надо было собрать шестьсот страниц информации, я готов был убить по крайней мере троих человек, и мы посчитали, что лучше всего будет удалиться в лес на некоторое время.

Я уж не помню, в каком лесу мы были. В голове у меня всё ещё мельтешили инженерные сведения, а Крис тут просто завизжал. До него нельзя было дотронуться, наконец я понял, что надо быстро хватать его в охапку и везти в больницу. Где это было, тоже не помню, но они ничего не нашли.

— Ничего?

— Да. И такое случалось ещё несколько раз.

— И врачи ничего не сказали? — спросила Сильвия.

— Весной они поставили диагноз, что это начальная стадия душевной болезни.

— Что? — воскликнул Джон.

Сейчас слишком темно, я не вижу лиц Джона и Сильвии, не видно даже очертаний холмов. Я прислушиваюсь, но ничего не слышать. Не знаю уж, что и ответить, поэтому молчу.

Если взглядеться, можно рассмотреть звёзды над головой, но из-за костра их видно плохо. Вокруг нас плотно и смутно раскинулась ночь. Сигарета догорела до самых пальцев, и я гашу её.

— Я и не знала этого, — доносится голос Сильвии. Все признаки гнева исчезли. — Мы всё думали, почему ты взял с собой его, а не жену, — продолжает она. — Хорошо, что ты нам сказал об этом.

Джон подсовывает обгоревшие поленья дальше в огонь.

Сильвия спрашивает: "А в чём, по-твоему причина?"

Джон издаёт какой-то звук, чтобы заглушить вопрос, но я всё-таки отвечаю: "Не знаю. Сюда, кажется, не подходят причины и следствия. Причины и следствия — результат мышления. Но мне думается, что умственные болезни возникают ещё до мышления".

Такой ответ наверняка не устраивает их. Я тоже не очень-то понял, что сказал, но слишком устал, думать не хочется, и я сдаюсь.

— А что думают психиатры? — спрашивает Джон.

— Ничего. Я перестал к ним ходить.

— Перестал?

— Да.

— Ну разве так можно?

— Не знаю. У меня нет никаких веских доводов в пользу того, что это нехорошо. Просто я сам себе это вбил в голову. Я думаю об этом, привожу себе основания и даже собираюсь записать его на приём к врачу, но затем передумываю, и дверь как бы захлопывается.

— Ну это, пожалуй, неверно.

— Все тоже думают так. Думаю, что так оно будет не всегда.

— Ну отчего же? — спрашивает Сильвия.

— Да не знаю... просто так... не знаю... они ведь не родные... Удивительное слово, думаю я, никогда не употреблял его раньше. Не родные... какая-то чепуха... не одного и того же рода... тот же корень... доброта, тоже... они не настроены дружелюбно к нему, они ему не родные... Вот такое вот чувство.

Старое слово, настолько древнее, что еле всплыло. Какая перемена в течение веков. Теперь каждый может быть "добрым". И все должны быть такими. Но только прежде мы рождались с этим, и тут ничего не поделаешь. Теперь это в половине случаев напускное чувство, как у учителей в первый день школы. Но что они в самом деле знают о доброте, те, кто не родные? Я снова и снова задумываюсь об этом... mein Kind, мой ребёнок. Вот и на другом языке. Mein Kinder..."Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind". Он этого возникает

странное чувство.

— О чём ты думаешь? — спрашивает Сильвия.

— Старое стихотворение Гёте. Ему должно быть лет двести. Я выучил его давным-давно. Не знаю, почему оно мне вспомнилось сейчас, вот разве...” Снова возвращается это странное чувство.

— А о чём там говорится? — спрашивает Сильвия.

— Постараюсь вспомнить. “Человек ночью едет верхом по берегу, дует ветер. Это отец с сыном, которого он крепко держит в руках. Он спрашивает его, отчего тот так бледен, а сын отвечает: “Отец, разве ты не видишь призрак?” Отец пытается успокоить мальчика, говоря, что видит лишь облако над берегом и слышит лишь шорох листьев на ветру. Но сын всё время повторяет, что это призрак, и отец всё гонит и гонит коня в ночи.

— И как же оно кончается?

— Бедой... смертью мальчика. Призрак побеждает.

Порыв ветра раздувает угли, и я вижу, что Сильвия смотрит на меня с испугом.

— Но это было в другой стране и в другое время, — продолжаю я. Здесь же жизнь и есть конец, а призраки ничего не значат. Я верю в это. Верю во всё это тоже, — говорю я глядя на темную прерию, — хоть и не совсем понимаю, что это всё значит... И вообще, в наше время ни в чём нельзя быть уверенным. Может, поэтому я так много говорю об этом.

Угли остывают всё больше и больше. Мы выкуриваем по последней сигарете. Крис где-то там в темноте, но я не собираюсь искать его. Джон старательно хранит молчанье, Сильвия тоже молчит, и вдруг мы стали одинокими, замкнувшись каждый в своём частном мире, и нет больше связи между нами. Мы гасим огонь и отправляемся к спальным мешкам среди сосен.

Выясняется, что это небольшое пристанище среди сосен, где я расположил спальные мешки, также убежище для миллионов комаров, прилетевших с озера. Антикомариная жидкость совсем не пугает их. Забираюсь в мешок и оставляю маленькую дырочку, чтобы дышать. Я почти уснул, когда, наконец, появился Крис.

— Там большая куча песка, — говорит он, хрустя иглами хвои.

— Ага, — отвечаю я. — Давай спать.

— Тебе надо посмотреть на неё. Пойдём посмотрим её завтра утром?

— У нас не будет времени.

— Можно, я снова поиграю там завтра утром.

— Да.

Он издаёт какие-то звуки, пока раздевается и влезает в спальник

мешок. Вот он уже там. Затем поворачивается. Молчит, и снова поворачивается. Затем произносит: “Пап”.

— Что?

— А как было, когда ты был маленький?

— Спи, Крис! Ну ведь должен же быть предел.

Позже я слышу, как он вздыхает, и понимаю, что он плакал, и хоть я совсем измотан, уснуть не могу. Тут могли бы помочь несколько слов утешения. Он ведь пытался вызвать расположение. Но почему-то таких слов не нашлось. Слова утешения больше годятся для незнакомых, в больнице, а не для родных. А ему вовсе не нужны мелкие эмоциональные примочки, не к этому он стремится... Не знаю я, к чему он стремится, что ему нужно.

От горизонта из-за сосен появляется горбатая луна, и по её медленной покойной дуге на небе я в полусне отмеряю час за часом. Слишком устал. Луна, странные сны, гул комаров и обрывки воспоминаний сталкиваются и смешиваются в призрачном потерянном пейзаже. Светит луна и всё же есть облако тумана, а я еду на коне, и со мной Крис, и лошадь скачет через ручей, бегущий где-то дальше к океану. Затем всё пропадает... И возникает вновь.

Из тумана возникают очертания человека. Если смотреть на него в упор, он пропадает, но если отвести взгляд, то он вновь появляется на краю поля зрения. Я уж готов что-то сказать, позвать, признать его, но не делаю этого, сознавая, что если я признаю его каким-либо жестом или действием, то он станет реальностью, которой не должен быть. И всё-таки я узнаю эту фигуру, хоть и не признаюсь себе в этом. Это Федр.

Злой дух. Умалишённый. Из мира, где нет жизни или смерти.

Фигура расплывается, и я сдерживаю свой испуг... крепко... без нажима... позволяю погрузиться... не верю этому... но и не совсем уж... и волосы медленно шевелятся у меня на голове... он зовёт Криса, не так ли?... Да?...

[глава отсутствует в сетевых источниках. возможно, не переведена]

Жара теперь везде. Я больше не могу не обращать на неё внимания. Воздух как из мехов печи настолько горяч, что глазам у меня под очками прохладнее, чем остальной части лица. Рукам прохладно, но на тыльной стороне перчаток выступили тёмные пятна пота в окружении белых разводов высохшей соли. На дороге впереди ворона тащит какую-то падаль и медленно отлетает прочь, когда мы подъезжаем ближе. На дороге осталось что-то похожее на ящерицу, иссохшую и вымазанную в гудроне.

На горизонте возникает подобие зданий, слегка колышущихся в мареве. Я смотрю на карту и полагаю, что это должен быть Боумэн. На ум приходит вода со льдом и кондиционер.

На улицах и тротуарах Боумэна почти никого не видать, но множество машин у дороги говорит о том, что люди здесь есть. Все по домам. Мы сворачиваем на стоянку, разлинованную под косым углом с крутым указателем на выезд, когда придёт пора ехать дальше. Одиноким старик в широкополой шляпе смотрит, как мы ставим мотоциклы и снимаем шлемы и очки.

— Ну как, жарковато? — интересуется он, но выражение лица у него бесстрастное.

Джон встряхивает головой и отвечает: “О Боже мой!”

Лицо старика в тени шляпы почти обретает улыбку.

— А сколько градусов? — спрашивает Джон.

— Сорок, — отвечает тот, — когда смотрел в последний раз.

— Сейчас должно быть сорок два.

Он интересуется, издалёка ли мы едем, мы отвечаем, и он одобрительно кивает. — Далеконько, — произносит он, затем спрашивает нас о машинах.

Нас ждёт пиво и кондиционеры, но мы медлим. Просто стоим тут при температуре в сорок два градуса и разговариваем. Он говорит, что он скотовод, сейчас на пенсии, что тут вокруг множество ранчо. У него когда-то много лет тому назад был хендерсоновский мотоцикл. Мне приятно, что ему хочется поговорить о своём мотоцикле на таком солнцепёке. Мы ещё толкуем некоторое время, но Джон, Сильвия и Крис стали проявлять признаки нетерпения, и мы наконец прощаемся. Он говорит, что был рад познакомиться, и хоть лицо у него по-прежнему бесстрастное, видно что это действительно так. Он степенно удаляется при этой несусветной жаре.

В ресторане я пытаюсь продолжить разговор о нём, но интереса ни у кого нет. Джон и Сильвия совсем отключились. Они просто сидят почти не шевелясь и впитывают в себя кондиционированный воздух. Подходит официантка принять заказ, они было зашевелились, но всё ещё не готовы, и она отходит.

— Так бы здесь и осталась, — говорит Сильвия.

Мне вспоминается старик в широкополой шляпе.

— Подумай только, каково здесь было до появления кондиционеров.

— Да вот, думаю.

— При такой нагретой дороге и с плохой покрывкой у меня нам не следует ехать быстрее шестидесяти, — замечаю я.

Никто ничего не отвечает.

Крис же в отличие от них, кажется, совсем пришёл в себя и с интересом осматривается.

Когда приносят пищу, он мигом расправляется с ней, и когда мы ещё не съели и половины, просит добавки. Ему дали, и затем мы ждём, пока он закончит.

Мы проехали ещё много миль, но жара всё так же нестерпима. Защитных и солнечных очков недостаточно при таком сиянье. Тут нужен щиток сварщика.

Высокие равнины переходят в размытые овражистые холмы. Всё вокруг похоже на яркий белёсый загар. Нигде нет ни стебелька травы. Лишь будылья сорняка, камни и песок. Приятнее смотреть на чёрный асфальт, и я наблюдаю, как он проносится под ногами. Кроме того замечаю, что левая выхлопная труба приобрела какой-то голубоватый оттенок, какого у неё раньше не было. Я плюю на палец перчатки, щупаю её и вижу, как она шипит. Нехорошо. Сейчас важно просто сжиться с этим и не вести душевной борьбы... спокойствие духа...

Теперь следует потолковать о ноже Федра. Это поможет поднять кое-что из того, о чём мы вели речь раньше. Применение такого ножа, расчленение мира на части и создание структуры — нечто такое, что делает каждый из нас. Мы всё время находимся среди миллионов вещей вокруг нас — меняющийся ландшафт, раскалённые холмы, звук мотора, ощущение ручки газа, каждый камень, сорняк и столб забора, куча мусора рядом с дорогой — мы замечаем это, но не задерживаем на них внимания, если не появляется что-то необычное или в них есть нечто, что мы предрасположены увидеть. Да и нельзя всё это удерживать в памяти, ибо она стала бы перегруженной бесполезными деталями, и мы не смогли бы думать. Из всего увиденного надо выбирать, и то, что мы отбираем и

сохраняем в памяти, — совсем не то, что виделось, ибо в процессе отбора происходит мутация. Мы черпаем горсть песку в безбрежной пустыне ощущений вокруг нас и называем её миром.

Как только мы взяли горсть песку, тот мир, что мы воспринимаем, начинается процесс дискриминации. Вот это и есть нож. Мы разделяем песок на части. Так и этак. Туда и сюда. Черное и белое. Теперь и тогда. Дискриминация — это расчленение создаваемой нами вселенной на части.

Вначале горсть песка кажется однородной, но чем больше мы её разглядываем, тем больше разнообразия находим в ней. Каждая песчинка отличается от другой. Двух одинаковых не бывает. Некоторые схожи в одном плане, другие подобны в другом; можно разделить этот песок на кучки по признаку схожести или различий. Оттенки цвета в разных кучках, размеры различных кучек, форма крупиц в разных кучках, подтипы форм крупиц — в другой кучке, оттенки прозрачности — тоже в разных кучках, и так далее и тому подобное. Можно подумать, что процесс подразделения и классификации когда-нибудь подойдёт к концу, но это не так. Он продолжается и продолжается бесконечно.

Классическое восприятие исследует эти кучки на основе их сортировки и установления взаимосвязи между ними. Романтическое восприятие направлено на горсть песка до того, как начинается сортировка. Оба пути видения мира имеют право на существование, хоть они и непримиримы.

Исключительно важно найти такой способ видения мира, который не причинял бы вреда ни тому, ни другому, а объединил бы их в один. Такое понимание не отвергает ни сортировку песка, ни созерцание несортированного песка самого по себе. Такое понимание, напротив, стремится направить внимание на бесконечный ландшафт, где был взят этот песок. Вот это-то и пытался проделать бедный хирург, Федр.

Чтобы понять то, что он стремился сделать, необходимо увидеть эту неотделимую от него часть ландшафта, которую нужно понять, надо увидеть в центре его фигуру человека, который сортирует песок на кучки. Видеть ландшафт и не видеть этой фигуры — значит не видеть ландшафта вообще. Отвергать ту ипостась Будды, которая занимается анализом мотоцикла, значит вообще упустить Будду из вида.

Есть извечный классический вопрос, состоящий в том, в какой части мотоцикла, в какой крупице песка и в какой кучке заключается Будда. Очевидно, задавать такой вопрос, — значит смотреть не в том направлении, ибо Будда вездесущ. Но также очевидно, что задавая такой вопрос, смотришь в верном направлении, ибо Будда вездесущ. Многие было

сказано о наличии Будды независимо от любого аналитического мышления, некоторые даже считают, что слишком много, и ставят под сомнение любые попытки что-либо добавить сюда. Но о том, что Будда существует внутри аналитической мысли и даёт этой аналитической мысли направление, не сказано практически ничего, и на то есть исторические причины. Но история продолжает твориться, и пожалуй, не будет вреда, а может даже пойдёт на пользу, если дополнить наше историческое наследие рассуждениями в этом плане.

Когда аналитическая мысль, этот нож, прилагается к опыту, кое-что непременно уничтожается в ходе такого процесса. И это довольно хорошо понимают, по крайней мере в искусстве. На ум приходит опыт Марка Твена, когда он, усвоив аналитические знания навигации по реке Миссисипи, обнаружил, что река утратила свою прелесть. Нечто всегда уничтожается. Но что меньше замечают в искусстве, так это то, что нечто всегда сотворяется. И вместо того, чтобы думать о том, что погибло, важно также видеть то, что создаётся, и рассматривать этот процесс как некую непрерывность смерти-рождения, что само по себе не хорошо и не плохо, а просто дано.

Мы въезжаем в город Мармарт, но Джон не останавливается даже отдохнуть, и мы едем дальше. По-прежнему жара как из печки, мы минуем какие-то блёклые места и пересекаем границу Монтаны. Об этом гласит указатель при дороге.

Сильвия взмахивает руками, а я отвечаю ей гудком, но при взгляде на знак настроение у меня вовсе не ликующее. У меня это известие внезапно вызывает внутреннюю напряжённость, конторой у них быть не может. Откуда им знать, что мы теперь находимся на земле, где жил он.

Все эти разговоры о классическом и романтическом — довольно кружной путь при его описании, но чтобы добраться до Федра, только таким кружным путём и надо идти. Давать описание его внешности или излагать сведения из его жизненного пути — значит только отвлекаться на уводящие в сторону излишества. А подойти к нему напрямую — значит напрашиваться на беду.

Он был сумасшедшим. А если непосредственно смотреть на умалишённого, то видишь лишь отражение собственного знания о том, что он сумасшедший, то есть не видишь его вовсе. Чтобы увидеть его, надо усмотреть то, что видел он, а когда пытаешься вникнуть в видение умалишённого, следует избирать только кружной путь. Иначе собственные варианты всё испортят. Я усматриваю только один доступный путь к нему, и тут надо будет ещё потрудиться.

Я занялся всем этим анализом, дефинициями и иерархией не ради них самих, а для того, чтобы заложить основу понимания того направления, которым шёл Федр.

Позапрошлой ночью я сказал Крису, что Федр потратил всю жизнь на поиски призрака. И это верно. Призрак, который он преследовал, это призрак в основе всей техники, всей современной науки, всего западного мышления. Это призрак самой рациональности. Я сказал Крису, что он нашёл этот призрак и хорошенько его отдубасил. Пожалуй, образно говоря, это также верно. Я же попытаюсь пролить свет, по мере нашего следования, на кое-что из раскрытого им. Теперь такие времена, что оно может показаться кое-кому полезным. Никто тогда не увидит призрак, который преследовал Федр, но теперь мне кажется, что всё больше и больше людей видит его, или же замечает его в моменты упадка, призрак, который называет себя рациональностью, но чьё появление само по себе бессвязно и бессмысленно, что придаёт нормальным повседневным действиям некое безумие из-за их безотносительности к чему-либо ещё. Это призрак нормальных обыденных посылок, возвещающих о том, что конечная цель жизни, состоящая в том, чтобы жить, невозможна. Но тем не менее в этом и состоит конечная цель жизни, поэтому великие умы стремятся излечить болезни, чтобы люди жили дольше, и только умалишённые спрашивают: “А зачем?” Живешь дольше для того, чтобы жить дольше. Другой цели нет. Вот об этом-то и гласит призрак.

В Бейкере, где мы останавливаемся, термометры показывают 43 градуса в тени. Когда я снял перчатки, металл на бензобаке так нагрелся, что до него нельзя дотронуться. Мотор зловеще похрапывает от перегрева. Очень плохо. Задняя шина также сильно поистёрлась, и пощупав её рукой, я чувствую, что она нагрелась почти так же, как и бензобак.

— Нам придётся теперь ехать помедленнее, — заявляю я.

— Что?

— Вряд ли нам стоит теперь ехать быстрее пятидесяти.

Джон смотрит на Сильвию, она смотрит на него. Они уже видно разговаривали по поводу моей медленной езды. У них обоих такой вид, что им уже всё надоело.

— Мы же хотели добраться туда побыстрее, — говорит Джон, и они оба направляются к ресторану.

Цепь тоже нагрелась и высохла. В правом саквояже я отыскиваю аэрозоль-смазку, завожу двигатель и начинаю опрыскивать движущуюся цепь. Цепь так нагрелась, что раствор почти мгновенно испаряется. Затем я опрыскиваю её маслом, даю поработать минуту и выключаю мотор. Крис

терпеливо дожидается меня и затем идёт за мной в ресторан.

— Ты говорил, что сильный упадок наступает на второй день, — говорит Сильвия, когда мы подходим к кабине, в которой они расположились.

— На второй или третий, — отвечаю я.

— Или четвёртый или пятый?

— Может быть.

Сильвия с Джоном снова переглядываются с тем же выражением, что и раньше. Кажется, это значит “Вот тебе на”. Возможно они захотят ехать дальше быстрее и затем подождать нас где-нибудь в городе по дороге. Я бы предложил им это сам, но только они не будут ждать нас где-нибудь в городе, а при дороге.

— Не представляю, как только люди живут здесь, — говорит Сильвия.

— Да, здесь тяжёлый климат, — немного раздражённо отвечаю я. — Но они знают об этом до того, как селятся здесь, и готовы к этому.

Затем добавляю: “Если кто-то начинает жаловаться, то остальным от этого только хуже. Но они закалённые люди. Они умеют держаться.”

Джон и Сильвия больше ничего не говорят. Джон допивает коку и отправляется в бар подремать. Я выхожу на улицу и проверяю поклажу на мотоцикле. Обнаружил, что новая связка несколько ослабла, выбираю слабинку и подтягиваю верёвку. Крис показывает на градусник прямо на солнце, он совсем зашкалил за отметку в 50 градусов.

Не успели мы выехать из города, как я уже снова вспотел. Период охлаждения не продлился даже половины минуты.

Жара просто хлещет нас. Даже в темных очках мне приходится щуриться. Вокруг нет ничего, кроме жгучего песка и бледного неба, все это так сияет, что трудно смотреть куда-либо. Всё вокруг дошло до белого каления. Настоящий ад.

Джон впереди всё ускоряет и ускоряет ход. Я больше не гонюсь за ним и сбавляю до пятидесяти пяти. Если не хочешь нарваться на неприятность по такой жаре, то не надо рвать шины на скорости в восемьдесят пять. Иначе на этом перегоне она может лопнуть.

Вероятно они восприняли сказанное мной как упрёк, но я вовсе не это имел в виду. Мне ничуть не легче, чем им в такую жару, но незачем об этом распространяться. Весь день, пока я думал и рассуждал о Федре, они должно быть думали, как всё это плохо. Вот это-то их и гнетет в самом деле. Мысли.

Кое-что можно сказать о Федре как о личности:

Он был знатоком логики, классической системы систем, которая

описывает правила и процедуры систематического мышления, по которым можно структурировать и устанавливать взаимосвязи аналитического знания. И он так блестяще владел этим, что по коэффициенту умственного развития Стэнфорда-Бинета, который является верхом аналитического манипулирования, он имел 170 баллов, что бывает только у одного человека из 50 тысяч.

Он был систематиком, но сказать, что он думал и действовал как машина, значит не понимать природы его мышления. Он не был похож на поршни, колёса и приводы, которые все движутся одновременно, совместно и скоординировано. Вместо этого на ум приходит идея лазерного луча, единственного луча света жуткой энергии такой чрезмерной концентрации, что если его направить на луну, то отражение вернётся обратно на землю. Фейер не пытался использовать свой блеск для общего освещения. Он изыскивал одну конкретную удалённую цель, примерялся и поражал её. И это всё. А общее освещение этой цели, которую он поразил, он оставил теперь, пожалуй, на мою долю.

Пропорционально своему уму он был замкнутым. Нет свидетельств тому, что у него были близкие друзья. Путешествовал он один. Всегда. Даже в присутствии других людей он был совершенно одинок. Люди иногда чувствовали это и считали себя отверженными. Поэтому они не любили его, но их неприязнь для него не играла значительной роли.

Больше всего, пожалуй, страдали его жена и семья. Его жена говорит, что те, кто пробовал проникнуть через барьеры его замкнутости, наталкивались на глухую стену. Мне кажется, что они жаждали приветливости, которую он никогда не выказывал. Никто в самом деле не знал его толком. Он очевидно этого хотел, и так оно и было. Возможно одиночество было результатом его интеллектуальности. А возможно и было причиной этого. Но они всегда сопутствуют друг другу. Неприкакаянная одинокая интеллектуальность.

Хотя это ещё не всё, ибо образ лазерного луча содержит мысль о том, что он был совершенно холоден и неэмоционален, что совершенно неверно. В своих поисках того, что я называл призраком рациональности, он был охотником-фанатиком.

Сейчас особенно ярко вспоминается один эпизод, когда солнце скрылось за горой на полчаса, и ранние сумерки изменили окраску деревьев и даже скал на почти черные оттенки синего, серого и коричневого. У него кончились пища, но он пребывал в глубокой задумчивости, ему что-то мерещилось и не хотелось уходить. Он находился неподалёку от того места, где ему было известно, что есть дорога, и

поэтому он не торопился.

В сгущающихся сумерках на тропе он заметил какое-то движение, ему показалось, что это собака, очень большая овчарка, или животное больше похожее на волкодава, и он удивился, с чего бы это собака появилась в таком пустынном месте в такое позднее время. Собак он не любил, но это животное двигалось так, что предвосхитило его чувства. Казалось, оно следит за ним, оценивает его. Федр долго смотрел в глаза животного, и на мгновение почувствовал некоторого рода признание. Затем собака исчезла.

Позднее он догадался, что это был лесной волк, и память об этом случае сохранилась у него надолго. Я думаю, что она сохранилась потому, что он увидел в некотором роде своё отображение.

Фотография даёт физическое изображение, статичное во времени, зеркало может дать физическое изображение, динамичное во времени, но мне кажется, что там, в горах, было совсем другого рода видение, которое не было физическим и не существовало во времени совсем. И всё же это было отображение, и поэтому он почувствовал узнавание. Я отчётливо теперь это себе представляю, так как опять прошлой ночью увидел это в образе самого Федре.

Как и у лесного волка в горах у него была какая-то звериная храбрость. Он шёл своим собственным путём, невзирая на последствия, что иногда изумляло людей и удивляет меня, когда я знакомлюсь с ним. Он редко сворачивал вправо или влево. Я это точно выяснил. Но его мужество не коренилось в какой-то идеалистической мысли о самопожертвовании, оно исходило только из напряжённости его поиска, а в этом нет ничего благородного.

Думается, что его погоня за призраком рациональности была вызвана тем, что он хотел отомстить ему, ибо он чувствовал себя в значительной мере сформированным им. Он хотел освободиться от своего собственного образа. Он хотел разрушить его, ибо призрак был тем, что и он сам, и он хотел освободиться от уз своей собственной личности. Как это ни странно, он добился этой свободы.

Данное описание Федре должно быть покажется не от мира сего, но самое неземное о нём ещё впереди. Это мои взаимоотношения с ним. До сих пор всё было как-то смутно и неопределенно, но тем не менее об этом следует сказать.

Впервые я узнал о нём вследствие ряда странных событий, случившихся много лет тому назад. Однажды в пятницу я пошёл на работу, многое успел сделать перед выходными и был весьма доволен собой. Затем поехал на вечеринку, где слишком много и слишком громко разговаривал,

хорошенько выпил и зашёл в одну из комнат отдохнуть.

Проснувшись, я обнаружил, что проспал всю ночь, ибо уже был день, и я подумал: “Боже мой, я даже не знаю, как зовут хозяев!” и представил себе, к каким неприятностям всё это приведёт. Комната была не похожа на ту, где я ложился, но когда я входил туда, было темно, и к тому же я был пьян до бесчувствия.

Я встал и обнаружил, что мне сменили одежду. Прошлым вечером я был в совсем другом платье. Я вышел в дверь, но к своему изумлению увидел, что дверь ведёт не в комнаты дома, а в длинный коридор.

Идя по коридору, я почувствовал, что все смотрят на меня. Три раза ко мне подходили незнакомые люди и осведомлялись, как я себя чувствую. Полагая, что они имеют в виду моё пьяное состояние, я отвечал, что даже не чувствую похмелья. Один из них захихикал было, но тут же спохватился.

В одной из комнат в конце коридора я заметил стол, за которым что-то делалось. Я сел неподалёку, надеясь, что меня не заметят, пока я не выясню, что здесь делается. Но ко мне подошла женщина в белом и спросила, знаю ли я, как её зовут. Я стал читать маленькую табличку с фамилией у неё на блузке. Она не обратила внимания на то, что я делаю, удивилась и поспешно удалилась.

Она вернулась с каким-то мужчиной, который уставился на меня. Он сел рядом и спросил, знаю ли я его. Я ответил правильно, и удивился не меньше их тому, что знаю это.

— Что-то слишком рано всё это происходит, — сказал он.

— Здесь всё похоже на больницу, — сказал я.

Они согласились.

— Как я попал сюда? — спросил я, памятуя о пьяной вечеринке. Мужчина ничего не ответил, а женщина опустила взор. Ничего мне так и не объяснили.

Мне потребовалось больше недели, чтобы вывести из окружающего, что всё происходившее до того, как я проснулся, было сном, а всё после — действительностью. Не было оснований проводить различия между этими состояниями, кроме того, новые события свидетельствовали против пьяных воспоминаний. Появились такие мелочи, как закрытая дверь, внешней стороны которой я так и не мог вспомнить. И листок бумаги из суда, в котором говорилось, что некто признан невменяемым. Они что, имеют в виду меня?

Наконец мне объяснили: “У вас теперь новая личность”. Но такое сообщение ничего не объясняло. Оно тем более озадачило меня, что я не

имел никакого представления о своей “старой” личности. Если бы мне сказали: “Вы теперь новая личность”, то было бы намного яснее. Это хоть как-то подходило бы. Но они сделали ошибку, посчитав личность некоторого рода собственностью, как смена одежды, которую носишь. А кроме личности остаётся что? Кое-какие кости да плоть. Возможно набор паспортных данных, но конечно же не человек. Кости, плоть, паспортные данные — это одежда, которую носит личность, а не наоборот.

Но кто же тогда “старая” личность, которая им известна, и продолжением которой я как бы являюсь?

И вот тут-то я впервые почувствовал намёк на существование Федра, много лет тому назад. За дни, недели и годы, что прошли с тех пор, я узнал и многое другое.

Он мёртв. Его уничтожили по приговору суда путём подачи высоковольтного переменного тока на полушария мозга. Примерно 800 миллиампер длительностью от 0,5 до 1,5 секунды подавалось ему последовательно двадцать восемь раз согласно процессу, который по технологии называется “Устранение ECS”. Цельность личности была ликвидирована без следа посредством технологически безупречного акта, который определяет наши взаимоотношения с тех пор. Я никогда не встречался с ним. Никогда и не встречусь.

И всё же странный шепот его памяти вдруг напоминает об этой дороге и утёсах в пустыне, и раскалённом песке вокруг нас. Всё это как-то необычно совпадает, и тогда я догадываюсь, что он видел всё это. Он бывал здесь, иначе я бы не знал об этом. Должен был быть. И то, что у меня вдруг возникают такие видения, и то, что вдруг возникают обрывки воспоминаний, об истоках которых я не имею никакого понятия, я ведь не ясновидец, не дух, получающий сообщения из потустороннего мира. Вот как оно есть. Я вижу вещи своими глазами и я вижу их также его глазами. Когда-то они принадлежали ему.

Эти ГЛАЗА! Вот в чём ужас. Вот эти руки в перчатках, ведущие мотоцикл по дороге, которые я вижу сейчас, когда-то были его! И если можно понять чувство, возникающее при этом, то можно понять и настоящий страх — страх от осознания, что от него некуда деться.

Мы въезжаем в каньон с невысокими берегами. Вскоре появляется площадка для отдыха, которую я ждал. Несколько скамеек, небольшое строение и какие-то деревца со шлангами у оснований. Джон, слава богу, уже на выезде с другой стороны, собирается выехать на шоссе.

Я не обращаю на него внимания и подъезжаю к домику. Крис соскакивает, и мы заводим мотоцикл на стоянку. От мотора подымается

жар, как если бы он был в огне, размётывающем искажающие всё вокруг волны. Краем глаза вижу, что второй мотоцикл возвращается назад. Они подъехали и сердито уставились на нас.

Сильвия восклицает: “Ну, просто... нет слов!”

Я пожимаю плечами и бреду к питьевому фонтанчику. Джон вопрошает: “Ну и где же та выносливость, о которой ты всё нам толкуешь?”

Я бросаю на него мимолётный взгляд и вижу, что он очень сердит. “Я боялся, что ты примешь это близко к сердцу”, - отвечаю и отворачиваюсь. Пью воду, а она щелочная, как будто мыльная. И всё же пью.

Джон идёт в помещение, чтобы намочить себе рубашку. Я же проверяю уровень масла. Крышка масляного фильтра настолько горяча, что жжёт пальцы даже сквозь перчатку. Масла в моторе поубавилось немного. Протектор на заднем колесе стёрся ещё больше, но всё-таки ещё можно ехать. Цепь достаточно хорошо натянута, но уже подсохла, и я снова смазываю её, чтобы не рисковать. Самые важные болты достаточно туго затянуты.

Возвращается Джон весь облитый водой и говорит: “ На этот раз ты поезжай вперёд, а мы будем сзади.”

— Я не поеду быстро.

— Хорошо, — отвечает он. — Успеется.

Итак, я еду впереди, и едем мы медленно. Дорога по каньону совсем не такая прямая, как была до сих пор, хоть я и полагал, что будет так, и начинает виться вверх. Странно.

Дальше дорога начинает вилять, то заворачивает вспять, то снова ведёт вперёд. Вскоре она идёт немного в гору, затем подымается ещё. Мы движемся зигзагами в узких прогалинах, потом снова подымаемся вверх немного, каждый раз всё выше и выше.

Появляются кустики. Затем небольшие деревца. Дорога подымается всё выше, появляется трава, затем огороженные луга.

Над головой появляется облачко. Может быть дождь? Возможно. Луга должны поливаться дождём. А здесь ещё к тому же цветы. Странно, как всё изменилось. На карте это никак не отражено. А старые воспоминания уже улетучились. Здесь Федра, должно быть, не было. Но ведь другой дороги нет. Странно. Она подымается всё выше.

Солнце склоняется к облаку, которое уже почти касается горизонта, на котором виднеются деревья, сосны, и от деревьев холодный ветер доносит запахи сосны. Цветы на лугу качаются под ветром, мотоцикл слегка наклоняется, и сразу становится прохладно.

Я оглядываюсь на Криса и вижу, что он улыбается. Я тоже улыбаюсь.

Затем начинается сильный дождь, от пыли вздымается запах земли, ждавшей его слишком долго, а пыль рядом с дорогой утыкана первыми каплями дождя.

Всё это так внове, и он нам так нужен, свежий дождь. Одежда у меня промокла, очки заливает водой, я начинаю дрожать и чувствую себя превосходно. Туча проходит под солнцем, сосновый лес и лужки снова сверкают там, где солнце пронизывает мелкие капли дождя.

На вершину мы опять выезжаем сухими, но уже остывшими и останавливаемся с видом на огромную долину внизу, по которой течёт река.

— Ну, кажется, приехали, — говорит Джон.

Сильвия с Крисом ушли гулять по лужку под соснами, сквозь которые далеко внизу видна вся долина.

Вот теперь я стал первопроходцем, глядящим на землю обетованную.

ЧАСТЬ II

Сейчас около 10 часов утра. Я сижу рядом с машиной на прохладном поребрике в тени позади гостиницы, что мы нашли в Майлс-Сити, Монтана. Сильвия с Крисом сейчас в лондромате, где занимаются стиркой для всех нас. Джон ушёл в поисках козырька к своему шлему. Ему показалось, что он видел такой в мотоциклетном магазине, когда мы вчера въезжали в город. А я же собираюсь немного поднастроить мотоцикл.

Чувствуем себя отлично. Мы приехали сюда к вечеру и хорошо выпались. Хорошо, что мы сделали здесь остановку. Мы настолько одурели от утомления, что даже не сознавали, как устали. Когда Джон оформлял номера в гостинице, то даже забыл мою фамилию. Когда администраторша спросила, не наши ли это за окном “обалденные как мечта” мотоциклы, мы оба так громко засмеялись, что она даже удивилась, не сказала ли чего-либо не так. Но это у нас был просто нервный смех от слишком сильного переутомления. Мы с огромным удовольствием поставили их на стоянку и с радостью пошли пешком.

И ванная. Прекрасная старая чугунная эмалированная ванна на львиных лапах посреди мраморного пола так и ждала нас. Вода настолько мягкая, что казалось, мыло так и не смывается. Затем мы гуляли туда и сюда по главным улицам и чувствовали себя целым семейством...

Я столько раз уже делал техобслуживание этой машине, что выработал ритуал. Теперь мне не надо задумываться о том, что делать. В основном высматриваю что-нибудь необычное. У мотора появился шум, похожий на ослабшие клапана, но может быть чем-то и похуже, так что я сейчас настрою его и посмотрю, не пропадёт ли он. Регулировку клапанов надо делать на холодном двигателе, это значит, что там, где поставишь его на стоянку с вечера, там и будешь работать на нём утром. Вот почему я теперь сижу на тенистом поребрике позади гостиницы в городе Майлс-Сити, штат Монтана. Сейчас воздух прохладен в тени, и так будет ещё примерно с час, пока солнце не выглянет из-за ветвей деревьев. При этом так хорошо работается. Важно не заниматься такой работой под прямыми лучами солнца или под вечер, когда мозг уже затуманен, ибо, хоть ты и проделывал сотни раз, надо быть внимательным и аккуратным.

Не все понимают, как целиком рационален этот процесс, процесс ухода за мотоциклом. Некоторые считают, что тут нужно какое-то “чутьё” или какое-то “чувство близости к машинам”. Они правы, но чутьё — это

почти чистый процесс разумения, и большинство трудностей вызвано тем, что люди старой закалки называли “коротким замыканием наушников”, то есть неумением правильно пользоваться головой. Мотоцикл функционирует целиком в соответствии с законами разума, и изучение искусства ухода за мотоциклом по существу представляет собой миниатюрное исследование самой рациональности. Вчера я говорил, что Федр охотился за призраком рациональности, и это привело его к сумасшедствию, но чтобы вникнуть в неё, важно не отрываться от земных примеров рациональности с тем, чтобы не запутаться в общих местах, которых понять не может никто. Разговор о рациональности может оказаться весьма запутанным, если в него не включать также те вещи, которыми занимается рациональность.

Сейчас мы находимся у классического-романтического барьера, где с одной стороны видим мотоцикл в его непосредственном внешнем плане, — и это важный аспект рассмотрения, — и где с другой стороны мы начинаем видеть его так, как это делает механик в плане подспудной формы, — и это также важный план рассмотрения вещей. Вот, к примеру, инструмент: вот этот ключ, в нём есть определённая романтическая красота, но назначение его чисто классическое. Он предназначен для изменения подспудной формы машины.

Фарфор внутри первой свечи очень потемнел. Это как в классическом, так и в романтическом плане безобразно, ибо значит, что в цилиндр попадает слишком много бензина и недостаточно воздуха. Молекулы углерода в бензине не получают достаточно кислорода для соединения и осаждаются вот здесь на свече. Когда мы вчера въезжали в город, холостой ход был несколько нестабилен, что является симптомом того же самого.

Чтобы убедиться, что только один цилиндр получает переобогащенную смесь, я проверяю и другой цилиндр. Оба одинаковы. Достая складной нож, беру палку, валяющуюся рядом, и остругиваю ей один конец, чтобы почистить свечи, задумываясь над тем, что могло бы послужить причиной переобогащения. Штанги и клапана тут не при чём. И регулировка в карбюраторах нарушается редко. Главные жиклёры установлены большего размера, что приводит к переобогащению на больших скоростях, но ведь свечи были гораздо чище и до этого при тех же самых жиклёрах. Тайна какая-то. Они всегда окружают вас. Но если пытаться разгадать их все, то машину никогда не настроишь. Ответа сразу не нахожу и поэтому оставляю вопрос открытым.

Первый клапан в порядке, регулировать его не надо, и я перехожу к следующему. До тех пор, пока солнце выглянет из-за деревьев, ещё много

времени... когда я занимаюсь этим, то чувствую себя как в церкви... Прибор мне представляется в некотором роде иконой, и я совершаю с ним некий священный обряд. Это один из набора измерительных приборов, которые называются “высокоточная измерительная аппаратура”, что в классическом плане имеет глубочайший смысл.

В мотоцикле эта точность поддерживается не в силу каких-либо романтических или классических причин, а просто потому, что громадная сила теплового и взрывного давления внутри двигателя контролируется только при такой точности, которую может обеспечить эта аппаратура. При каждом взрыве она вызывает поверхностное давление шатуна на коленчатый вал во много тонн на квадратный дюйм. Если шатун плотно сочленён с коленвалом, то сила взрыва передаётся плавно, и металл в состоянии выдержать это. Но если сочленение неплотно, со слабиной всего лишь в несколько тысячных дюйма, то сила передаётся внезапно, как удар молота, и тогда поверхности шатуна, подшипника и коленвала расклёпываются, и появляется шум, который вначале похож на звук разрегулированных клапанов. Вот поэтому-то я и проверяю их теперь. Если ослаб шатун, и я попытаюсь доехать до гор без капитального ремонта, то шум станет всё громче и громче, шатун может оборваться, столкнуться с вращающимся коленвалом и разрушить двигатель. Иногда сломанные шатуны проламывают картер, и масло выливается на дорогу. И тогда не остаётся ничего иного, как идти пешком.

И всего этого можно избежать при точности всего в несколько тысячных дюйма, которые обеспечивают высокоточные измерительные приборы. В этом-то и состоит их классическая красота: не то, что видишь, а то, что они значат, на что они способны в плане управления подспудной формой.

Второй клапан в порядке. Я перехожу на другую сторону мотоцикла и начинаю работать со вторым цилиндром.

Высокоточные инструменты созданы для того, чтобы достичь идеала, точности в размерах, где совершенству нет предела. В мотоцикле нет и никогда не будет детали совершеннейшей формы, но если добраться до точности, которую обеспечивают эти приборы, то происходят замечательные вещи, и ты летишь по местности с силой, которую можно назвать магической, если бы только она не была такой рациональной во всех смыслах. И исключительно важно понять этот интеллектуальный идеал. Джон смотрит на мотоцикл, видит сталь в разных формах, и у него возникают отрицательные чувства в отношении всех этих стальных форм и изгибов. Я же смотрю на изогнутые формы стали и вижу идеи. Он

полагает, что я работаю с деталями. Я же работаю с концепциями.

Об этих концепциях я толковал вчера, когда говорил, что мотоцикл можно подразделить по составляющим частям и по функциям. Сказав об этом, я сразу же создал блок-схему следующего состава:

Мотоцикл
Составные части | Функции

А когда говоришь, что все составляющие части можно подразделить на силовую установку и ходовую часть, то сразу появляется ещё несколько прямоугольников:

Мотоцикл
Составные части | Функции
Силовая установка | Ходовая часть

И видите ли, каждый раз, как я делал дальнейшее подразделение, появлялось всё больше прямоугольников, и наконец, у меня получилась целая пирамида. И также видно, что пока я разбирал мотоцикл на всё более мелкие части, одновременно я создавал некую структуру.

Такую структуру концепций официально называют иерархией, и с древних времён она была основной структурой всей западной цивилизации. Иерархически строились королевства, империи, церкви и армии. Так же строится современное предпринимательство. Так же составляют таблицы справочных материалов, механические узлы, программное обеспечение ЭВМ, так структурируются все научные и технические отрасли знаний, вплоть до того, что в некоторых отраслях, таких как биология, иерархия царство-филюм-класс-отряд-семейство-род-вид представляет собой чуть ли не канон.

Прямоугольник “мотоцикл” содержит в себе прямоугольники “составные части” и “функции”. Прямоугольник “составные части” состоит из прямоугольников “силовая установка” и “ходовая часть” и так далее. Существует много других типов структур, созданных другими операторами, таких как “причины”, которые порождают длинную цепь структур по форме, “из А следует В, из которого следует С, из которого следует D” и так далее. При функциональном описании мотоцикла применяется такая структура. Операторские “имеется”, “равно” и “подразумевает” создают новые структуры. Эти структуры как правило взаимосвязаны по определённым образцам, и пути их настолько сложны и

огромны, что никто не может в течение жизни понять больше малой их доли. Общим названием этих взаимосвязанных структур, родом, в котором иерархия содержания и структура причинности представляют собой только виды, является система. Мотоцикл — это система. Настоящая система.

Также будет правильным говорить об определённых правительственных и государственных институтах как о “системе”, ибо эти организации основаны на таких же структурных концептуальных отношениях, как и мотоцикл. Они сохраняют структурные отношения даже тогда, когда утрачивают весь смысл и назначение. Люди приходят на завод и выполняют совершенно бессмысленные задания с восьми до пяти, не задаваясь вопросами, ибо структура требует этого таким образом. Нет никакого злодея, “плохого человека”, который хотел бы, чтобы они жили такой бессмысленной жизнью, просто структура, система требует этого, и никто не хочет брать на себя чудовищную задачу изменения этой структуры просто потому, что она бессмысленна.

Но разрушить завод, бунтовать против правительства или уклоняться от ремонта мотоцикла только потому, что они представляют собой систему — значит браться за следствия, а не причины. А раз вы взялись только за следствия, то никакие перемены невозможны. Настоящая, подлинная система представляет собой нынешнюю конструкцию системного мышления, саму рациональность, и если разрушить завод, а оставить рациональность, которая создала его, то тогда эта рациональность просто создаст новый завод. Если революция уничтожит систематическое правительство, но сохранятся в неприкосновенности систематические образы мышления, создавшие это правительство, то они повторятся в последующем правительстве. О системе так много говорят, но так мало её понимают.

Вот и всё, что представляет собой мотоцикл: систему концепций, воплощённую в металле. В нём нет такой детали, нет такой формы, которая не родилась бы сначала в чьём-либо мозгу... сюда входит и клапан номер три. И ещё. Пусть оно так и будет... Я также заметил, что люди, никогда не работавшие с металлом, с трудом понимают, что мотоцикл — прежде всего явление умственное. Они ассоциируют железо с данными формами: трубами, стержнями, перекладинами, инструментами, деталями, которые закреплены и нерушимы, и думают о них преимущественно в физическом плане. А человек, занимающийся механической обработкой металла, литьём, ковкой или сваркой, видит “железо” безо всякой формы. Металл может принимать любую форму, если вам это нужно и вы достаточно квалифицированы, и любую форму, кроме той, что нужна, если вы

неквалифицированы. Форма, как у этого клапана, — то, чего вы добились, то, что вы дали металлу. Металл не имеет другой формы, кроме как засохшей грязи вот тут на моторе. Все эти формы — порождения чьего-то ума. Вот это-то и важно понять. Сталь? Да чёрт побери, даже и она порождение чьего-то ума. В природе не бывает стали. Любой даже в бронзовом веке мог вам сказать это. В природе лишь существует потенциал для создания стали. И ничего другого. А что такое “потенциал”? То, что опять же таится в чьём-то уме!.. Призраки.

Именно об этом толковал Федр, когда говорил, что всё происходит в уме. И если вдруг заявить об этом без конкретного упоминания о чем-либо вроде двигателя, то это представляется сумасшествием. Но если соотнести это с чем-либо конкретным и вещественным, то сумасшествие как-то улетучивается, и тогда понимаешь, что он, пожалуй, говорил нечто толковое.

Четвёртый клапан также ослаб, как я об этом и подозревал. Я регулирую его. Проверяю зажигание и вижу, что оно не сбито, контакты не подгорели, и я их не трогаю, снова привинчиваю крышку клапанов, устанавливаю на место свечи и завожу мотоцикл.

Шум клапанов пропал, но это ещё ничего не значит, пока мотор не разогрелся. Даю ему поработать на холостом ходу, а тем временем убираю инструмент. Затем сажусь на мотоцикл и направляюсь в спортивный магазин, о котором нам говорил вчера какой-то мотоциклист, где может быть звено регулировки цепи и новая резиновая накладка на подножку. Крис, должно быть, нервничает, и накладки у него под ногами изнашиваются.

Я проезжаю пару кварталов, клапана по-прежнему не стучат. Звук вроде бы хороший, и мне кажется, что стук пропал. Хотя не стоит делать каких-либо выводов, пока не проедем миль тридцать. А тем временем светит солнце, воздух прохладен, голова у меня свежая, впереди у нас целый день, мы уже почти приехали в горы, и просто хорошо жить на свете в такой день! Это вызвано разреженным воздухом. Когда поднимаешься на высоту, всегда чувствуешь себя так.

Высота! Вот почему мотор получает переобогащённую смесь. Конечно, причина должна быть в этом. Мы сейчас на высоте в две с половиной тысячи футов. Лучше переключиться на стандартные жиклёры. Мне понадобится всего лишь несколько минут, чтобы заменить их. И сделать смесь немного победнее на холостом ходу. Ведь мы ещё поднимемся на гораздо большую высоту.

Под тенистыми деревьями я нахожу “Мотоциклетный магазин Билла”,

но самого его на месте нет. Какой-то прохожий говорит, что “он, пожалуй, куда-то отлучился” и оставил магазин незапертым. Вот это действительно запад. В Чикаго или Нью-Йорке никто бы не оставил магазин в таком виде.

Внутри я вижу, что Билл — механик “фотографического склада ума”. Всё у него повсюду разбросано. Ключи, отвёртки, старые детали, старые мотоциклы, новые запчасти, новые мотоциклы, рекламная литература, внутренние трубки, всё это так плотно и безалаберно разбросано, что под ними даже не видать верстаков. Я бы не смог работать в такой обстановке, но это всего лишь потому, что я не механик с фотографическим складом ума. Билл, возможно, обернётся и не глядя возьмёт любой нужный инструмент, даже не задумываясь о том, где тот лежит. Я знаю таких механиков. Глядеть на них тошно, но они делают работу ничуть не хуже, а иногда и быстрее. А переложит ему какой-либо инструмент на три дюйма в сторону, и он будет искать его днями.

Появляется Билл, ухмыляясь своим мыслям. У него, конечно же, есть жиклёры к моей машине, и он точно знает, где они лежат. Однако, мне придётся минутку подождать. Ему нужно закончить сделку по запчастям “Харлей” в подсобном помещении. Я иду с ним в сарай и вижу, что он продаёт подержанный “Харлей” на запчасти, за исключением рамы, которая уже имеется у покупателя. Он продаёт всё это за 125 долларов. Неплохая цена.

Оглядываясь назад, я замечаю: “Прежде чем ему удастся собрать всё это в кучу, он познает кое-что о мотоциклах.”

Билл смеётся: “И это самый хороший способ научиться.”

У него нашлись жиклёры и резиновые накладки, но нет звена для регулировки цепи. Я устанавливаю накладки и жиклёры, выбираю неравномерность холостого хода и еду обратно в гостиницу.

В то время, как я приезжаю, Сильвия, Джон и Крис спускаются по лестнице со своей поклажей. По их лицам видно, что у них такое же хорошее настроение, как и меня. Мы идём по главной улице, находим ресторанчик и заказываем себе на обед бифштексы.

— Прекрасный город, — заявляет Джон, — просто отличный. Я даже удивлён, что такие ещё сохранились. Я всё утро прогулял вокруг. У них есть бары для скотоводов, высокие сапоги, пряжки для ремней с серебряным долларом, “Ливайзы”, “Стетсоны”, всё что угодно... и всё настоящее. Вот тут в баре неподалёку сегодня утром со мной заговорили так, как если бы я прожил здесь всю жизнь.

Мы заказываем по порции пива. По подкове на стене я определяю, что мы в краю пива “Олимпия”, и заказываю его.

— Они вероятно подумали, что я с ранчо или что-то в этом роде, — продолжает Джон. — Старик говорил о том, что не собирается отдавать своим парням ничего, и мне это очень понравилось. Ранчо пойдёт девочкам, ибо проклятые ребята просаживают последний цент у “Сузи”. — Джон заливается смехом. — Он сожалеет, что вырастил их и тому подобное. Я полагал, что всё это уже дела давно минувших дней, но вот оно тут как тут.

Приходит официантка с бифштексами, и мы вонзаем в них ножи.

После работы с мотоциклом у меня отличный аппетит.

— И кое-что интересное для тебя, — говорит Джон. — Они разговаривали о Бозмене, куда мы едем. Говорили, что у губернатора Монтаны есть список пятидесяти радикальных профессоров в колледже Бозмена, которых он собирается уволить. И вдруг он погибает в авиационной катастрофе.

— Это было уже давно, — отвечаю я. — Отличные бифштексы.

— Вот уж не думал, что у них столько радикалов в штате.

— Здесь в штате есть всякие люди, — говорю я. — Но это всего лишь правый уклон в политике.

Джон подсыпает себе соли и говорит: Сюда приезжал журналист из Вашингтона, и вчера в газете появилась заметка, вот почему они все говорили об этом. Это же подтвердил президент колледжа.

— И что, напечатали список?

— Не знаю. Ты что, знаком с ними?

— Если уж они напечатали пятьдесят фамилий, — отвечаю я, — то моя должна быть среди них.

Они оба смотрят на меня с некоторым удивлением. Вообще-то я не очень-то хорошо об этом знаю. Это всё, конечно, он, и с чувством неловкости я начинаю объяснять, что “радикал” в графстве Галлатин, штат Монтана, несколько отличается от радикалов в любом другом месте.

— Это колледж, — сообщаю я, — где запретили даже упоминать о жене президента Соединённых штатов за то, что она слишком “противоречива.”

— И кто же это?

— Элеонора Рузвельт.

— Боже мой, — смеётся Джон, — это уж слишком.

Они просят меня продолжать, но тут трудно что-либо добавить. Затем я вспоминаю: В такой ситуации настоящий радикал даже выигрывает. Он может натворить всё что угодно, и это сойдёт ему с рук, ибо оппозиция сама себя уже выставила дурой. И независимо от того, что он скажет, у него

будет всё прилично.

По пути назад мы идём по городскому парку, который я отметил про себя вчера вечером, что вызвало у меня одно воспоминание. Видение того, что смотрю на деревья. Он спал на скамье этого парка однажды ночью по пути в Бозмен. Вот почему я не узнал этого леса вчера. Он проходил здесь ночью по пути в колледж Бозмена.

Теперь мы едем по долине реки Йеллоустон через Монтану. В зависимости от того, есть ли орошение из реки или нет, растительность перемежается от западной полыни до среднезападных кукурузных полей. Иногда мы переваливаем через утёсы, уводящие нас из орошаемой местности, но как правило держимся поближе к реке. Минуем знак, на котором говорится что-то о Кларке и Льюисе. Один из них проходил этим путём во время экспедиции по северо-западному проходу.

Приятный звук. Очень подходит для шатокуа. Мы тоже как бы в экспедиции по северо-западному проходу. Опять минуем поля и участки пустыни, и день потихоньку проходит.

Я хочу теперь последовать за тем самым призраком, за которым охотился Федр, собственно рациональностью, скучным, сложным, классическим призраком подспудной формы.

Сегодня утром я толковал о иерархиях мышления, системе. Теперь же хочу поговорить о методах нахождения путей по этим иерархиям, логике.

Применяются два вида логики: индуктивная и дедуктивная. Индуктивные посылки начинаются с наблюдений за машиной, что приводит к общим выводам. Например, если машина попадает на ухаб, и мотор даёт осечку, затем попадает на другой ухаб и снова дает сбой, на следующем ухабе та же история, потом машина долго идёт по ровной дороге, и мотор работает без сбоя, а на четвертом ухабе в моторе снова сбой, то логически можно заключить, что сбои вызваны ухабами. Это индукция: умозаключение от конкретного опыта к общей истине.

Дедуктивные посылки действуют наоборот. Они исходят из общего знания предмета и предсказывают какое-то конкретное наблюдение. Например, если исходя из иерархии фактов о машине, механик знает, что сигнал мотоцикла приводится в действие исключительно электричеством от аккумулятора, то он может логически вывести, что если батарея села, то сигнал работать не будет. Это — дедукция.

Решение проблем, слишком сложных для здравого смысла, достигается посредством длинных цепочек смешанных индуктивных и дедуктивных посылок, которые сплетаются и расплетаются между наблюдением за машиной и умственной иерархией работы машины, имеющейся в учебниках. Правильная программа этого сочетания формализована в качестве научного подхода.

Практически я никогда не сталкивался с достаточно сложной задачей по уходу за мотоциклом, которая потребовала бы для своего решения полномасштабного формального научного метода. Проблемы ремонта не так уж трудны. Когда я думаю о формальном научном методе, на ум иногда приходит громадный механизм, огромный бульдозер, медленный, скрипучий, неповоротливый, трудолюбивый, но непобедимый. Потребуется в два, пять, возможно в десять раз больше времени в сравнении с неформальной технологией механика, но вы твёрдо знаете, что в конце концов вы обязательно добьётесь своего. В уходе за мотоциклом нет таких проблем по поиску неисправностей, которые требовали бы этого. Когда попадаетесь действительно трудный случай, когда испробовал уже всё, всё передумал сто раз, и ничего не получается, когда природа действительно решила сыграть злую шутку, то говоришь: “Ну хорошо же, природа, на этом кончаем действовать подобру-поздорову” и переходишь к формальному научному подходу.

Для этого ведётся лабораторный конспект. Записывается всё, подробно, с тем, чтобы в любое время знать, что делаешь, что уже сделал, что собираешься сделать и чего хочешь добиться. В научной работе и электронной технологии это просто необходимо, иначе проблемы становятся настолько сложными, что в них запутываешься, теряешься и забываешь, что ты уже знаешь и чего ещё не знаешь, и в конце концов сдаёшься. В обслуживании мотоцикла всё не так уж сложно, но когда возникают недоразумения, то неплохо устранять их соблюдением формальностей и точностью. Иногда просто сама запись проблемы проясняет ваше истинное положение.

Логические положения, которые записываются в тетрадь разбиваются на шесть категорий: 1) изложение проблемы, 2) гипотезы относительно причины проблемы, 3) предложенные опыты по проверке каждой гипотезы, 4) предсказуемые результаты опытов, 5) наблюдения результатов опытов, и 6) выводы по результатам экспериментов. Это не отличается от формально принятой во многих колледжах и старших классах школ методики, но цель здесь — не просто выработка навыков. Цель здесь состоит в точном направлении мысли, которое не завершится успехом, если оно не совсем верно.

Истинная цель научного метода в том, чтобы убедиться, что природа не навела вас на мысль, что вы знаете нечто, чего в самом деле не знаете. Нет такого механика, учёного или техника, который бы не страдал от этого так много, чтобы инстинктивно не насторожиться. В этом главная причина того, что значительная часть научно-технической информации кажется

такой скучной и осторожной. Если беззаботно и неосторожно относиться к научным сведениям и попытаться их кое-где приукрасить, то природа вскоре оставит вас полностью в дураках. Так бывает довольно часто в любом случае, даже если ей не потакать. В обращении с природой надо быть исключительно осторожным и строго логичным: один логический сбой, — и всё научное построение рушится. Одна ложная дедукция по поводу машины, и можно зависнуть на неопределённо долгий срок.

В Части первой формального научного метода, состоящей в констатации проблемы, главное заключается в том, чтобы не записать ничего кроме того, что вам известно наверняка. Гораздо лучше записать: “Решить задачу, почему не работает мотоцикл?”, что звучит довольно глупо, но тем не менее, правильное, чем сделать запись: “Решить задачу, что неисправно в электрической системе?”, если вы не уверены абсолютно точно, что неисправность заключена в электрической системе. Следует сделать такую запись: “Решить задачу: в чём неисправность мотоцикла?” и затем в качестве первой записи в Части второй: “Гипотеза номер один: неисправность в электрической системе”. Следует придумать как можно больше гипотез, затем разработать опыты по их проверке и выяснить, какие из них верны, а какие ложны.

Такой тщательный подход к исходным вопросам избавит вас от неверных резких поворотов, которые могут привести к неделям лишней работы или вообще могут завести в тупик. По этой причине научные вопросы нередко на первый взгляд выглядят глуповато. Их задают для того, чтобы позднее избежать крупных ошибок.

Романтики иногда считают Часть третью, часть формального научного метода, называемого экспериментом, самой наукой, ибо это единственная часть, имеющая значительную визуальную плоскость. Они видят массу пробирок и странного оборудования, суеющих людей, которые делают открытия. Они не видят эксперимент как часть более крупного интеллектуального процесса, и довольно часто путают эксперименты с демонстрациями, которые очень похожи на них. Человек, проводящий обалденное научно-показательное шоу с фrankenштейновским оборудованием на пятьдесят тысяч долларов, не делает ничего научного, ибо он заранее знает, каковы будут результаты его усилий. Механик по мотоциклам, с другой стороны, который бибикает, чтобы выяснить, работает ли аккумулятор, неформально проводит научный эксперимент. Он опробывает гипотезу, задавая вопрос природе. Научный работник, выступающий по телевидению и грустно бормочущий:

“Эксперимент провалился, нам не удалось достигнуть того, на что

надеялись”, страдает прежде всего от некомпетентности плохого сценариста. Эксперимент никогда не проваливается только потому, что не достиг предсказуемых результатов. Эксперимент проваливается только тогда, когда ему не удаётся должным образом проверить заданную гипотезу, когда полученные в результате данные не доказывают ни того, ни другого.

Квалификация в данном случае заключается в том, чтобы применять эксперимент только для проверки конкретной гипотезы, ничего больше и ничего меньше. Если сигнал сработал, и механик сделал вывод, что вся электрическая система работает, то он оказывается в глубоком заблуждении. Он сделал нелогический вывод. Гудок свидетельствует только о том, что работают аккумулятор и сигнал. Чтобы правильно поставить эксперимент, ему следует хорошенько подумать над тем, что к чему ведёт. Это известно из иерархии. Мотоцикл вовсе не движется от сигнала. То же самое и с аккумулятором, за исключением самого косвенного пути. Точкой, где электрическая система непосредственно приводит к вспышке в моторе, является свеча зажигания, и если не сделать проверки здесь, на выходе электрической системы, то никогда по настоящему не узнаешь, вызвана ли неполадка электрической системой или нет.

Чтобы правильно испытать свечу, механик вынимает её и прислоняет её к мотору так, чтобы основание её электрически заземлилось, пинает рычаг стартера и смотрит на зазор в свече, появляется ли голубая искра. Если её нет, то он может сделать два вывода: а) есть электрическая неполадка или б) эксперимент не удался. Если он достаточно опытен, то сделает ещё несколько попыток, проверит все соединения, продумает всё, что сможет, чтобы появилась искра. И тогда, если искры не добьётся, то, наконец, приходит к выводу, что “а” справедливо, что неполадка действительно по электрической части, и на этом эксперимент закончен. Он доказал, что его гипотеза верна.

В конечной категории, выводы, квалификация констатирует лишь то, что доказано экспериментом. Но при этом нет доказательств тому, что после починки электрической системы мотор заработает. Там могут быть и другие неисправности. Но он точно знает, что мотоцикл не поедет, пока не починят электрическую часть, и тогда ставит следующий формальный вопрос: “Решить задачу: в чем неисправность электрической системы?”

Он снова выдвигает гипотезы по этой теме и испытывает их. Ставя правильные вопросы, подбирая нужные эксперименты и делая верные выводы, механик проходит вниз по эшелонам иерархии мотоцикла до тех

пор, пока не найдёт точную конкретную причину или причины неисправности мотора и изменит их так, чтобы неполадки больше не было.

Нетренированный наблюдатель увидит только физический труд и нередко у него создаётся впечатление, что основа деятельности механика состоит в механическом труде. На самом же деле физический труд — это самая малая и простая часть того, чем занимается механик. Намного большая часть его работы состоит в тщательном наблюдении и четком мышлении. Поэтому механики иногда кажутся молчаливыми и замкнутыми при проведении опытов. Они не любят, если вы пытаетесь заговаривать с ними, ибо сосредоточены на умственных образах, иерархиях и практически не смотрят ни на вас, ни на сам мотоцикл. Они используют эксперимент как часть программы по расширению своей иерархии знаний о неисправностях мотоцикла и сравнивают её с правильной иерархией у себя в памяти. То есть, они смотрят на подспудную форму.

Нас пытается обогнать машина с прицепом и никак не может встать в свой ряд. Я мигаю фарой, чтобы удостовериться, что водитель видит нас. Он видит, но не может попасть назад. Обочина узкая и вся в колдобинах. Если мы попадём на неё, то свалимся. Я начинаю тормозить, сигналить, мигать фарой. Боже Всемогуций! Он начинает паниковать и заходит на нашу полосу. Я держусь ровно на краю дороги. Вот он приближается! В последний момент он отстаёт и проходит мимо нас всего в нескольких дюймах.

Впереди нас катится какая-то картонная коробка, и мы долго смотрим на неё, пока не догоняем. Очевидно, свалилась с чьего-то грузовика.

Теперь я начинаю дрожать. Если бы мы были в машине, то столкнулись бы с ней, или пришлось бы скатиться в канаву.

Мы заезжаем в небольшой городок по виду так похожий на те, что бывают в Айове. Везде растёт высокая кукуруза, а воздух густо пахнет удобрениями. Мы ставим машины на стоянку и заходим в огромный старый дом с высоченными потолками. К пиву я заказываю всевозможные закуски, какие только у них есть, и у нас получился второй завтрак из арахисовых орешков, воздушной кукурузы, сухих крендельков, посыпанных солью, картофельных чипсов, сетков, какой-то вялено-копчёной рыбы с кучей мелких костей в ней, перчиков, жареной картошки, пивных орешков, мясного паштета, корки свиного сала, кунжутных крекеров с какой-то добавкой, которую мне не удаётся определить по вкусу.

Сильвия произносит: “ Мне до сих пор дурно.”

Она почему-то подумала, что картонная коробка — это наш мотоцикл, который катится и переваливается по шоссе.

За долиной небо снова ограничено скалами по обе стороны реки, но стоят они теперь гораздо теснее и гораздо ближе к нам, чем были утром. Долина сужается по мере того, как мы приближаемся к истокам реки.

Мы также подошли к начальной точке того, что обсуждается, и теперь, наконец, можно начинать разговор об отходе Федра от главного течения рационального мышления в погоне за призраком рациональности как таковой.

Есть отрывок, который он перечитывал и повторял про себя так много раз, что он сохранился целиком. Он начинается так:

В храме знаний есть много приделов... и те, кто обитают там, так же разнообразны, как и мотивы, которые привели их туда.

Многие идут в науку из радостного чувства высшей интеллектуальной силы; наука — это для них особый спорт, к которому они обращаются за живым опытом и удовлетворением амбиции; в этом же храме есть много таких, кто положил продукт своего ума на этот алтарь из чисто утилитарных соображений. Если бы появился ангел божий и изгнал людей этих двух категорий из храма, то в нём стало бы гораздо свободнее, но внутри остался бы кое-кто как из прежних, так и из нынешних времён... Если бы только что изгнанные типы были там единственными, то храма больше не было бы, как нет дерева, состоящего из одних жуков древоточцев... те же, кто угодили ангелу... какие-то все странные, необщительные, одинокие личности, они гораздо меньше походят друг на друга, чем орды отверженных.

Что привело их в храм... тут нет однозначного ответа... стремление уйти от повседневной жизни с её болезненной грубостью и безнадёжной рутинной, от пут своих собственных переменчивых желаний. Изящно закалённая натура стремится убежать от её шумного тесного окружения в науку горных вершин, где взор свободно блуждает по тихому чистому воздуху и с любовью замечает покойные контуры, построенные очевидно навечно.

Это отрывок из речи, произнесённой в 1918 году молодым немецким учёным по имени Альберт Эйнштейн.

Федр закончил первый год университетской учёбы в возрасте пятнадцати лет. Уже тогда полем его деятельности была биохимия, и он собирался специализироваться на стыке органического и неорганического

миров, который теперь известен под названием молекулярной биологии. Но он не считал это карьерой для своего собственного выдвижения. Он был ещё очень молод, и это у него было в некотором роде благородной идеалистической целью.

Состояние ума, которое даёт человеку силы выполнять такого рода работу, сходно с чувствами набожного человека или влюблённого. Повседневные усилия возникают не из преднамеренных желаний или программы, а исходят прямо из сердца.

Если бы Фейербах пошёл в науку ради амбиций или по утилитарным соображениям, то, возможно, ему бы и в голову не пришло задаваться вопросами о природе научной гипотезы целостной самой по себе. Но он стал задавать их, и ответы его не удовлетворили.

Формирование гипотез — самая таинственная из всех категорий научного метода. Никто не ведает, откуда они возникают. Человек сидит где-то, занимается своим делом, и вдруг — озарение! — он понял нечто, чего не понимал раньше. Пока гипотеза не проверена, она не является истиной. Ибо опыт — не её источник. Её источник находится где-то в другом месте.

Эйнштейн говорил:

“Наиболее подходящим для себя способом человек стремится создать себе упрощённую и понятную картину мира. Затем он пытается в некоторой степени подменить своим космосом мир опыта и таким образом преодолеть его... Он делает этот космос и его сооружение ключевым моментом своей эмоциональной жизни, чтобы таким путём обрести мир и спокойствие, которого не может найти в тесном водовороте своего личного опыта... Высшая цель... состоит в том, чтобы добраться до этих универсальных элементарных законов, по которым простой дедукцией можно построить этот космос. К этим законам нет логического пути, только интуиция на основе систематического понимания опыта поможет добраться до них...

Интуиция? Сочувствие? Станные слова для истоков научного знания.

Ученый меньшего в сравнении с Эйнштейном масштаба мог бы сказать: “Но научные знания исходят из природы. Природа поставляет гипотезы.” Эйнштейн понял, что природа этого не делает. Природа предоставляет только экспериментальные данные.

Менее крупный учёный сказал бы: “Ну тогда гипотезы выдвигает человек.” Но Эйнштейн отрицал и это. “Никто, — говорил он, — из тех, кто по настоящему занимался этим вопросом, не отрицает, что на практике исключительно мир явлений определяет теоретическую систему, несмотря

на то, что между явлениями и их теоретическими принципами нет теоретического моста.”

Прорыв у Федра случился тогда, когда в результате лабораторного опыта он заинтересовался гипотезами как таковыми. Он вновь и вновь замечал в своей лабораторной деятельности: то, что казалось самой трудной частью научной работы, придумывание гипотез, неизменно оказывалось самым лёгким. Казалось, что их подсказывает сам акт формальной записи всего точно и ясно. По мере того, как он экспериментальным путём опробовал гипотезу номер один, на ум приходил поток других гипотез, и пока он испытывал их, возникали всё новые и новые. Когда он проверял их, появлялось всё больше и больше новых, пока не стало мучительно очевидно, что по мере проверки гипотез и их исключения число их не убывает. Чем дальше он шёл, тем больше их становилось.

Вначале это показалось ему забавным. Он сочинил даже закон, в котором был юмор законов Паркинсона: “Число рациональных гипотез, которые могут объяснить любое данное явление — бесконечно”. Ему льстило то, что гипотезы у него никогда не иссякают. Даже когда его экспериментальная работа казалось заводила в совершенный тупик, он знал, что если посидеть и позаниматься ею достаточно долго, то абсолютно точно возникнет ещё одна гипотеза. Так выходило всегда. И только несколько месяцев спустя после создания этого закона он начал сомневаться в истинности юмора или его пользы.

Если это так, то закон этот весьма немаловажен в научном мышлении. Он совершенно нигилистичен. Он представляет собой катастрофическое логическое опровержение общей действенности всего научного метода!

Если цель научного метода состоит в отборе гипотез из великого их множества, и если число гипотез растёт быстрее, чем может обработать экспериментальный метод, то тогда ясно, что все гипотезы никогда не проверить. И если всех гипотез проверить нельзя, то результаты любого эксперимента неоднозначны, и весь научный метод не достигает цели об установлении доказанного знания.

Об этом Эйнштейн сказал: “Эволюция показывает, что в любой данный момент одна из всех возможных конструкций всегда может оказаться превосходящей все остальные”, на этом и остановимся. Но Федру этот ответ представлялся невероятно слабым. Его прямо потрясли слова “в любой данный момент”. Действительно ли Эйнштейн считал, что истина — функция времени? Заявлять такое — значит уничтожить самую основополагающую посылку всей науки!

Ведь вот она, вся история науки, четкая история постоянно новых и изменяющихся объяснений старых фактов. Временные границы постоянства кажутся совершенно произвольными, в них не видно никакого порядка. Некоторые научные истины существуют веками, другие же не выдерживают и года. Научная истина — не догма, пригодная для вечности, но всего лишь количественное целое, которое можно изучать как и всё остальное.

Он изучал научные истины, затем расстроился ещё больше по очевидной причине их временного состояния. Дело выглядело так, что протяжённость во времени научных истин находится в обратной зависимости от интенсивности научных усилий. Таким образом, научные истины двадцатого века имеют гораздо меньший срок жизни по сравнению с прошлым веком, ибо научная деятельность сейчас гораздо интенсивнее. Если в следующем веке научная деятельность увеличится в десять раз, то можно ожидать, что продолжительность жизни научных истин составит одну десятую от нынешней. Что больше всего сокращает срок жизни существующих теперь истин, так это объём гипотез, предлагаемых для их замены. Чем больше гипотез, тем короче срок действия истины. А причиной увеличения числа гипотез за последние десятилетия представляется ничто иное, как сам научный метод. Чем больше смотришь, тем больше видишь. Вместо отбора одной истины из множества вы увеличиваете его. И логически это значит, что вместо движения к неизменной правде посредством применения научного метода, вы практически не продвигаетесь к ней вовсе. Вы двигаетесь прочь от неё! И именно применение научного метода вызывает эти перемены!

То, что Федр наблюдал в личном плане, так это явление глубоко характерное для истории науки, которую считали под ковёр в течение многих лет. Предсказанные результаты научных исследований и фактические их результаты диаметрально противоположны, но никто, вроде бы, не обращает на это внимания. Цель научного метода состоит в выборе единственной истины из множества гипотетических истин. Вот в этом, более чем в чём-либо ином, и состоит наука. Но исторически с наукой всё происходит как раз наоборот. Посредством многократного приумножения фактов, сведений, теорий и гипотез сама наука ведёт человечество от единых абсолютных истин к их множеству, неопределённости и относительности. Основным производителем социального хаоса, неопределённости мыслей и ценностей, которые должны устраняться рациональным знанием, является никто иной, как сама наука. То, что Федр увидел в изолированном пространстве своей

собственной лабораторной работы много лет тому назад, теперь видно повсеместно в наш век техники. Научно производимая антинаучность — хаос.

Теперь можно слегка оглянуться назад и обратить внимание на важность разговора об этой личности в связи с тем, что было сказано раньше по поводу разделения классической и романтической действительности и их непримиримости. В отличие от множества романтиков, встревоженных хаотическими переменами, которые наука и техника навязывают духовности человека, Федр со своим научно тренированным классическим умом был способен сделать больше, чем просто в отчаянье ломать себе руки, бежать прочь или огульно проклинать такое положение, не предлагая никаких решений.

Как я уже говорил, в конце концов он предложил ряд решений, но проблема была настолько глубокой и настолько огромной и сложной, что никто толком не понял серьёзности того, что он решал, и поэтому не смог понять или неправильно понял то, что он сказал.

Причина нашего социального кризиса сейчас, сказал бы он, заключена в генетическом дефекте природы самого разума. И пока этот дефект не будет устранён, кризис продолжится. Нынешние приёмы рациональности не движут общество к лучшему устройству мира. Они наоборот уводят его всё дальше и дальше от него. Эти способы действовали с эпохи возрождения. И пока потребность в пище, одежде и крове преобладает, они будут действовать. Но теперь, когда для огромных масс народа эти потребности больше не подавляют всё остальное, вся структура мышления, переданная нам из античных времён, становится неадекватной. Она начинает выглядеть такой, какая есть на самом деле: эмоционально мелкая, эстетически бессмысленная и духовно опустошённая. Вот такова она на сегодняшний день и будет оставаться такой ещё долгое время.

Я предвижу гневный продолжительный социальный кризис, глубину которого никто толком не понимает, не говоря о том, чтобы предлагать какие-либо решения. Я вижу, что люди подобно Джону и Сильвии живут в отрыве и отчуждении от всей рациональной структуры цивилизованной жизни, ищут решения вне этой структуры, но не находят таких, которые по настоящему удовлетворяли бы их на длительный срок. Затем я представляю себе Федра и его одинокие изолированные абстракции в лаборатории, практически относящиеся к тому же кризису, но исходящие из другой точки идвигающиеся в другом направлении. Я же пытаюсь здесь свести всё это воедино. Но это так огромно, что я иногда блуждаю.

Никто из тех, с кем разговаривал Федр, кажется, не был серьёзно

озабочен этим явлением, которое сбивало его с толку. Они как бы говорили: “Нам известно, что научный подход действителен, так что зачем спрашивать о нем?”

Федр не понимал такого отношения, не знал, как ему быть с ним, а поскольку он не занимался наукой в силу личных или утилитарных причин, то становился совершенно в тупик. Это как если бы он наблюдал покойный горный пейзаж, который описывал Эйнштейн, и вдруг среди гор появилась расселина, пробел или просто ничто. И медленно, с болью, чтобы объяснить появление этой пустоты, ему пришлось признать, что горы, которые казалось были тут вечно, могут быть чем-то иным... может просто плодом его воображения. И он опять остановился.

И тогда Федре, который в пятнадцать лет закончил первый курс наук, в возрасте семнадцати лет отчислили из университета за неуспеваемость. Официальная формулировка гласила: незрелость и невнимательность.

И никто ничего тут не мог поделать, ни предотвратить этого, ни исправить. Университет не мог оставлять его у себя, не рискуя полностью утратить надлежащие стандарты.

Ошеломлённый Федр начал долгие поиски побочных действий, которые вывели его разум на более высокую орбиту, но в конечном итоге он вернулся на тот путь, которым мы следуем сейчас, к дверям самого университета. Завтра я попробую пройти этим путём.

На ночь мы останавливаемся в Лореле в виду гор. Вечерний ветерок уже прохладен. Он доносится со снежных гор. Хотя солнце скрылось за горами около часу назад, за хребтом всё ещё просматривается светлое небо.

Сильвия, Джон, Крис и я идём по длинной главной улице в сгущающихся сумерках и чувствуем присутствие гор, хоть и говорим совсем о другом. Я счастлив, что нахожусь здесь, и всё-таки мне немного грустно. Иногда сам процесс путешествия всё же лучше прибытия на место.

Я просыпаюсь в удивлении, откуда мне известно, что неподалеку горы: то ли по памяти, то ли от чего-то в воздухе. Мы находимся в прекрасной комнате старой гостиницы, отделанной деревом. Солнце сияет на темном дереве, проникая сквозь занавеску, но даже при закрытом окне я чувствую, что горы рядом. В этой комнате горный воздух. Он прохладен, влажен и почти свеж. Один глубокий вдох готовит меня к другому и следующему, и с каждым вдохом я чувствую в себе всё больше готовности вставать. Наконец я выскакиваю из постели, поднимаю занавеску и впускаю внутрь весь солнечный свет: сияющий, прохладный, яркий, пронзительный и чистый.

Усиливается желание пойти, поднять и растормошить Криса, чтобы он увидел всё это, но по доброте или, может быть, из уважения к нему я даю ему поспать немного дольше. А сам с бритвой и мылом иду в общую умывальню в конце длинного коридора, отделанного тем же самым тёмным деревом, и полы скрипят всю дорогу. В умывальне вода парит и шипит в трубах, она слишком горяча, чтобы бриться, и я разбавляю её холодной.

Через окно рядом с зеркалом я замечаю, что сзади есть крыльцо, и закончив туалет, выхожу туда постоять. Оно находится вровень с вершинами деревьев вокруг гостиницы, и они как бы воспринимают утренний воздух так же как и я. Ветки и листья шевелятся под каждым порывом ветерка, от них этого как бы ждали всё время.

Вскоре встал Крис, а Сильвия выходит из своей комнаты и говорит, что они с Джоном уже позавтракали, он ушёл куда-то погулять, а она проводит нас с Крисом на завтрак. Нам так всё здесь нравится сегодня утром, и мы, приятно беседуя, идём в ресторан завтракать вниз по залитой солнцем улице. Яйца, горячие булочки и кофе — просто дар небесный. Сильвия с Крисом разговаривают о его школьных друзьях и личных делах, а я слушаю и смотрю сквозь большое окно ресторана на вход в магазин через дорогу. Как всё здесь отличается от той одинокой ночи в Южной Дакоте! Позади этих домов простираются горы и снежные поля.

Сильвия говорит, что Джон разговаривал с кем-то из местных о другом пути в Бозмен, на юг через Йеллоустонский парк.

— На юг? — спрашиваю я. — То есть через Ред-Лодж?

— Наверно.

Мне вспоминаются снежные поля в июне месяце. — Эта дорога поднимается выше границы снегов.

— А это плохо? — спрашивает Сильвия.

— Будет холодно. — Я представляю себе мотоциклы и нас, едущих среди снегов. — Но великолепно.

Мы встречаемся с Джоном и принимаем решение. Вскоре за железнодорожным мостом мы попадаем на извилистую дорогу, вьющуюся среди полей в направлении гор. Этой дорогой Федр пользовался всё время, и повсюду возникают обрывки его воспоминаний. Высокий тёмный хребет Абсарока маячит прямо по курсу.

Мы едем вдоль какой-то речушки к её истокам. В ней течёт вода, которая возможно была снегом ещё час назад. Поток и дорога проходят по зелёным каменистым полям, забираясь с каждым поворотом всё выше. При ярком солнечном свете всё вокруг выглядит так насыщенно. Темная тень, яркий свет. Тёмноголубое небо. Солнце сияет и припекает, но когда проезжаешь в тени деревьев вдоль дороги, то внезапно становится холодно.

Мы гоняем наперегонки с небольшим синим “Порше”, сигналим обгоняем его, затем он нас обгоняет, также сигналим. Так происходит несколько раз на протяжении ряда полей с тёмными осинами и яркой зеленью травы, кое-где растёт горный кустарник. Всё это запомнится надолго.

Он хаживал этим путём, устремившись в горы, затем сворачивал с дороги на три-пять дней, возвращался за провизией и снова лез вверх. Эти горы нужны ему были почти физиологически. Череду его абстракций стала такой длинной и запутанной, что ему нужно было уединиться среди пространства и безмолвия, чтобы удержать всё в порядке. Как если бы многие часы построений могли рухнуть при малейшем отвлечении мысли или других обязанностях. Мышление его было не таким, как у других людей, даже до того, как он обезумел. Оно было на таком уровне, где всё смещается и меняется, где установленные ценности и прописные истины отсутствуют, и где для продолжения пути нет ничего кроме собственного духа. Неудача на такой ранней стадии освободила его от ощутимых обязательств думать по установленным канонам, и его мысли уже стали независимыми до такой степени, которая известна лишь немногим людям. Он чувствовал, что такие институты как разного рода школы, церкви, правительства и политические организации склонны направлять мысли по пути, не ведущему к истине, для увековечивания своих собственных функций и для контроля над людьми, выполняющими эти функции. Он стал считать свою неудачу счастливым случаем, случайным избавлением из ловушки, поставленной для него, и стал очень осторожен в отношении ловушек в виде установленных истин на всю оставшуюся жизнь. Хотя

вначале он этого не замечал и не думал таким образом. Я здесь несколько нарушаю последовательность событий. Всё это пришло гораздо позднее.

Вначале Федр устремился за побочными истинами, не фронтальными истинами науки, на которые указывала дисциплина, а за такими истинами, которые видны побочно, как бы краем глаза. В лабораторной обстановке, где вся процедура идёт кувырком, где всё получается не так, или неопределённо, или настолько искажено неожиданными результатами, что ровным счётом ничего нельзя понять, начинаешь видеть боковым зрением. Это слово он позднее использовал для описания роста знаний, которые не движутся вперёд как стрела в полёте, а расширяются в стороны, или как лучник, обнаруживший, что хоть он и попал в яблочко и получил приз, голова его покоится на подушке, и солнце заглядывает в окно. Боковое знание — это знание, которое возникло из совсем неожиданного направления, с направления, которое даже и не воспринимается как направление до тех пор, пока знание не наваливается на тебя само. Боковые истины указывают на ложность аксиом и постулатов, лежащих в основе существующей системы подхода к истине.

Внешне он как бы плыл по течению. Так оно и было в действительности. Если смотришь на боковую истину, то просто плывёшь по течению. Он не мог следовать какой-либо известной методике или процедуре для выяснения причин этого, ибо эти методы и процедуры были изначально извращены. Итак, он плыл по воле волн. Только это ему и оставалось.

С этим потоком он попал в армию, и его послали служить в Корею. У него в памяти остался фрагмент, картина стены, видимой с борта корабля, которая ярко блестела, как ворота рая за скрытой в тумане гаванью. Он, должно быть, очень дорожил этим отрывком и часто думал о нём, потому что он, хоть и никуда не вписывается, так ясен, настолько ярок, что я сам возвращался к нему много раз. Он вроде бы символизирует нечто очень важное, поворотный момент.

Его письма из Кореи в корне отличаются от того, что он писал раньше, указывая на тот же поворотный момент. Они просто бурлят эмоциями. Он исписывает страницу за страницей мелкими деталями, которые видит вокруг: базары, магазины со сдвигающимися в сторону стеклянными дверьми, шиферными крышами, дорогами, избушками под соломой, всё, что угодно. Иногда он полон необузданного энтузиазма, иногда расстроен, временами сердит, временами даже юмористичен, он был как некое существо, нашедшее выход из клетки, о наличии которой и не подозревало, и стало бесцельно блуждать по местности, жадно пожирая взором всё

вокруг.

Позднее он подружился с корейскими работниками, которые немного говорили по-английски, но хотели выучить его лучше с тем, чтобы можно было работать переводчиком. Он проводил с ними время после работы, а они взамен брали его по выходным в поход через холмы к себе домой, чтобы познакомить с друзьями и показать ему, как они живут и мыслят, показать другую культуру.

Вот он сидит у тропинки на чудесном овеваемом ветрами склоне холма над Желтым морем. Рис на террасе ниже тропы уже созрел и побурел. Друзья вместе с ним смотрят вниз на море и острова вдаль от берега. Они едят взятое с собой и разговаривают с ним и друг с другом на тему об алфавите и его отношении к действительности. Он отмечает, как удивительно, что всё во вселенной можно описать двадцатью шестью письменными знаками, с которыми они имеют дело. Его друзья кивают, улыбаются, достают из банок еду, едят и любезно не соглашаются с ним.

Его удивляют согласные кивки и отрицательный ответ, и он снова повторяет фразу. И снова согласный кивок и отрицательный ответ. На этом воспоминание обрывается, но как и в случае со стеной он много раз задумывался о нём.

И последнее сильное впечатление из этой части мира относится к каюте на военном корабле. Он возвращается домой. Отсек пуст и заброшен. Он лежит один на брезентовом гамаке, подвязанном как батут к стальной раме. Гамаки расположены в пять ярусов, ряд за рядом заполняя пустой отсек для солдат.

Отсек находится в самом носу корабля, и брезент на соседних гамаках вздымается и падает в такт волнам у него в животе. Он размышляет обо всём этом под гулкие удары волн об обшивку корабля и сознаёт, что за исключением этого нет никаких признаков того, что весь отсек тяжело вздымается в воздух и затем вновь и вновь падает вниз. Он думает, не оттого ли ему так трудно сосредоточиться на книге, которую держит перед собой, но понимает, что это не так, просто книга сложная. В ней текст по восточной философии, и такой трудной книги ему не приходилось читать. Он рад тому, что один, и в то же время ему одиноко в пустом отсеке, иначе он никогда бы не одолел её.

В книге говорится, что есть теоретический компонент существования человека, который по преимуществу западного свойства (и это соответствует лабораторному прошлому Федра) и эстетический компонент в его жизни, который чётче просматривается на востоке (что соответствует корейскому прошлому Федра), и что они по видимому никогда не сходятся.

Эти термины “теоретический” и “эстетический” соответствуют тому, что Федр позднее стал называть классическим и романтическим видами реальности и возможно, сам того не сознавая, сформировал эти термины у себя в мозгу. Разница в том, что классическая действительность по преимуществу теоретична, но обладает и своей собственной эстетикой. Романтическая реальность по преимуществу эстетична, но имеет собственную теорию. Теоретический и эстетический разрыв происходит между составляющими единого мира. Расхождение классического и романтического — это расхождение двух отдельных миров. В философской книге Ф.С.Ц. Нортропа под названием “Встреча Востока и Запада” предлагается больше познавать “недифференцированное эстетическое единство”, из которого вытекает теория.

Федр не понимал этого, но после прибытия в Сиэтл и увольнения из армии он провёл в гостиничном номере целых две недели, ел огромные вашингтонские яблоки и думал, снова ел и снова размышлял, и в результате этих размышлений и воспоминаний он вернулся в университет изучать философию. Боковой дрейф закончился. Он теперь активно устремился к чему-то.

Внезапно наваливается боковой порыв холодного ветра с густым запахом хвои, за ним ещё и ещё один, и когда мы подъезжаем к Ред-Лоджу, я весь дрожу.

В Ред-Лодже дорога почти сливается с основанием горы. Темная грозная масса маячит даже над крышами домов по обе стороны главной улицы. Мы ставим мотоциклы на стоянку и распаковываем багаж, чтобы достать тёплые вещи. Проходим мимо магазинов, где продают лыжи, к ресторану, на стенах которого висят огромные фотографии маршрута, по которому мы поедem. Всё выше и выше по одной из самых высокогорных мощёных дорог в мире. Я чувствую некоторое волнение, оно мне кажется иррациональным, и я стараюсь избавиться от этого чувства, заговорив о дороге с остальными. Возможности свалиться нет. Мотоциклу ничто не угрожает. Лишь воспоминания о местах, где бросишь камень, и тот пролетит тысячу футов прежде чем замрёт, и некоторым образом этот камень ассоциируется с мотоциклом и ездой.

Покончив с кофе, мы надеваем тёплую одежду, снова упаковываем багаж и вскоре едем по первому из колен дороги, зигзагом выходящей по склону горы.

Асфальт на дороге гораздо шире и надежнее, чем помнится. На мотоцикле везде больше места. Джон и Сильвия впереди делают поворот и, улыбаясь, едут уже навстречу нам ярусом выше. Вскоре мы подъезжаем к

этому повороту и снова видим их спину. Новый поворот, и мы снова со смехом встречаемся. Когда думаешь об этом заранее, то кажется трудно, а на деле всё так просто.

Я уже толковал о боковом дрейфе Федра, который закончился его подходом к дисциплине философии. Он видел философию как высший эшелон всей иерархии знания. В среде философов это мнение настолько широко распространено, что считается почти банальностью, а для него это было откровением. Он обнаружил, что наука, которую он считал почти всем миром знаний, оказалась лишь одной из ветвей философии, которая гораздо шире и намного обобщёнее. Вопросы, которые он ставил о бесконечных гипотезах, науку не интересовали потому, что не были научными проблемами. Наука не может изучать какой-либо научный метод, не увязнув в клубке проблем, который разрушает действенность ответов. Вопросы, которые он ставил, были на более высоком уровне, чем их рассматривает наука. Итак, в философии Федр нашёл естественное продолжение вопроса, который изначально привёл его в науку. Что всё это значит? В чём цель всего этого?

На одном из поворотов мы останавливаемся, делаем несколько снимков на память и по узенькой тропинке поднимаемся на вершину утёса. Отсюда мотоцикл на дороге под нами едва различим. От холода мы застёгиваемся поплотней и продолжаем путь вверх.

Лиственных деревьев уже больше нет. Остались лишь небольшие сосенки. Стволы многих из них искривлены и изогнуты.

Вскоре и эти сосны исчезают, и мы уже в альпийских лугах. Нигде больше нет ни деревца, кругом одна трава, испещрённая алыми, голубыми и белыми пятнышками яркого цвета. Везде одни дикие травы! Здесь могут жить только травы, мхи и лишайники. Мы добрались до высоты, где деревьев больше нет.

Я оглядываюсь, чтобы в последний раз взглянуть на ущелье. Ощущение такое, что смотришь на дно океана. А ведь люди живут всю жизнь там внизу и не подозревают, что существует такая удивительная страна, высокогорье.

Дорога сворачивает в сторону от ущелья, и мы попадаем на снежные поля.

Мотор начинает отчаянно чихать от нехватки кислорода, грозит заглохнуть, но этого не происходит. Вскоре мы оказываемся среди сугробов старого снега, какой бывает ранней весной после оттепели. Ручейки повсюду стекают в мшистую грязь, затем чуть ниже в свежую траву и дальше в поросль диких цветов, крохотных алых, голубых, желтых и

белых, которые, кажется, так и брызжут в лучах солнца среди темных теней. И всё кругом вот такое! Лучики разноцветного света летят ко мне с темнозелёного и черного сурового фона. Небо теперь темное и холодное. Кроме тех мест, куда попадает солнце. На солнечной стороне рука, нога и куртка нагрелись, а с другой стороны в глубокой тени, очень холодно.

Снежные поля потяжелели, и снег круто вздымается там, где проходили снегоочистители. Стенки становятся высотой в четыре, шесть и затем двенадцать футов. Мы едем между двумя стенами, чуть ли не по туннелю из снега. Затем туннель раскрывается, снова видно черное небо, и когда мы выезжаем на простор, то оказываемся уже на вершине.

Дальше уже совсем другая страна. Горные озёра, сосны и снежные поля остались внизу. Выше и дальше, насколько хватает взгляд, теснятся только горные хребты, покрытые снегом. Это высокогорье.

Мы останавливаемся на повороте, где несколько туристов фотографируют виды вокруг и друг друга, оглядывают окрестности. Джон достаёт свой фотоаппарат из поклажи. Я же достаю набор инструментов, раскладываю его на сиденье, беру отвертку, завожу мотор и начинаю регулировать карбюратор до тех пор, пока от захлёбывающегося кашля он не переходит к лёгкому чиханию. Я просто удивляюсь, как он всю дорогу вверх задышался, давал сбои и готов был вот-вот остановиться, но всё-таки выдержал. Я же не регулировал его просто из любопытства, чтобы посмотреть, как он поведёт себя на высоте одиннадцати тысяч футов. Я делаю смесь немного побогаче, поскольку теперь мы будем спускаться к Йеллоустонскому парку, и если смесь не будет слегка переобогащённой сейчас, то она станет слишком бедной позднее, что опасно, ибо мотор может перегреться.

Двигатель по-прежнему чихает по пути с вершины, но тянет хорошо на второй скорости, затем по мере спуска звук становится глуше. Возвращаются леса. Мы теперь едем среди скал, озёр и деревьев, следуя причудливым изгибам и поворотам дороги.

Теперь мне хочется поговорить о высокогорье другого рода, о горных вершинах мысли, которые в некотором роде, по крайней мере для меня, следуют параллельно или же вызывают сходные чувства, я называю его высокогорьем духа.

Если всё человеческое знание, всё что нам известно, считать громадной иерархической структурой, тогда высокогорье духа находится на самой вершине этой структуры в самом общем, в наиболее абстрактном его выражении.

Здесь путешествуют очень немногие. Бродить здесь не приносит

настоящей выгоды, и всё же как и в материальном мире вокруг нас, здесь есть некая особая суровая красота, которая привлекательна кое-кому несмотря на трудности пути.

На высокогорье духа следует приспособиться к разреженному воздуху неуверенности, к огромным масштабам постановки вопросов, к ответам на такие вопросы. Подъём продолжается всё выше и выше и, очевидно, гораздо выше, чем в состоянии охватить разум, так что даже становится страшно приближаться к ним, ибо можно запутаться и не найти оттуда выхода.

В чём же тогда истина, и как узнать её, когда достигнешь?... Как мы вообще познаём что-либо? Есть ли такое “я”, “душа”, которым это известно, или же душа просто представляет собой клетки, координирующие чувства?... Изменяется ли действительность по существу, или же она постоянна и неизменна?... Когда говорят, что нечто означает что-то, то что имеется под этим в виду?

Много путей проделано на этом высокогорье, многие из них уже забыты испокон веков, и хотя ответы, вынесенные с этих троп, казались постоянными и универсальными, но менялись цивилизации, менялись и выбранные ими пути, и теперь у нас много ответов на один и тот же вопрос, и каждый из них можно считать верным в своём собственном контексте. Даже в пределах одной цивилизации старые тропы постоянно зарастают и открываются новые.

Иногда утверждают, что настоящего прогресса не бывает, что цивилизация, уничтожающая множество людей в коллективной войне, которая загрязняет землю и океаны всё большим количеством отходов, которая уничтожает достоинство людей, обрекая их на принудительное механическое существование вряд ли может называться передовой в сравнении с примитивной охотой, собирательством и земледельческим существованием доисторических времён. Но этот аргумент, хоть в романтическом плане и привлекателен, не выдерживает критики. Примитивные племена допускали гораздо меньшую свободу личности чем в современном обществе. Древние войны велись с гораздо меньшим моральным обоснованием, чем современные. Техника, порождающая хлам, может найти и уже находит пути избавления от него без экологического ущерба. А картинки первобытного человека в школьных учебниках иногда упускают из вида некоторые изъяны той примитивной жизни: боль, болезни, голод, тяжкий труд, нужный лишь для того, чтобы выжить. Из агонии простого выживания к современной жизни — это можно трезво оценить как путь вперёд, и единственным деятелем этого прогресса явно

является сам разум.

Можно отметить, формальные и неформальные процессы гипотез, экспериментов, выводов, из века в век повторяясь в новом материале, выстроили такие иерархии мысли, которые уничтожили большинство врагов первобытного человека. В некоторой степени романтическое осуждение рациональности проистекает из исключительной эффективности рациональности в выводе человека из первобытного состояния. Это настолько мощный, доминирующий над всем аргумент цивилизованного человека, что он заслонил собой всё, даже самого человека. В этом источник неудовлетворенности.

Федр бродил по этому высокогорью, вначале бесцельно, следуя каждой дорожке и тропе, где кто-либо побывал до него, и иногда ему казалось, что он добился какого-то прогресса, но он не видел впереди никакого намёка на то, куда двигаться дальше.

По горным проблемам действительности и знания проходили великие деятели цивилизации, некоторые из них, такие как Сократ и Аристотель, Ньютон и Эйнштейн известны почти всякому, но большинство из них всё-таки оставалось в тени. Его просто очаровали и их мысли, и сам способ мышления. Он прилежно следовал за ними по этим тропам до тех пор, пока те не становились холодными, и тогда он бросал их. Его работа едва проходила по академическим стандартам того времени, но это было не потому, что он не работал или не думал. Он думал слишком напряженно, а в этой горной стране мыслей чем больше думаешь, тем медленней продвигаешься. Федр читал по научному, а не по литературному, каждое предложение он обдумывал, помечая сомнения и вопросы, которые надо будет решить позже, и мне повезло в том, что у меня теперь есть целый чемодан с томами его заметок.

Удивительно, в них содержится почти всё сказанное им годы спустя. Просто больно видеть, что он совсем не сознавал в то время значения того, что говорил. Это как бы видеть как кто-то перебирает кусочки разрезной картинки, решение которой тебе известно, и хочется сказать: “Глянь, вот это подходит сюда, а вот это сюда”, но говорить этого нельзя. Итак, он слепо блуждает с одной тропы на другую, подбирая кусочек за кусочком, и не знает, что ему с ними делать, а ты сжимаешь зубы, когда он попадает на ложный след и облегчённо вздыхаешь, когда он возвращается, даже если он сам при этом упал духом. Хочется сказать ему: “Не волнуйся, иди дальше!”

Как учащийся он настолько плох, что сдаёт экзамены должно быть лишь по милости преподавателей. К любому философу, которого он изучает, он относится с предубеждением. Он всё время вмешивается и

навязывает свои собственные взгляды по любому изучаемому материалу. Он не бывает беспристрастным. Ему хочется, чтобы каждый философ шёл определённым путём, и просто приходит в ярость, если это не так.

Сохранилось воспоминание, как он сидит в комнате в три или четыре часа утра со знаменитой “Критикой чистого разума” Иммануила Канта, изучая её так, как шахматист исследует дебюты турнирных мастеров, пытаясь испытать линию развития вопреки своему собственному суждению и мастерству, изыскивая противоречия и несоответствия.

Если сравнить Федра с американцами двадцатого века со Среднего запада, которые окружали его, то он кажется весьма странным человеком, но когда видишь его за изучением Канта, то он не так уж и странен. Он испытывает уважение к этому немецкому философу восемнадцатого века не из-за согласия с ним, а из признания чудовищного логического укрепления Кантом своей позиции. Кант всегда исключительно методичен, последователен, точен и щепетилен при прохождении громадной снежной горы мыслей в плане того, что находится в разуме и что за его пределами. Для современных альпинистов это самый высокий из пиков, и я теперь хочу увеличить изображение Канта и показать, как он мыслил, и что думал о нём Федр с тем, чтобы дать более чёткое представление об этом высокогорье ума и чтобы подготовить почву к пониманию мыслей Федра.

Разрешение всей проблемы классического и романтического понимания впервые произошло у Федра в этом высокогорье разума, и если не понять взаимоотношений этой страны и остального бытия, то значение и важность низших уровней того, что он говорил, будет неправильно понято или недооценено.

Если следовать Канту надо также кое-что понять у шотландского философа Дэвида Юма. Юм вначале признавал, что если строго следовать правилам логической индукции и дедукции из опыта и пытаться выявить истинную природу мира, то обязательно придёшь к определённым выводам. Его рассуждения шли в направлении, вытекающем из ответов на такой вопрос: Допустим ребёнок родился лишённым всяких чувств, ни зрения, ни слуха, ни осязания, ни обоняния, ни вкуса — ничего. Тогда у него нет никаких средств воспринимать внешний мир. И допустим, что этого ребёнка кормят внутривенно, ухаживают за ним и поддерживают в нём жизнь в течение восемнадцати лет в таком состоянии. Тогда встанет вопрос: Есть ли у этого восемнадцатилетнего человека хоть одна мысль в голове? Если так, то откуда она взялась? Как она туда попала?

Юм ответил бы, что у этого восемнадцатилетнего существа нет никаких мыслей, и давая такой ответ, он предстал бы эмпириком, человеком,

считающим, что все знания приобретаются исключительно через органы чувств. Научный метод эксперимента тщательно контролировал эмпиризм. Здравый смысл сейчас — это эмпиризм, ибо подавляющее большинство согласно с Юмом, даже если в других культурах и в другие времена большинство стало бы возражать против этого.

Если исходить из эмпиризма, то первая его проблема касается природы “сущности”. Если все наши знания происходят из чувственных данных, то что же в самом деле представляет собой эта сущность, которая сама, предполагается, выдаёт эти чувственные данные? Если попытаться представить себе эту сущность в отрыве от того, что чувствуешь, то получается, что думаешь себе ни о чём вообще.

Поскольку все знания возникают из чувственных ощущений и поскольку нет чувственного восприятия самой сущности, то логически следует вывод, что знания сущности не существует. Это нечто такое, что мы себе воображаем. Оно полностью заключено в нашем разуме. Идея, что существует нечто такое, что создает те свойства, которые мы ощущаем — это просто ещё одно из общепринятых понятий подобных широко распространённому у детей ощущению, что земля плоская и что параллельные линии никогда не сходятся.

Во-вторых, если исходить из посылки, что наши знания происходят из чувств, то следует спросить: из каких чувственных данных мы получаем знания о причинности? Другими словами, какова научная эмпирическая основа самой причинности?

Ответ Юма: “Никакой.” В наших ощущениях нет никаких свидетельств причинности. Как и в случае с сущностью, это нечто такое, что мы себе воображаем, когда одно явление неоднократно следует за другим. В наблюдаемом нами мире нет её действительного наличия. Если согласиться с посылкой, что все знания поступают к нам через чувства, то Юм утверждает, следует логически признать, что и “Природа” и “Законы природы” есть продукт нашего воображения.

Идею о том, что весь мир находится в пределах разума человека, можно было бы отбросить как абсурдную, если бы Юм подбросил бы её нам как таковую. Но он сумел сделать её непроницаемой.

Нужно было отбросить выводы Юма, но к сожалению, он подошёл к ним таким образом, что казалось невозможно отделаться от них, не отказавшись от самого эмпирического разума и не вернувшись к некоему средневековому предшественнику эмпирического разумения. Этого Кант не стал делать. Он заявил: “Именно Юм пробудил меня из моей догматической дремоты”. И побудил его написать то, что теперь считается

одним из величайших философских трудов: “Критика чистого разума”, что нередко является предметом целого университетского курса.

Кант стремится спасти научный эмпиризм от последствий своей самопожирающей логики. Вначале он идёт по пути, который до него проложил Юм. “Не может быть сомнения, что все наши знания начинаются с опыта”, - говорит он, но вскоре отходит от этого пути, отрицая то, что все составные части знания происходят из чувств в момент получения чувственных данных. “Но хоть всякое знание начинается с опыта, отсюда не следует, что оно происходит из опыта.”

Вначале кажется, что он просто ловит блох, но это не так. В результате такой разницы Кант обходит ту пропасть солипсизма, к которой ведёт тропа Юма, и следует по совершенно другому, новому, собственному пути.

Кант говорит, что есть аспекты действительности, которые не происходят непосредственно от чувств. Их он называет априорными.

Примером априорного знания является “время”. Время ведь не видишь. Его нельзя услышать, понюхать, попробовать на вкус или пощупать. Оно не присутствует в чувственных данных по мере их поступления. Время — это то, что Кант называет “интуицией”, которую должен поставлять разум по мере получения чувственных данных.

То же относится и к пространству. Если не прилагать понятия пространства и времени к получаемым нами впечатлениям, то мир становится невразумительным, калейдоскопическим скоплением цветов и образов, шумов и запахов, боли и вкуса без какого-либо смысла. Мы ощущаем предметы определённым образом потому, что априори прилагаем такую интуицию, как пространство и время, но не создаём эти объекты в нашем воображении, как это считали бы чистые философы идеалисты. Формы пространства и времени прилагаются к данным по мере того, как их получают от объекта, производящего их. Априорные понятия коренятся в природе человека, так что они не вызваны ощущаемым объектом и не порождают его, а предоставляют некую экранную функцию для воспринимаемых нами чувственных данных. Когда, к примеру, моргнёшь, то наши чувственные данные сообщают нам, что мир исчез. Но это восприятие экранируется и не попадает в наше сознание потому, что мы априори знаем, что мир продолжает существовать. То, что мы считаем действительностью, представляет собой непрерывный синтез элементов из фиксированной иерархии априорных понятий и постоянно меняющихся данных от органов чувств.

Теперь остановимся и применим некоторые из концепций, которые выдвинул Кант, к этой странной машине, к этому творению, которое несёт

нас сквозь время и пространство. Рассмотрим наши взаимоотношения так, как их нам раскрывает Кант.

В частности, Юм утверждает, что всё, что мне известно о мотоцикле, поступило ко мне через органы чувств. Так оно и должно быть. Другого пути нет. Если сказать, что он изготовлен из металла и других веществ, то он спрашивает: “А что такое металл?” Если ответить, что металл твёрд, блестит и холоден на ощупь, что он деформируется не ломаясь при ударах о более твердые материалы, то Юм отвечает, что всё это образы, звуки и осязание. Нет сущности. Скажи мне, что представляет собой металл помимо этих ощущений. Тогда, конечно, я становлюсь в тупик.

Но если нет сущности, что можно сказать о чувственных данных, которые мы получаем? Если повернуть голову влево и посмотреть на рукоятки, переднее колесо, подставку для карты и бензобак, то я получу один набор чувственных данных. Если повернуть голову вправо, то получится несколько иной набор данных. Оба набора различны. Отличаются углы плоскостей и изгибов металла. Солнечный свет падает на них по разному. Если нет логической основы для существа, то тогда нет и логических оснований для вывода о том, что в основе обоих взглядов находится один и тот же мотоцикл.

Теперь мы оказались в настоящем интеллектуальном тупике. Наше разумение, которое должно бы делать вещи более понятными, делает их менее понятными, и когда разум таким образом разрушает свою собственную цель, надо что-то менять в самой структуре разумения.

На выручку нам приходит Кант. Он утверждает, что несмотря на факт, что невозможно непосредственно прочувствовать “мотоцикл” в отличие от цветов и форм, которые он производит, нет никаких доказательств того, что мотоцикла нет. У нас в сознании априори есть мотоцикл, который имеет преемственность в пространстве и времени и способен изменять видимость по мере того, как поворачиваешь голову, и поэтому не противоречит чувственным данным, что мы получаем.

Мотоцикл Юма, тот, который не имеет вообще никакого смысла, вдруг возникнет, если наш предыдущий гипотетический лежащий пациент, у которого нет никаких чувств, вдруг на секунду получит чувственные данные о мотоцикле, а затем лишится снова всех чувств. Теперь, полагаю, у него в сознании будет мотоцикл Юма без каких-либо признаков таких понятий как причинность.

Но по Канту, мы ведь не такой человек. У нас в сознании априори имеется вполне реальный мотоцикл, в существовании которого у нас нет никаких оснований сомневаться, действительность которого можно

подтвердить в любое время.

Этот априорный мотоцикл создавался у нас в уме в течение многих лет из огромного количества чувственных данных, и представление о нём постоянно меняется по мере поступления новых данных. Некоторые из изменений в этом конкретном априорном мотоцикле весьма скоротечны, как например его взаимодействие с дорогой. Я за ними постоянно слежу и подправляю их по мере следования изгибам и поворотам дороги. По мере того, как информация утрачивает актуальность, её забываешь, ибо возникает новая, за которой надо следить. Другие перемены в этом априори происходят медленнее: исчезновение бензина из бензобака. Стирание резины на шинах. Ослабление болтов и гаек. Изменение зазора между тормозными колодками и барабаном. Другие аспекты перемен в мотоцикле происходят так медленно, что кажутся постоянными — краска на металле, подшипники, тросики управления — однако и они постоянно меняются. И наконец, если принять во внимание большие промежутки времени, то даже рама и то слегка меняется и от толчков на дороге, и от тепловых нагрузок, и от внутренней усталости, присущей всем металлам.

Очень интересная машина, этот априорный мотоцикл. Если задуматься о нём достаточно долго, то увидишь, что это главное. Чувственные данные подтверждают его, но они не являются самим мотоциклом. Мотоцикл, который я априори считаю находящимся вне меня, похож на те деньги, которые, как я полагаю, находятся в банке. Если пойти в банк и попросить показать мне мои деньги, то на меня там посмотрят как-то по особенному. У них нет “моих денег” в каком-либо маленьком ящичке, который можно открыть и показать мне. “Мои деньги” — там ничто иное, как магнитные домены, сориентированные на восток-запад и север-юг в виде окиси железа, находящегося на катушке с плёнкой где-то в памяти компьютера. Но меня это устраивает, потому что я уверен, что когда мне понадобятся вещи, которые можно приобрести за деньги, то банк мне их предоставит посредством своей системы обслуживания клиентов. Таким же образом, хоть мои чувственные данные никогда не доставляли мне то, что можно назвать “сущностью”, меня устраивает то, что в чувственных данных заложена способность предоставления тех вещей, которую выполняет сущность, и что эти чувственные данные будут и впредь соответствовать априорному мотоциклу в моём уме. Ради удобства я говорю, что у меня есть деньги в банке, и так же ради удобства говорю, что мотоцикл, на котором я еду, состоит из каких-то сущностей. Основная часть “Критики чистого разума” Канта посвящена тому, каким образом приобретаются эти априорные знания и как их используют.

Кант называл этот тезис так: наши априорные мысли независимы от чувственных данных и отражают на экране то, что мы видим как “Коперникову революцию”. Под этим он понимал утверждение Коперника о том, что земля вертится вокруг солнца. В результате этой революции ничего не изменилось, и все-таки изменилось всё. Или, если выразить это терминологией Канта, то объективный мир, производящий чувственные данные, не изменился, а наша априорная концепция о нём вывернулась наизнанку. Результат оказался ошеломляющим. И именно принятие коперниковой революции отличает современного человека от средневековых предшественников.

Коперник сделал вот что. Он взял существующую априорную концепцию мира, понятие о том, что земля плоская и неподвижна в пространстве, и выдвинул альтернативную априорную концепцию земли, которая сферична по форме и движется вокруг солнца. Он показал, что обе эти априорные концепции соответствуют существующим чувственным данным.

Кант чувствовал, что сделал то же самое с метафизикой. Если предположить, что априорные концепции у нас в уме независимы от того, что мы видим, и в действительности отражают видимое как на экране, то это значит, что мы берём старую Аристотелеву концепцию учёного в качестве пассивного наблюдателя, “чистой доски”, и в действительности выворачиваем эту концепцию наизнанку. Кант и миллионы его последователей считают, что в результате такой инверсии получаешь гораздо более удовлетворительное понимание того, как познаются вещи.

Я так подробно остановился на этом примере частью для того, чтобы показать это высокогорье крупным планом, частью — чтобы подготовить вас к тому, что Февр сделал позднее. Он также сделал коперникову инверсию и в результате пришёл к разделению миров классического и романтического понимания. И мне кажется, что в результате снова можно получить более удовлетворительное понимание того, что представляет собой окружающий мир.

Метафизика Канта вначале очаровала Февра, но позднее стала тормозить его, и он всё никак не мог понять почему. Он размышлял над этим и решил, что это может быть из-за его восточного опыта. Раньше у него было ощущение избавления от интеллектуальной тюрьмы, а теперь она снова оказывалась как бы тюрьмой. Эстетику Канта он читал вначале с разочарованием, затем с раздражением. Мысли о “прекрасном” были для него безобразны сами по себе, и эта уродливость была настолько глубока и всепроникающа, что он и понятия не имел, как начать наступление на неё

или как обойти её. Она казалась настолько глубоко вплетенной в ткань кантова мира, что от неё просто некуда было деться. И это была не просто уродливость восемнадцатого века или “техническая” уродливость. Все философы, которых он читал, свидетельствовали об этом. И весь университет, где он занимался, так и вонял этим безобразием. Оно было везде, в аудиториях, в учебниках. Оно было в нём самом, а он не понимал, как это или почему. Разум безобразен сам по себе, и казалось, нет отсюда выхода.

В Кук-Сити Джон и Сильвия выглядят гораздо лучше, и голоса их звучат так счастливо, как я уж не слыхал их много лет. Мы с большим аппетитом вгрызаемся в горячие бутерброды с говядиной. Я счастлив оттого, что они ликуют здесь в горах, спокойно ем и не очень вмешиваюсь в их разговор. За окном через дорогу огромные сосны смотрятся как на картине. Под ними по пути в парк проезжает множество машин. Мы уже далеко уехали вниз от границы лесов в горах. Здесь теплее, но временами набегают тучи, готовые разразиться дождём.

Думаю, если бы я был не оратором в шатокуа, а писателем, то постарался бы "разработать характеры" Джона, Сильвии и Криса, наполнил бы повествование действием, а также выявил бы "внутренний смысл" Дзэна, возможно Искусства и пожалуй даже Ухода за мотоциклом. Вот это был бы роман, но в силу каких-то причин мне что-то не очень этого хочется. Они мои друзья, а не персонажи, и Сильвия однажды сама сказала "Не люблю быть объектом!" Итак, хоть мы знаем друг о друге многое, я всё же не буду вдаваться в это. Ничего тут плохого нет, но в общем-то оно не имеет отношения к шатокуа. Так оно и должно быть у друзей. В то же время, полагаю, вы понимаете из этой шатокуа, почему я всегда осторожен с ними и отстранён от них. Время от времени они задают вопросы, суть которых сводится к тому, о чём это я, черт побери, всё время думаю. И если бы я проямлил о том, что у меня действительно на уме, к примеру, априорная посылка о преемственности мотоцикла во времени секунда за секундой, и при этом не расскажу обо всём строении шатокуа, то они лишь вздрогнут и удивятся, что это со мной такое. А меня действительно интересует эта преемственность, и то, как мы говорим и думаем об этом. Поэтому у нас не складывается обычный застольный разговор и возникает видимость отчуждённости. В этом-то и проблема.

Это проблема нашего времени. Диапазон человеческих знаний сегодня настолько велик, что мы все теперь специалисты, а расстояние между специализациями стало настолько большим, что каждый, кто хочет свободно бродить среди них, вынужден отказаться от близости окружающих его людей. Такой специализацией становится и сиюминутный разговор за обедом. Крис вроде бы понимает мою отчуждённость лучше их, возможно потому, что он больше привык к этому, и его взаимоотношения со мной таковы потому, что ему приходится больше сталкиваться с этим.

На его лице я иногда замечаю признаки озабоченности, или по крайней мере беспокойства, удивляюсь, с чего бы это, и затем обнаруживаю, что сержусь. Если бы я не видел его выражения, то может и не узнал бы о нём. В другое время он бегают и прыгает повсюду, я задаюсь вопросом, с чего бы это, и затем выясняется, что я в хорошем настроении. Теперь же я замечаю, что он слегка нервничает и отвечает на вопрос, который Джон, очевидно, адресовал мне. Он по поводу семьи, у которой мы остановимся завтра, Ди-Визов.

Я не совсем уверен, в чём состоит вопрос, но отвечаю: "Он художник. Преподаёт живопись в колледже, он абстрактный импрессионист".

Они спрашивают, как я познакомился с ним, и мне приходится несколько уклончиво ответить, что не помню. Я вообще ничего не помню о нём, кроме обрывков. Они с женой, очевидно, были друзьями друзей Федра, и таким образом они познакомились. Они интересуются, что может быть общего у писателя на инженерные темы и художника абстракциониста, и мне снова приходится говорить, что не знаю. Я перелистываю в уме обрывки, пытаюсь найти ответ, но ничего подходящего не нахожу. В личностном плане они были очень различны. Если на фотографиях Федра того периода видны отчуждённость и агрессивность, один сотрудник на факультете в шутку даже назвал его «диверсантом», то фотографии Ди-Виза того же периода дают довольно пассивное, почти безмятежное выражение, с несколько вопросительным оттенком.

У меня сохранилось воспоминание из кино об одном шпионе во время Первой мировой войны, изучавшем поведение пленного немецкого офицера (который был очень похож на него) через зеркальное окно. Он наблюдал за ним месяцами и мог затем симитировать любой его жест и нюанс речи. Затем он прикинулся сбежавшим из плена офицером, чтобы проникнуть в ряды командования немецкой армии. Помню его напряженность и волнение, когда он впервые встретился со старыми друзьями этого офицера, смогут ли они распознать в нём подставное лицо. Теперь у меня такое же ощущение в отношении Ди-Виза, который, естественно, будет полагать, что я и есть тот человек, с которым он когда-то был знаком.

На улице мотоциклы повлажнели от тумана. Я вынимаю из дорожной сумки пластмассовый щиток и креплю его к шлему. Вскоре мы въедем Йеллоустонский парк.

Дорога впереди в тумане. Он кажется облаком, спустившимся в долину, которая по существу даже и не долина, а больше похожа на горный перевал.

Не знаю, насколько хорошо Ди-Виз был знаком с ним, и какими воспоминаниями он предпочтёт делиться со мной. У меня уже было такое с другими, и обычно мне удавалось сглаживать неловкие моменты. В награду я получал новые сведения о Федре, что значительно облегчало дальнейшее перевоплощение, с годами они составили основную массу данных, которые я и представил здесь. По обрывкам воспоминаний я считаю, что Федр высоко ценил Ди-Виза, ибо он не понимал его. Если Федр чего-нибудь не понимал, то это возбуждало в нём громадный интерес, а отношение Ди-Виза к действительности было просто захватывающим. Оно было совершенно непредсказуемым. Когда Федр говорил нечто, представлявшееся ему довольно забавным, Ди-Виз либо смотрел на него озадаченно, либо принимал сказанное всерьёз. В другой раз Федр сообщал что-то вполне серьёзное и глубоко волновавшее его, а Ди-Виз заходился таким смехом, как будто бы слышал невероятно остроумную шутку.

Например, вот воспоминание об обеденном столе, пластиковое покрытие которого отстало, и Федр приклеил его. Чтобы пластик не отстал, пока клей схватывается, он обмотал стол целым мот-ком тесьмы несколько раз вокруг крышки. Ди-Виз увидел и поинтересовался, что это такое.

— Это моя последняя скульптура, — ответил Федр. Тебе не кажется, что я делаю успехи?

Вместо того, чтобы рассмеяться, Ди-Виз изумлённо посмотрел на него, долго разглядывал стол и наконец произнёс: "И где это ты научился всему этому?"

На секунду Федру показалось, что тот подыгрывает шутке, но он был совершенно серьёзен.

В другой раз Федр расстроился по поводу неуспеваемости у студентов. Они с Ди-Визом шли вместе домой под кронами деревьев, и он заговорил о них, а Ди-Виз поинтересовался, зачем это он принимает всё это так близко к сердцу.

— Я тоже думал об этом, — озадаченно ответил Федр и добавил. — Наверное потому, что каждый учитель стремится, чтобы успеха добились те ученики, которые больше всего похожи на него самого. Если у вас хороший почерк, то студента с таким почерком вы считаете более способным, чем без него. Если вы любите употреблять высокие слова, то будете больше любить тех учеников, которые пользуются ими.

— Ну да. А что же здесь такого? — спросил Ди-Виз.

— Так вот тут что-то не совсем так, — отвечал Федр, — потому что те студенты, которые больше всего мне нравятся, к которым у меня наибольшее чувство близости, просто не успевают! Ди-Виз при этом

разразился таким смехом, что Федр даже растерялся. Он предполагал, что здесь кроется какое-то научное явление, в котором могут быть ключи к новому пониманию, а Ди-Виз просто рассмеялся.

Вначале он подумал, что Ди-Виза рассмешила непреднамеренная издёвка над собой, но это совсем не вязалось, ибо Ди-Виз не любил подтрунивать над людьми. Позднее он понял, что это был в некотором роде смех правды в высшей инстанции. Самые лучшие студенты всегда проваливаются. И это известно любому хорошему учителю. Это был смех такого рода, который устраняет напряжённость, вызванную невероятными ситуациями, и Федру это было бы весьма кстати, ибо в то время он воспринимал всё слишком серьёзно.

Загадочные ответы Ди-Виза внушили Федру мысль, что у того есть доступ к огромному пространству скрытого понимания. Казалось, что Ди-Виз всё время что-то скрывает. Он скрывал нечто от него, и Федр никак не мог сообразить, что же это такое. Затем возникает сильное впечатление в тот день, когда он обнаружил, что у Ди-Виза вроде бы такое же тревожное чувство по отношению к нему.

У Ди-Виза в студии не работал выключатель, и тот попросил Федра посмотреть, в чём там дело. На лице у него играла несколько смущённая, несколько озабоченная улыбка, улыбка, с которой меценат разговаривает с художником. Меценат смущён тем, как мало он понимает в деле и улыбается в надежде познать больше. В отличие от Сазэрлэндов, которые просто ненавидят технику, Ди-Виз настолько далёк от неё, что даже не чувствует какой-либо исходящей от неё угрозы. Фактически Ди-Виз был поклонником техники, меценатом её. Он не понимал её, но чувствовал, что она ему нравится, и ему всегда хотелось узнавать о ней больше.

У него сложилось впечатление, что дело в проводе рядом с лампочкой, ибо как только тронешь выключатель, свет сразу же гаснет. Если бы дело было в выключателе, полагал он, то про-ходило бы некоторое время, прежде чем неисправность проявлялась в лампочке. Федр не стал спорить, пошёл в хозяйственный магазин через дорогу, купил выключатель и через несколько минут установил его. Он, естественно, сразу же сработал, что привело Ди-Виза в растерянность и отчаяние. — И откуда ты это узнал, что неисправность в выключателе? — воскликнул он.

— Потому что, когда я шевелил выключатель, он то работал, то нет.

— Ну а разве причина не могла быть в проводе?

— Нет.

Самоуверенность Федра рассердило Ди-Виза, и он стал спорить. — И откуда ты только всё это знаешь?

- Это же очевидно.
- Ну так почему же тогда я этого не знал?
- Надо всё-таки немного разбираться в этом.
- Тогда это не так уж и очевидно, а?

Ди-Виз всегда спорил в такой странной плоскости, что ответить ему было просто невозможно. Вот в таком плане у Федра и возникло подозрение, что Ди-Виз что-то скрывает от него. И только в самом конце пребывания в Бозмене ему показалось, что он понял своим собственным аналитическим и методическим путём, в чём же состоит эта перспектива.

На въезде в парк мы останавливаемся, чтобы заплатить чело-веку в шляпе как у мишки «Смоуки». Он даёт нам пропуск сроком на один день. Впереди я вижу, как пожилой турист снимает нас кинокамерой и улыбается. Из под коротких шортов у него торчат белые ноги, одетые в обычные носки и ботинки. У его жены, которая одобрительно смотрит на всё это, такие же ноги. Проезжая мимо, я машу им рукой, и они машут нам вслед. Этот миг сохранится на плёнке долгие годы.

Федр, сам толком не зная почему, презирал этот парк, может потому, что не он открыл его, а возможно и нет. Тут нечто иное. Его раздражало экскурсионное отношение служителей. Ещё больше ему не нравилось отношение посетителей, которые вели себя как в зоопарке Бронкса. Как это всё контрастирует с горами вокруг! Всё здесь казалось громадным музеем, где экспонаты тщательно наманикюрены, чтобы создать впечатление реальности, но в то же время всё тщательно огорожено цепями, чтобы его не испортили дети. Люди въезжают в парк и становятся вежливыми, внимательными и приторно любезными, потому что сама атмосфера парка способствует этому. За всё то время, что он прожил не более как в ста милях отсюда, он побывал здесь только раз или два.

Но тут я сбиваюсь с последовательности. Не хватает периода примерно в десять лет. Ведь он не просто прыгнул от Иммануила Канта в Бозмен, штат Монтана. В течение этих десяти лет он долгое время жил в Индии, изучая восточную философию в Индусском университете в Бенаресе.

Насколько мне известно, он не изыскивал там никаких оккультных секретов. Помимо откровений, ничего особенного там не произошло. Он слушал философов, навещал религиозных деятелей, погружался в мысли и раздумывал, вновь погружался и снова мысл-лил, вот, примерно, и всё. Из его писем видно огромное смятение от тех противоречий и несообразностей, расхождений и исключений по любому из правил, которые он формировал по мере наблюдения за явлениями. Он приехал в

Индию учёным эмпириком и уехал оттуда учёным эмпириком, но стал не намного мудрее. Однако он повидал и познал многое, приобрёл некое остаточное видение, которое позднее возникало совместно со многими другими остаточными образами.

Некоторые из этих остаточных явлений следует обобщить, ибо они сыграют важную роль позднее. Ему стало ясно, что доктринальные различия между индуизмом, буддизмом и таоизмом не так уж важны в сравнении с доктринальными различиями между христианством, исламом и иудаизмом. Из-за них не ведутся священные войны, ибо выраженные словами утверждения о действительности вовсе не считаются самой действительностью. Во всех восточных религиях большую роль играет санскритская доктрина *Tat tvam asi*, "Ты еси это", утверждающая, что всё, что ты думаешь о себе, и всё, что ты считаешь воспринимаемым тобой, неделимо. Если сумеешь полностью осознать отсутствие такого различия, то станешь просвещённым. Логика предполагает разделение субъекта и объекта, поэтому логика не является окончательной мудростью. Иллюзия разделения субъекта и объекта лучше всего устраняется исключением физической, умственной и эмоциональной деятельности. При этом есть множество дисциплин. Одной из наиболее важных является санскритская *dhyana*, которую по-китайски называют «Chan», а по-японски произносят «дзэн». Федр не стал заниматься медитацией, так как не видел в ней смысла. За всё время пребывания в Индии «смысл» всегда имел для него логическую последовательность, и он никак не мог найти честного пути, чтобы отказаться от этой веры. И это, мне кажется, следует поставить ему в заслугу. Но однажды в аудитории один профессор философии чуть ли не в сотый раз так яростно стал воспевать иллюзорность природы мира, что Федр не удержался, поднял руку и холодно спросил, считаются ли атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, иллюзорными. Профессор с улыбкой ответил да. На этом об-мен мнениями закончился.

В традиционных рамках индийской философии такой ответ мог бы считаться верным, но для Федра и любого, кто регулярно читает газеты, и кому небезразличны такие вещи, как массовое уничтожение людей, этот ответ оказался совершенно неадекватным. Он ушёл из аудитории, покинул Индию и бросил это дело. Он вернулся к себе на Средний запад, сдал практические экзамены на журналиста, женился, жил в Неваде и Мексике, выполнял разную работу, был журналистом, научным писателем и писателем по промышленной рекламе. Стал отцом двух детей, купил ферму, верховую лошадь, две машины и, будучи уже в зрелых годах, стал обрывать жирком. Он отказался от намерения добраться до того, что

называлось призраком разума. Это чрезвычайно важно понять. Он отказался от этого. Поскольку он бросил это, жизнь с виду у него была у него вполне нормальной. Он достаточно усердно работал, был непринужден в обращении и, за исключением случайного взгляда на внутреннюю пустоту в рассказах, которые он писал в то время, дни его проходили вполне обычно.

Что побудило его двинуться в эти горы, не совсем понятно. Жене его об этом вроде бы неизвестно, а я догадываюсь, что им двигало внутреннее чувство неудачи и надежда, что он вновь сможет попасть на ту колею. Он стал гораздо более зрелым, как если бы отказавшись от своих внутренних целей он стал быстрее стареть.

Мы выезжаем из парка в Гардинере, где кажется бывает не очень-то много дождей, потому как на склонах гор в сумерках видны только травы и вереск. Решаем сделать здесь остановку на ночь.

Город расположен на высоких берегах по обе стороны моста над рекой, которая катит свои воды по гладким и чистым валу-нам. За мостом уже включили свет у гостиницы, где мы останавливаемся, но даже при искусственном свете, струящимся из окон, я замечаю, что вокруг каждого домика аккуратно высажены цветы, так что ступаю осторожно, чтобы не помять их. Я также обращаю внимание на какие-то вещи в домике и указываю на них Крису. Окна с двойными створками сдвигаются вниз. Двери закрываются плотно безо всякого скрипа. Все декоративные накладные аккуратно подогнаны. Ничего художественного в этом нет, все сработано добротнo, и что-то подсказывает мне, что всё это сделал один и тот человек.

Когда мы возвращаемся из ресторана в мотель, то видим по-жилую пару, сидящую в садике у конторы и наслаждающуюся вечерней прохладой. Мужчина подтверждает, что он сам сделал все эти домики и настолько доволен оказанным вниманием, что его жена, увидев это, приглашает нас подсаживаться к ним. Мы не спеша беседуем. Здесь самый старый въезд в парк. Им пользовались ещё до того, как появились автомобили. Они говорят о переменах, которые произошли здесь за многие годы, и мы по новому видим всё вокруг нас; всё это складывается в прекрасную картину: город, эта супружеская пара и годы, которые прошли здесь. Сильвия кладёт руку на локоть Джона. Я слышу шум реки, бурлящей на валунах внизу, и чувствую свежесть ночного ветерка. Женщина, которой известны все ароматы, говорит, что это плющ, мы все некоторое время сидим молча, и меня приятно клонит в дрему. Когда мы решаем идти на покой, Крис уже почти совсем спит.

Джон и Сильвия в таком же настроении, как и вчера, с удовольствием едят за завтраком оладьи с кофе, а мне что-то не очень хочется есть.

Сегодня мы должны приехать в школу, туда, где произошло огромное нагромождение событий, и я уже чувствую напряженность.

Помнится, я однажды читал об археологических раскопках на Ближнем востоке и узнал о чувствах археолога, когда тот впервые за тысячи лет раскрыл забытые гробницы. Теперь я сам испытываю такие же чувства как тот археолог. Вереск, растущий по каньону в направлении Ливингстона похож на вереск на всём пути отсюда до самой Мексики. Сегодня утренний свет почти такой же как вчера, только не-много потеплее и помягче, потому что мы опять спустились ниже. Нет ничего необычного.

Только всё то же археологическое ощущение, что за спокойствием окружающего мира что-то скрывается. Заколдованное место. Мне совсем не хочется ехать туда. Лучше уж развернуться и ехать назад.

Наверное это всё просто нервный стресс. Это так созвучно воспоминаниям, когда по утрам напряженность была настолько сильной, что ему хотелось бросить всё и не ходить на первый урок. Ему совершенно не хотелось появляться в аудитории перед студентами и разговаривать. Это было полным нарушением его одинокого, изолированного образа жизни, и он испытывал нечто вроде боязни человека на сцене, но только это не проявлялось в таком виде, а в огромной напряжённости во всём, что бы он не делал. Студенты говорили его жене, что в воздухе просто чувствовалось электричество. Как только он входил в аудиторию, все взоры обращались к нему и провожали его до места. Разговоры утихали, и все продолжали переговариваться шёпотом до начала занятий, даже если на это уходило несколько минут. В течение всего урока никто не спускал с него глаз.

О нём стали много говорить как о сложном человеке. Большинство студентов чурались его занятий как черной смерти. О нём так много всего рассказывали.

Ту школу можно было только эвфемистически назвать “учебным заведением”. В учебном заведении преподаёшь, преподаёшь и преподаешь, нет времени на исследования, на размышления, на участие во внеклассной работе. Просто учишь, учишь и учишь, пока мозг не отупеет, не пропадёт творческий запал, и ты превращаешься в машину, повторяющую одни те же скучные вещи снова и снова бесконечным волнам ни в чём неповинных

студентов, которым совсем непонятно, отчего ты так скучен. Они теряют уважение к тебе и распространяют такое мнение о тебе в обществе. Причина того, что учишь, учишь и учишь, состоит в том, что это очень удобный и простой способ работы в колледже, при этом складывается впечатление, что даётся настоящее образование. Несмотря на всё это он называл ту школу именем, которое казалось бессмысленным и даже в некотором плане смехотворным с учётом её истинного характера. Но это название играло для него важную роль, он не отказывался от него, и даже после его ухода оно сохранилось кое у кого в памяти. Он называл её “Храмом разума”, многое из того, что озадачивало людей в нём, могло бы проясниться, если бы они только уяснили, что он вкладывал в это понятие.

В то время в штате Монтана бушевала волна ультраправого политиканства, схожая с той, что произошла в Далласе, штат Техас, незадолго до убийства президента Кеннеди. Известному на всю страну профессору из Монтанского университета в Мизуле за-претили выступать в студгородке на том основании, что это “приведёт к волнениям”. Преподавателям объявили, что все публичные выступления следует согласовывать в первом отделе. Были нарушены академические стандарты. Ещё раньше был принят законодательный акт, разрешающий поступать в школу любому в возрасте свыше двадцати одного года независимо от наличия документа о среднем образовании. Теперь же был принят акт о наложении штрафа на школу в размере восьми тысяч долларов за каждого неуспевающего студента, что было практически приказом отказаться от неуспеваемости.

Вновь избранный губернатор пытался уволить президента колледжа как по личным, так и по политическим причинам. Президент колледжа был не только его личный враг, но к тому же и демократ, а сам губернатор был не последним из республиканцев. Руководитель его избирательной кампании был также координатором штата от общества Джона Бэрча. Это был тот самый губернатор, который составил список из пятидесяти подрывных элементов, о котором мы слышали несколько дней назад. Теперь, в ходе этой травли, колледжу урезали фонды. Президент колледжа большую часть этого сокращения перенёс на факультет английского языка, где работал Федр, сотрудники которого весьма активно действовали в плане борьбы за академические свободы.

Федр отказался ходить на работу, писал письма в Северо-западную региональную ассоциацию по аккредитации с тем, чтобы предотвратить такие нарушения положений по аккредитации. Кроме этих писем он также публично требовал расследования всего положения дел в школе.

В это время несколько студентов в его группах с вызовом спросили Федра, означают ли его попытки прекратить такого рода набор в школу один из способов лишить их возможности получить образование.

Федр ответил отрицательно.

Тогда один студент, очевидно сторонник губернатора, сердито заявил, что законодательное собрание не позволит школе изменить порядок приёма.

Федр спросил как.

Студент ответил, что для этого привлекут полицию. Федр поразмыслил над этим и тогда понял, насколько глубоко студенты заблуждаются по поводу всей системы аккредитации. В тот вечер при подготовке к лекции на следующий день он написал речь в защиту того, что делает. Это была лекция о Храме разума, которая в отличие от его сумбурных конспектов к лекциям, была довольно длинной и тщательно проработанной. Она начинается с упоминания в газетной статье о сельской церкви, на фасаде которой красовалась электрическая реклама пива. Здание ещё раньше продали, и теперь его использовали как пивной бар. Можно себе представить, что в этом месте среди студентов раздался смех. Было хорошо известно, что в колледже нередко устраиваются пьяные вечеринки, и такое упоминание было уместно. В статье говорилось, что в церковные инстанции поступали жалобы по этому поводу. Это была католическая церковь, и священник, которому поручили ответить на критику, выступил довольно резко. Ему стало совершенно ясно, что люди толком даже не представляют себе, что же такое в самом деле церковь. Они что, думают, что кирпичи, доски, стекло и являются церковью? Или же дело в форме крыши? Здесь под видом набожности даётся самый настоящий пример материализма, против которого выступает церковь. Данное здание вовсе не является святым местом. Его лишили святости. И на этом всё. Пивная реклама находится на баре, а не на церкви, и те, кто не видят разницы, просто выявляют себя во вполне определённом свете. Федр говорил, что такое же недопонимание существует и на-счёт университета, и вот почему так трудно правильно понять утрату свободной записи на учёбу. Университет на самом деле не материальный объект. Это не просто группа зданий, которые можно защищать с помощью полиции. Он объяснял, что при утрате колледжем аккредитации никто не придёт и не закроет школу. Не будет никаких юридических санкций, штрафов, никаких приговоров к лишению свободы. Занятия продолжают. Все сохраняется как и прежде. Студенты получают такое же образование, как и в случае утраты школой права на аккредитацию. Произойдёт лишь, сообщил Федр, официальное

признание положения, которое уже сложилось. Это будет сходно с отлучением. А произойдёт следующее: настоящий университет, которому никакой законодательный орган не может ничего диктовать, и который вовсе нельзя определить как местоположение кирпичей, досок или стекла, просто объявит, что это место больше не является “священной землёй”. Настоящий университет тогда исчезнет, а на его месте останутся лишь кирпичи, книги и прочие материальные ценности. Студентам эта концепция, должно быть, показалась очень странной, и можно представить себе, что до них это доходило довольно долго, и затем, возможно, он ждал вопроса: “А что, по-вашему, представляет собой настоящий университет?”

В его записках в ответ на этот вопрос говорится следующее:

“У настоящего университета нет конкретного местоположения. У него нет собственности, он никому не платит зарплаты и не получает никаких материальных благ. Настоящий университет — это состояние ума. Это великое достояние рационального мышления, которое дошло до нас через века и которое не существует в ка-ком-либо конкретном месте. Это состояние ума, которое возобновляется в веках через некоторый состав людей, которые по традиции носят звание профессора, но даже этот титул не является частью настоящего университета. Настоящий университет — это ничто иное, как непрерывный состав самого разума. Кроме этого состояния ума, “разума”, существует также не-кое юридическое лицо, которое к сожалению также носит это на-звание, но представляет собой нечто совсем другое. Это некоммерческая корпорация, один из государственных институтов, имеющий конкретный адрес. Он владеет собственностью, может выплачивать жалование, получать деньги и в процессе этого реагировать на давление со стороны законодательных ветвей власти. Но этот второй университет, юридическое образование, не в состоянии учить, он не создаёт новых знаний и не оценивает идеи. Это совсем не настоящий университет. Это просто церковное здание, обстановка, местоположение, где созданы благоприятные условия для существования настоящего храма. У людей, не замечающих этой разницы, постоянно возникает путаница, говорил он, и они полагают, что управление помещениями церкви подразумевает и контроль над самим храмом. Они рассматривают профессоров как наёмных работников второго университета, которые обязаны отказаться от здравого смысла, когда им велят, и беспрекословно выполнять любые приказы так же как и сотрудники любой другой корпорации. Они видят второй университет, но не в состоянии разглядеть первый.

Помнится, когда я читал это в первый раз, то отметил про себя

проявленное здесь аналитическое мастерство. Он не стал разделять университет на области знаний или факультеты и рассматривать результаты такого анализа. Он также отказался от традиционного разделения на студентов, преподавателей и администрацию. Если сделать подразделение по любому из этих на-правлений, то получится масса всякой скукоты, из которой нельзя почерпнуть больше, чем из официального школьного бюллетеня. А Федр разделил его на “храм” и “место”, и как только проведена такая граница, то сразу же это скучное и немыслимое учреждение видится с такой степенью ясности, которая раньше была невозможна. На основе такого деления он дал объяснение целого ряда смутных, но нормальных аспектов университетской жизни.

После таких пояснений он вернулся к аналогии религиозного храма. Граждане, которые строят такой храм и платят за него, возможно полагают, что они делают это для общества. Хорошая проповедь может создать у прихожан правильный настрой ума на предстоящую неделю. Воскресная школа может способствовать правильному воспитанию детей. Священник, читающий проповедь или руководящий воскресной школой, понимает эти цели и, как правило, следует им, но он также знает, что его основная задача не состоит в том, чтобы служить обществу. Его основная задача состоит в служении Богу. Конфликтов обычно не возникает, но иногда случается такое, что попечители не соглашались с проповедями священнослужителя и угрожают ему урезать фонды. Такое бывает.

Настоящий священник в таких случаях должен действовать так, как если бы он и не слышал об этих угрозах. Его основная цель заключается не в служении членам общества, но всегда только Богу.

Основная цель Храма разума, говорил Федр, всегда представляет собой по Сократу вечную цель истины, в её вечно меняющихся формах, как это и выявляется в процессе рациональности. Всё остальное подчинено этому. Обычно эта цель не приходит в противоречие с прикладной целью наставления граждан, но иногда возникают конфликты, как это было и в случае с самим Сократом. Они возникают тогда, когда попечители и законодатели, потратившие значительное время и средства на данное место, начинают расходиться во мнениях с тем, что даёт профессора в своих лекциях или публичных выступлениях. Они тогда нажимают на администрацию и угрожают ей урезать фонды, если профессора не будут говорить того, что им хочется слышать. Так тоже бывает. Служители церкви в таких ситуациях должны действовать так, как если бы они и не слышали этих угроз. Их главная цель со-стоит не в том, чтобы служить обществу прежде всего. Их главная задача заключается в том, чтобы

служить посредством разума цели истины.

Вот это он и подразумевал под Храмом разума. Не было и сомнения в том, что он глубоко прочувствовал эту концепцию. Его считали в некотором роде смутьяном, но никогда не порицали за это в какой-либо степени пропорционально тем бедам, которые он навлекал. Что спасало его от гнева окружающих, — так это частью нежелание оказывать поддержку врагам колледжа, а частью вынужденное понимание того, что всё его смутьянство было в конечном итоге мотивировано мандатом, от которого они не были свободны и сами: мандат говорить рациональную правду. Эти конспекты почти полностью объясняют все его действия, но одно всё же остаётся непонятным — фанатическое неистовство. Ведь можно верить в правду и в процесс разума при раскрытии её, а также в сопротивление властям штата, но зачем же при этом сжигать самого себя день изо дня?

Физиологические объяснения, которые делались при этом, мне кажутся неадекватными. Сценический страх не может поддерживать такие усилия месяц за месяцем. Другое объяснение также не представляется верным, то что он пытается вознаградить себя за предыдущую неудачу. Нет никаких свидетельств тому, что он считал своё исключение из университета как провал, а не как загадку. Объяснение, к которому я пришёл, вытекает из расхождения между отсутствием веры в научный разум в лаборатории и его фанатичной веры, выраженной в лекции по Храму разума. Я однажды размышлял об этом несоответствии, и вдруг мне пришло в голову, что никакого расхождения тут нет. Именно из-за отсутствия веры в разум он был так фанатично привержен ей. Ведь никогда не бываешь привержен чему-либо, если полностью уверен в нём. Никто ведь фанатически не кричит о том, что завтра встанет солнце. Всем и так известно, что оно встанет завтра. Когда люди фанатично привержены политической или религиозной вере или любым другим видам догм или целей, то это всегда происходит потому, что они сомневаются в этих догмах или целях.

В данном случае его пыл несколько походил на воинственность Иисуса. Исторически их рвение вытекает не из силы католической церкви, а из её слабости перед лицом реформации. И именно отсутствие у Федра веры в разум, делало его таким фанатичным учителем. Так выходит больше смысла. И ещё больше смысла вытекает из последующего хода событий.

Вот возможно почему он чувствовал такое глубокое родство со многими из неуспевающих студентов на задних партах в своих классах. Презрительный взгляд на их лицах отражал те же чувства, которые он питал в отношении всего рационального, интеллектуального процесса. Единственная разница состояла в том, что они презирали то, чего не

понимали. Он же презирал потому, что понимал. Из-за того, что они не понимали, у них не было другого выхода, кроме как провалиться и потом всю жизнь вспоминать об этом с горечью. Он же, с другой стороны, фанатически считал себя обязанным сделать что-нибудь на этот счёт. Именно поэтому его лекция о Храме разума была так тщательно подготовлена. Он провозглашал, что надо верить в разум, потому что ничего другого нет. Но это была вера, которой сам он не имел.

При этом следует помнить, что это были пятидесятые, а не семидесятые годы двадцатого века. В то время были поползновения битников и ранних хиппи по поводу “системы” и ортодоксальных интеллектуалов, поддерживавших их, но вряд ли кто-либо мог предугадать, насколько глубоко будет поставлено под сомнение всё построение. И вот Фэдр стал фанатически защищать этот институт, Храм разума, хотя ни у кого, по крайней мере в Бозмене, штат Монтана, не было ни малейших причин сомневаться. Дореформаторский Лойола. Воинствующий борец, доказывающий всем, что солнце встанет завтра, хотя никто об этом и не беспокоился. Их просто интересовало его поведение.

Но теперь, когда между ним и нами осталось наиболее смутное десятилетие века, десятилетие, когда на разум набрасывались и нападали сверх всяких самых буйных фантазий пятидесятых, я считаю, что в этой шатокуа на основе его открытий можно понять несколько полней то, о чем он говорил... о решении для всего этого... если только это правда... так много уже утрачено, что и не знаешь даже.

Вот, может быть, поэтому я и чувствую себя археологом. И у меня такая напряжённость из-за этого. У меня остались только эти обрывки воспоминаний и то, что мне говорят люди, и потому по мере приближения к гробницам я задаюсь вопросом, может быть лучше их оставить нераскрытыми.

Я вдруг вспоминаю о Крисе, сидящем позади меня, и спрашиваю себя, как много он знает, сколько он помнит. Мы подъезжаем к перекрёстку, где дорога из парка сходится с магистральным шоссе восток-запад, и сворачиваем на него. Дальше мы проезжаем по виадуку и въезжаем в сам Бозмен. Дорога теперь поднимается вверх, направляясь на запад, и я вдруг всматриваюсь вперёд, что-то нас ждёт там?

Мы съезжаем с перевала на небольшую зелёную равнину. Прямо на юг видны поросшие сосняком горы, на вершинах которых всё ещё лежит прошлогодний снег. В остальных направлениях также видны горы пониже, чуть дальше, но так же ясно и отчётливо. Природа как с почтовой открытки постепенно смутно всплывает в памяти. Этого магистрального шоссе федерального значения, по которому мы едем сейчас, тогда, должно быть, ещё не было. Вновь приходит на ум и задерживается в нём утверждение, что “Путешествовать лучше, чем прибыть на место”. Мы всё время путешествовали, а теперь прибудем на место. Когда я достигаю та-кую промежуточную цель и мне нужно переориентироваться на новую, у меня наступает период депрессии. Через день-другой Джо-ну и Сильвии нужно возвращаться назад, а мне с Крисом надо решать, что делать дальше. Все надо организовать заново. Главная улица города мне кажется смутно знакомой, но у меня теперь появилось чувство туриста, и я вижу, что вывески на магазинах предназначены для меня, туриста, а не для людей, живущих здесь. Город не такой уж и маленький. Люди слишком часто переезжают, и живут слишком независимо друг от друга. Это один из городков с населением от пятнадцати до тридцати тысяч жителей, который нельзя назвать ни большим, ни малым, так, нечто среднее.

Мы обедаем в ресторане, отделанном стеклом и хромом, который не вызывает никаких воспоминаний. Выглядит он так, как будто его построили после того, как он жил здесь, он так же обезличен, как и сама главная улица.

Я направляюсь к телефону и ищу в справочнике номер Роберта Дивиза, но не нахожу его. Я набираю коммутатор, но оператор не слышал такой фамилии и не может мне сказать номер. Просто не верится! Что это, просто воображение? Это сообщение вызывает у меня на мгновение панику, но затем я вспоминаю их ответ на моё письмо о том, что мы приедем, и успокаиваюсь. Воображаемые люди ведь не пользуются услугами почты. Джон предлагает мне позвонить в отдел искусств или каким-либо друзьям. Я закурил и пью кофе, а когда успокоился, то делаю так, как было сказано, и узнаю, как туда добраться. Пугает не сама процедура, пугают взаимоотношения между людьми, между абонентами и телефонистами.

Из города до гор через долину должно быть меньше десяти миль, и мы

проезжаем это расстояние по грунтовым дорогам, среди густой зелёной высокой люцерны, готовой к жатве, настолько густой, что кажется, по ней трудно будет идти. Поля расстилаются вширь и слегка вверх к основанию гор, где внезапно вздымается гораздо более темная зелень сосняка. Вот там-то и живут Ди-Визы. Там, где сходятся темно зелёное и светлозеленое. Воздух наполнен запахами свежескошенного светло-зелёного сена и скота. В одном месте мы попадаем в полосу холодного воздуха, и появляется сосновый запах, но затем снова выезжаем к тёплому воздуху. Солнечный свет, луга и маячащие невдалеке горы.

Как только мы подъезжаем к соснам, гравий на дороге становится довольно глубоким. Мы переключаемся на первую скорость, сбавляем ход до десяти миль в час, я снимаю ноги с подножек на случай, если мотоцикл завязнет в гравии и начнёт сползать назад. Мы делаем поворот и сразу въезжаем в глубокий каньон, поросший соснами, и тут совсем рядом с дорогой стоит большой серый дом с громадной абстрактной чугунной скульптурой с одной стороны, а под ней, откинувшись назад в кресле, в окружении каких-то людей сидит живое воплощение самого Ди-Виза с банкой пива в руке, которой он машет нам. Прямо как на старинной фотографии.

Я настолько занят удержанием машины в равновесии, что не могу отпустить руля, поэтому в ответ машу ногой. Живое воплощение Ди-Виза ухмыляется, когда мы подъезжаем ближе.

— Нашли всё-таки, — говорит он. Безмятежная улыбка. Счастливые глаза.

— Давненько уж, — отвечаю я. Я тоже счастлив, хотя как-то странно видеть этот образ, который движется и разговаривает. Мы слезаем с мотоциклов, снимаем поклажу, и я вижу, что открытая веранда, на которой сидят он и его гости, ещё не закончена и не тронута следами погоды. Ди-Виз смотрит на нас с того места, где она находится всего лишь в нескольких футах над дорогой с нашей стороны, но склон каньона настолько крут, что с другой стороны пол веранды возвышается на высоту пятнадцати футов над землёй. Ещё пятьюдесятью футами ниже за домом виден ручей, и там частично скрытая среди деревьев и высокой травы пасётся лошадь, которая не обращает на нас внимания. Чтобы увидеть небо, надо высоко поднимать голову. Нас окружает темно зелёный лес, который мы видели, подъезжая сюда.

— Ну до чего же красиво! — восклицает Сильвия.

Живой образ Ди-Виза улыбается ей сверху вниз. “Благодарю вас, — отвечает он. — Я рад, что вам здесь нравится.” Тон его голоса очень

непосредственен, совершенно свободен. Я сознаю, что хоть это и настоящее воплощение самого Ди-Виза, это также и совершенно новый человек, который постоянно меняется, и мне придётся знакомиться с ним заново.

Мы ступаем на веранду. Пол в ней из досок, между которыми оставлены щели, так что он выглядит как решётка. Сквозь него видна земля. С улыбкой и возгласом: “Даже и не знаю, как это делается” Ди-Виз знакомит нас с присутствующими, но всё влетает в одно ухо и вылетает в другое. Я никак не могу запомнить имена. У него в гостях преподаватель по изобразительному искусству из колледжа в роговых очках и его жена, которая смущенно улыбается. Они должно быть новички здесь. Некоторое время мы разговариваем, Ди-Виз в основном объясняет им, кто я такой, и затем из-за угла, где веранда заворачивает вокруг дома, вдруг выходит Дженни Ди-Виз с подносом, уставленным пивными банками. Она тоже художница, и как я сразу понимаю, всё схватывает на лету и только мило улыбается, когда я вместо её руки беру банку пива, а она в это время говорит: “Тут вот только что приходили соседи и принесли форели на обед. Я так рада.” Я пробую сказать что-нибудь подходящее к такому моменту, но только киваю головой. Мы рассаживаемся, я устраиваюсь на солнышке, откуда трудно разглядеть подробности другой стороны веранды, которая находится в тени.

Ди-Виз смотрит на меня, говорит что-то по поводу моей внешности, которая несомненно отличается от того, что он помнит, но затем отвлекается, поворачивается к Джону и спрашивает его о поездке.

Джон отвечает, что всё было великолепно, нечто такое, о чём они с Сильвией мечтали много лет.

Сильвия поддерживает его: “Да, так хорошо быть на свежем воздухе, при таком просторе”.

В Монтане очень просторно, — несколько задумчиво подхватывает Ди-Виз. Они с Джоном и преподавателем живописи завязывают знакомство, заговорив о различиях между Монтаной и Миннесотой.

Лошадь мирно пасётся внизу, а чуть дальше вода сверкает в ручье. Разговор переходит на землю Ди-Виза здесь в каньоне, на то, как долго он живёт здесь и как проходит обучение живописи в колледже. У Джона просто талант на такого рода разговоры, а у меня его нет, так что я просто слушаю. Немного погодя солнце начинает пригревать так сильно, что я снимаю свитер и расстегиваю рубашку. Чтобы не щуриться, я сходил за темными очками и надел их. Так оно лучше, но я теперь почти не вижу лиц в тени, и у меня возникает чувство отчуждения от всего, кроме солнца и

залитых его светом склонов каньона. Я начинаю думать о том, что надо распаковать вещи, но решаю не говорить об этом вслух. Они знают, что мы тут останемся, но интуитивно дают беседе идти своим чередом. Сначала передохнём, потом начнём распаковывать вещи. К чему спешить? От пива и солнца в голове у меня всё поплыло. Очень приятно. Не помню уж, сколько времени прошло, как из уст Джона я услышал реплику по поводу “вот этой кинозвезды”, и вдруг до меня доходит, что он имеет в виду меня и мои солнечные очки. Я вглядываюсь поверх очков в тень и вижу, что Ди-Виз, Джон и учитель рисования улыбаются мне. Они должно быть хотят, чтобы я принял участие в разговоре, чтобы рассказал что-нибудь о поездке.

Их интересует, что делать, если случается какая-нибудь механическая неполадка, — говорит Джон. Я пересказываю им историю, когда мы с Крисом попали в грозу и отказал мотор, что само по себе неплохо, но всё-таки со-знаю, что в качестве ответа на вопрос она несколько неуместна. Заключительная фраза об отсутствии бензина вызывает у них ожидаемый стон.

— А ведь я же говорил ему проверить, — добавляет Крис.

И Ди-Виз, и Дженни обращают внимание на то, как вырос Крис. Он засмутился и слегка покраснел. Они спрашивают его о матери и брате, и мы оба отвечаем, как можем.

Наконец, солнышко допекло меня, и я передвигаю кресло в тень. Разомлелость быстро проходит в прохладе и через несколько минут мне приходится застегнуть рубашку. Дженни замечает это и говорит: “Как только солнце зайдет за гребень, то становится действительно холодно.”

Расстояние между солнцем и гребнем уже невелико. Я считаю, что хоть до вечера ещё далеко, осталось не более получаса солнечного света. Джон спрашивает о горах в зимнюю пору, и затем они с Ди-Визом и учителем живописи заводят разговор о катании на лыжах в горах. Я мог бы сидеть так бесконечно. Сильвия, Дженни и жена учителя живописи разговаривают о доме, и вскоре Дженни приглашает их зайти внутрь. Мои мысли переходят на то, как быстро растёт Крис, и вдруг возникает ощущение гробницы. Я только краем уха слышал, что Крис жил здесь, и всё-таки им кажется, что он уехал совсем не-давно. Да, у нас совершенно различные структуры времени. Разговор переходит на современное искусство, музыку и театр, и я удивляюсь, как уверенно Джон чувствует себя в этой беседе. Меня, в общем-то, не очень интересуют новинки в этой сфере, он, вероятно, знает об этом, и поэтому никогда не заговаривает со мной на эту тему. Всё как раз наоборот в отношении ухода за мотоциклом.

Интересно, у меня такие же стеклянные глаза, как и у него, когда я разговариваю о штангах и поршнях? Но у Ди-Виза и у него есть общая тема разговора, это Крис и я, и у меня возникает какое-то забавное липкое чувство с того самого момента, как упомянули о кинозвезде. Добродушный сарказм Джона по поводу старого собутыльника и товарища по мотопоездам несколько охлаждает Ди-Виза, и его тон становится более почтительным ко мне. При этом сарказм Джона возрастает непроизвольно, так что они отходят от этой темы на другую, снова возвращаются к ней, но опять возникает прилипчивость, и они снова меняют разговор.

— Как бы там ни было, — говорит Джон, — вот этот субъект говорил, что нас подведут, как только мы приедем сюда, и мы всё ещё находимся под этим ощущением. Я смеюсь. Не хотелось бы, чтобы он развивал эту тему. Ди-Виз тоже улыбается. Но затем Джон поворачивается ко мне и произносит: “Ну ты совсем спятил, с ума сошёл, когда решил уехать отсюда. Мне совсем наплевать, какой тут у вас колледж.” Видно, что Ди-Виз смотрит на него со смущением. Затем начинает сердиться. Ди-Виз смотрит на меня, а я просто отмахиваюсь. Возникла неловкость, и я не знаю, как из неё выпутаться. “Да, чудное место”, — неуверенно поддакиваю я. Ди-Виз осторожно возражает: “Если бы вы здесь побыли подольше, то увидели бы и обратную сторону”. Преподаватель согласно кивает.

Неловкость теперь переходит в молчание. И его невозможно сгладить. То, что сказал Джон, не было со зла. Он добрее многих. Ему это известно, и мне тоже, но Ди-Виз не знает того, что, человек, о котором они говорят, ничего особенного теперь из себя не представляет. Просто человек среднего класса, сред-него возраста живёт себе потихоньку. Он беспокоится главным образом о Крисе, а помимо этого ничего особенного в нём нет. Но что известно Ди-Визу и мне, и чего не знают Сазэрлэнды, так это то, что здесь когда-то жил человек, который, горя творчеством, вынашивал такие идеи, о которых никто никогда не слышал, но затем случилось что-то злое и необъяснимое. А почему и как, не знает ни Ди-Виз, ни я. И нет такого способа, чтобы сказать ему иначе.

На короткое время на гребне горы солнце просвечивает сквозь деревья, и нас обдаёт аурой света. Эта аура расширяется, охватывает всё внезапной вспышкой, и вдруг захватывает меня тоже.

Он слишком много видел, — говорю я, всё ещё думая о ту-пике, но Ди-Виза это озадачивает, а Джон и вовсе пропустил это мимо ушей, и я слишком поздно сознаю всю непоследовательность ситуации. Одинокая птица жалобно вскрикнула вдалеке. Теперь солнце внезапно скрывается за горой, и весь каньон погружается в тень.

Я думаю про себя, как это всё некстати. Такое ведь не говорят вслух. Из больницы выпускают именно с таким пониманием. Выходит Дженни с Сильвией и предлагает нам разобрать багаж. Мы соглашаемся, и она показывает нам наши комнаты. Я замечаю у себя на постели теплое одеяло, чтобы не было холодно ночью. Прекрасная комната.

За три ходки к мотоциклу я переносу все вещи. Затем иду в комнату к Крису посмотреть, что нужно разобрать, но у него радостное настроение, он чувствует себя взрослым и отказывается от помощи.

Я смотрю на него. — Как тебе здесь нравится?

Он отвечает: “Хорошо, только совсем не похоже на то, что ты рассказывал об этом вчера вечером.”

— Когда?

— Перед самым сном. В кабине.

Я не возьму в толк, что он имеет в виду. Он тогда добавляет: “Ты говорил, что здесь одиноко” — И с чего бы я такое сказал?

— Не знаю. — Мой вопрос раздражает его, и я оставляю его в покое. Он должно быть фантазирует.

Когда мы спускаемся в гостиную, я чувствую аромат жарящейся форели на кухне. В одном конце комнаты Ди-Виз склонился у камина и держит горящую спичку, поджигая газету под растопкой. Некоторое время мы смотрим на него.

— Мы топим этот камин всё лето, — поясняет он.

Я отвечаю: “Просто удивлён, что так холодно”. Крис тоже говорит, что замёрз. Я посылаю его за свитером, и за своим тоже.

— Это всё вечерний ветер, — поясняет Ди-Виз. — Он дует сюда из каньона, а там наверху действительно холодно. Внезапно вспыхивает пламя, затем из-за неровной тяги несколько утихает и потом разгорается опять. Я полагаю, что на улице ветрено, и смотрю в огромное окно во всю стену. В сумерках видно, как деревья резко колышутся на другой стороне каньона.

— Всё нормально, — продолжает Ди-Виз. — Ты ведь знаешь, как холодно там, наверху.

— Да, припоминаю.

Я вспоминаю, как однажды ветреной ночью мы сидели у костра. Огонь был меньше этого и горел у самой скалы, чтобы не задувало ветром, ведь деревьев там не было. Рядом с костром наши кухонные принадлежности и рюкзаки, чтобы загородиться от ветра, и канистра с водой из растопленного снега. Воду надо было собирать заранее, потому что после захода солнца снег больше не тает.

Ди-Виз говорит: “Ты сильно изменился”. Он изучающе смотрит на меня. По его выражению можно понять, что он очень осторожно касается этой темы. Глянув на меня он понял, что не стоит продолжать разговор на эту тему, и добавляет: “Ну да и все мы, пожалуй”.

Я отвечаю: “Я теперь совсем другой человек”, и он при этом как-то расслабился. Если бы он доподлинно знал настоящую правду, то встревожился бы гораздо больше. “Многое изменилось с тех пор, — продолжаю я, — и произошло нечто такое, что мне кажется важным несколько распутать, по крайней мере во мне самом, я отчасти поэтому и появился здесь.” Он внимательно смотрит на меня, ожидая дальнейших пояснений, но тут к огню подходит преподаватель живописи с женой, и мы на этом кончаем.

Преподаватель говорит: “Ветер завывает так, что можно подумывать, ночью будет гроза.”

— Вряд ли, — отвечает Ди-Виз.

Возвращается Крис со свитерами и спрашивает, нет ли в каньоне призраков.

Ди-Виз с улыбкой смотрит на него: — Нет, но там есть волки.

Крис задумывается и спрашивает: — И как они?

Ди-Виз отвечает: “Они доставляют неприятности фермерам. — Хмурится и продолжает. — Дерут молодых телят и ягнят.

— А на людей нападают?

Я лично такого не слыхал, — отвечает Ди-Виз и заметив, что это разочаровало Криса, добавляет, — но могут. За обедом речную форель мы запиваем вином “шабли” из графства Бей. Мы расположились вокруг обеденного стола на стульях и диванах по всей столовой. Одна стена комнаты полностью застеклена и обращена на каньон, но сейчас уже темно, и стекло только отражает пламя из камина. Тепло огня из камина дополняет разливающуюся в нас теплоту от вина и рыбы, так что мы почти не разговариваем, а только удовлетворённо почмокиваем. Сильвия просит Джона обратить внимание на большие горшки и вазы, расставленные по всей комнате.

— Да, я заметил, — отвечает Джон. — Они прекрасны.

— Их сделал Петер Вулкас, — отмечает Сильвия.

— Не может быть?

— Он был учеником г-на Ди-Виза.

— Господи Боже мой! Я чуть не уронил одну из них.

Ди-Виз смеётся.

Позднее Джон что-то бормочет несколько раз, смотрит вверх и

возглашает: “Ну вот... теперь-то мы получили всё... Теперь можно возвращаться ещё на восемь лет на Колфакс-авеню, дом номер двадцать шесть, сорок девять.

Сильвия с сожалением перебивает: “Давай не будем говорить об этом”.

Джон смотрит на меня. — Тот, друзья которого могут подарить вам такой вечер, не такой уж плохой человек. — Он серьезно качает головой. — Мне придётся изменить своё прежнее мнение о тебе.

— Полностью?

— Во всяком случае частично.

Ди-Виз и преподаватель улыбаются, и бывшая прежде неловкость рассеивается.

После ужина приезжают Джек и Уилла Барснессы. Всплывают новые живые образы. В фрагментах из гробницы Джон припоминается как хороший человек, который преподаёт английский в колледже и пишет сам. Затем появляется скульптор с севера Монтаны, который содержит себя тем, что пасёт овец. Из того, как Ди-Виз представляет его, я делаю вывод, что мы раньше не были знакомы.

Ди-Виз говорит, что пытается убедить скульптора перейти на преподавательскую работу, а я заявляю: “Попробую отговорить” и сажусь рядом с ним. Но наш разговор не клеится, потому что скульптор чрезвычайно серьёзен и относится ко мне с предубеждением, очевидно потому, что я не художник. Он ведёт себя со мной так, как будто я следователь и пытаюсь выведать у него кое-что, затем узнаёт, что я занимаюсь сваркой, и тогда я уже свой человек. Тема ухода за мотоциклом вводит нас в странные двери. Он говорит, что занимается сваркой по тем же причинам, что и я. Когда наберёшься мастерства, то сварка даёт ощущение громадной силы и власти над металлом. Можно делать всё что угодно. Он показывает фотографии вещей, которые сварил сам. На них видны прекрасные птицы и животные, с текущей текстурой металла на поверхности, не похожей ни на что другое. Позднее я пересаживаюсь и вступаю в разговор с Джеком и Уиллой. Джек собирается сменить место работы и стать деканом факультета в Бойсе, штат Айдахо. Его отношение к факультету здесь несколько осторожно, но в целом отрицательно. Так оно и должно было быть, иначе бы он не уезжал. Помнится, он больше писал художественную литературу и преподавал английский язык, чем был исследователем систематиком. На факультете постоянно возникали споры по этому поводу, и это привело к по-явлению буйных идей Федра, о которых никто раньше и не слыхал, или по крайней мере, ускорило их рост. А Джек поддерживал Федра, потому что, хоть он и не совсем понимал, о

чём толкует Федр, но чувствовал, что как сочинитель он был лучше лингвистического аналитика. Это старое расхождение. Подобное тому, что существует между искусством и историей искусств. Один де-лает её, а второй повествует о том, как это делается, и раз-говор о том, как это делается, кажется, никогда не соответствует тому, как это происходит в действительности. Ди-Виз приносит инструкцию по сборке летней жаровни, о которой он хочет получить моё мнение в качестве профессионального писателя на технические темы. Он потратил полдня на то, чтобы собрать её, и теперь хочет, чтобы её раскритиковали в пух и прах.

Когда я начинаю читать её, она кажется мне обыкновенной инструкцией, и мне трудно найти в ней какие-либо недостатки. Но мне, конечно, не хочется говорить этого, и я усердно выискиваю, к чему бы придраться. Практически нельзя судить, хороша ли инструкция или нет, пока не станешь сравнивать её с устройством или проделывать описываемую в ней процедуру, но я замечаю разнос страниц, при котором приходится всё время листать инструкцию, чтобы сопоставлять текст с иллюстрацией, что всегда неудобно. Я хватаюсь за это, а Ди-Виз меня всячески подначивает. Крис берёт инструкцию, чтобы посмотреть, в чём дело. Пока я останавливаюсь на этом и рассказываю о неудобстве перекрёстных ссылок, у меня возникает ощущение, что Ди-Виз с трудом понимает её вовсе не поэтому. Его сбивало с толку отсутствие гладкости и последовательности. Он не в состоянии пони-мать вещи, когда они даны в уродливом, скомканном, гротескном стиле построения предложения, который так присущ инженерному и техническому изложению материала. Наука имеет дело с узлами, деталями и частями, у которых подразумевается последовательность, а Ди-Виз имеет дело только с последовательностью, где подразумеваются узлы, детали и части. Он хочет, чтобы я осудил отсутствие художественной последовательности, на которую инженер вообще не обращает внимания. Так что в действительности всё упирается в расхождение классического и романтического, как и всё остальное в технике.

Крис тем временем берёт инструкцию и складывает её так, как мне и не приходило в голову, и иллюстрация оказывается теперь рядом с текстом. Я складываю инструкцию вдвое, затем втрое и чувствую себя персонажем из мультфильма, который прошёл по самому краю обрыва и не упал туда лишь потому, что и не подозревал о его наличии. Я киваю, потом наступает молчание, я осознаю свою трудность и заливаюсь долгим смехом, хлопнув Крису по башке и отправив его в пропасть. Затем смех утихает, и я говорю: “Ну так, во всяком случае...”, но теперь уже хохочут все.

— Что я хотел сказать, — наконец вклиниваюсь я, — так это то, что у меня дома есть инструкция, которая открывает большие возможности в техническом изложении мыслей. Она начинается так:

“Сборка японского велосипеда требует большого спокойствия духа”. Смех при этом возобновляется, но Сильвия, Дженни и скульптор смотрят на меня с пониманием и сочувствием.

— Очень хорошая инструкция, — говорит скульптор. Дженни согласно кивает.

— Вот потому-то я и сохранил её, — продолжаю я. — Вначале я смеялся потому, что вспомнил, как собирал велосипеды по ней, и о непреднамеренных сбоях в японском производстве. Но в этом предложении заключена большая мудрость. Джон смотрит на меня с опаской. Я смотрю на него так же. Затем оба заливаемся смехом. Он объявляет: “А теперь профессор пояснит свою мысль”.

— Спокойствие духа вовсе не такое уж поверхностное состояние, — продолжаю я. — Всё дело в нём. Если при обслуживании техники оно возникает, то это хорошо, если же его нет, то инструкция никуда не годится. То, что мы называем работоспособностью машины, представляет собой лишь объективизацию этого спокойствия духа. Конечным критерием является ваше собственное спокойствие. Если начать обслуживание машины без такого спокойствия и не сохранять его во время работы, то ваши личные проблемы наверняка перенесутся на саму машину. Они лишь смотрят на меня, обдумывая сказанное.

— Данная концепция необычна, — продолжаю я, — но здравый смысл подтверждает её. Наблюдаемый материальный объект, велосипед или жаровня, сами по себе не могут быть правильными или неправильными. Молекулы ведь и есть молекулы. Они не следуют никаким моральным принципам кроме тех, что им придают люди. Проверка машины состоит в том удовлетворении, которое она вам доставляет. Другого критерия нет. Если машина доставляет вам спокойствие, — это хорошо. Если она беспокоит вас, то это плохо. И надо изменить либо отношение машины, либо своё собственное. Проверка машины заключается в вашем собственном разуме. Другого критерия и не может быть. Ди-Виз спрашивает: “А что, если машина неисправна, а у меня полное спокойствие?”.

Смех.

Я отвечаю: “Это противоречит самому себе. Если вам действительно безразлична машина, то вы и знать не будете, что она неисправна. У вас даже не появится такой мысли. Если же вы назвали её неисправной, то она

вам уже небезразлична.” Добавляю: “Чаще же бывает так, что вы не спокойны, даже если машина исправна, и мне кажется, что на этот раз дело об-стоит именно так. В этом случае, если вы беспокоитесь, то что-то неверно. Это значит, что вы проверили её недостаточно тщательно. В технике, если машину не проверить, то она подведёт вас, и пользоваться ею нельзя, даже если она прекрасно работает. Если вас беспокоит жаровня, это то же самое. Вы не выполнили важнейшего требования по спокойствию духа, потому что вам кажется, что инструкция слишком сложна, и значит вы не совсем правильно поняли её.

Ди-Виз спрашивает: “Ну а как бы вы её изменили, чтобы у меня появилось это спокойствие духа?”

Для этого потребуется её изучить гораздо тщательнее, чем я это сделал сейчас. Всё уходит гораздо глубже. Инструкции к жаровне с начала до конца относятся только к ней. Но тот под-ход, который я имею в виду, не ограничивается этими рамками. Больше всего в инструкциях такого рода раздражает то, что подразумевается только один способ сборки жаровни, их собственный. И такая предпосылка сметает всё творческое отношение. В действительности же есть сотни способов сборки жаровни, и когда они вынуждают вас следовать только одним из них, не раскрывая проблемы в целом, то работать с такой инструкции очень трудно без того, чтобы не наделать ошибок. Теряется стремление к работе. И не только это, очень мало вероятности, что они сообщают вам лучший из способов.

— Но ведь они же с завода, — вступает Джон.

— Я тоже с завода, — отвечаю я, — и знаю, как составляются такие инструкции. Ты отправляешься на конвейер с магнитофоном, начальник цеха посылает тебя разговаривать с тем человеком, который нужен ему меньше всего, с самым большим бездельником, и то, что он сообщит тебе — это и будет инструкция. Другой работник мог бы сообщить тебе нечто совсем другое и, возможно, гораздо лучше, но он слишком занят.

Все удивлены.

— Да уж, так я и знал, — произносит Ди-Виз.

— Такова процедура, — продолжаю я. — И никто из пишущих не может отступить от неё. Технология предполагает только один верный путь изготовления, но так никогда не бывает. И если предположить, что есть только один путь сделать что-либо, то инструкция, безусловно, с самого начала до конца ограничивается только жаровней. Но если выбирать из бесконечного числа способов её сборки, тогда надо принять во внимание отношение машины к тебе и твое отношение к остальному миру, ибо выбор из большого числа вариантов, искусство этой работы так же за-висят от

состояния твоего ума и духа, как и от материала машины. Вот для чего нужно спокойствие духа.

— В действительности эта идея не так уж и странна, — иду я дальше. — Посмотрите на рабочего новичка или плохого работника и сравните его выражение с видом работника, мастерство которого хорошо известно, и вы почувствуете разницу. Мастер никогда не следует только одной строке в инструкции. Он принимает решения по мере того, как продвигается в работе. По этой причине он собран и внимателен к тому, что делает, даже если он преднамеренно этим и не занимается. Его движения и действия машины находятся в полной гармонии. Он не следует какому-либо письменному набору инструкций, ибо характер материала у него в руках определяет его мысли и движения, что одно-временно меняет и характер материала в его руках. Материал и мысли его меняются совместно по мере наступления изменений, и его дух становится спокойным, а материал таким, как нужно.

— Это похоже на искусство, — говорит преподаватель.

— Ну так это и есть искусство, — отвечаю я. — И отрыв искусства от техники совершенно неестественен. Он просто существует так давно, что надо быть археологом, чтобы докопаться до корней этого явления. Сборка жаровни — по существу это давно утраченная ветвь скульптуры, за века настолько оторвавшаяся от корней из-за неверных поворотов интеллекта, что сейчас даже смешно ставить их рядом.

Они не совсем уверены, шучу я или нет.

— Ты хочешь сказать, — спрашивает Ди-Виз, — что, собирая эту жаровню, в действительности я занимался скульптурой?

Конечно.

— Он обдумывает это и улыбается всё шире и шире. — Жаль, что я этого не знал. — Все смеются.

Крис говорит, что не понимает сказанного мной.

— Ничего страшного, Крис, — вступает Джек Барнесс. — Мы тоже ничего не понимаем. — Новый взрыв смеха.

— Я, пожалуй, лучше буду заниматься обыкновенной скульптурой, — сообщает скульптор.

— А я лучше буду заниматься живописью, — подхватывает Ди-Виз.

— Ну а я буду барабанить, — добавляет Джон.

Крис спрашивает: “А ты чего будешь придерживаться?”

— Своего оружия, парень, своего оружия, — отвечаю я. — Таков кодекс Запада.

Все дружно смеются, и кажется, забывают о моих

разглагольствований. Если уж у тебя в голове засела шатокуа, то очень трудно не навязывать её невинным людям. Беседа распадается на несколько групп, и остальное время я разговариваю с Джеком и Уиллой о делах на факультете английского языка.

После того, как вечер закончился, Сазэрлэнды и Крис ушли спать, Ди-Виз, однако, вспомнил про мою лекцию. Он серьёзно произносит: “То, что ты рассказывал об инструкции к жаровне, было довольно интересно.”

Дженни так же серьёзно добавляет: “Похоже, вы думали об этом довольно долго”.

— Я думаю о концепциях, лежащих в её основе, в течение двадцати лет, — отвечаю я.

Позади стула передо мной искры вылетают в трубу, подхватываемые ветром на улице, который теперь значительно усилился. Затем я добавляю, чуть ли не про себя: “Посмотришь, куда направляешься, и где находишься в данный момент, и не видно никакого смысла, но если глянуть туда, где был раньше, то вроде бы, прослеживается какая-то закономерность. И если сделать намётки вперёд по такой структуре, то иногда можно придти кое к чему.

Все эти разговоры о технике и искусстве — это часть структуры, вытекающей из моей собственной жизни. Она представляет собой переход от того, что я думаю, к тому, чего пытаюсь до-биться.”

— И что же это?

— Ну тут не просто искусство и техника. Это некоторого рода несовместимость разума и чувства. Беда техники в том, что она по-настоящему не связана с духом и сердцем. И тогда она создаёт совершенно случайно слепые, уродливые вещи, и за это её ненавидят. Раньше люди не уделяли этому достаточно внимания потому, что больше всего были озабочены обеспечением про-питания, одежды и крова для всех, а техника это и предоставила.

А теперь это уже более-менее обеспечено, уродство замечают всё чаще и чаще, и люди всё больше задаются вопросом, следует ли всегда страдать духовно и эстетически, чтобы просто удовлетворить материальные потребности. В последнее время это чуть ли не привело к национальному кризису: марши против загрязнения окружающей среды, коммуны против техники, другой образ жизни и всё такое прочее.

Как Ди-Виз, так и Дженни поняли это уже давно, так что нет необходимости комментировать, и я просто добавляю: “Из всей структуры моей собственной жизни вытекает уверенность в том, что этот кризис вызван неспособностью существующих форм мышления справиться с

ситуацией. Его нельзя разрешить рациональными средствами, потому что источником проблемы является сама рациональность. Единственно, кому удаётся решить его, решают его в личном плане, полностью отказавшись от “стандартной” рациональности и руководствуясь только одними чувствами. Вот как Сильвия и Джон. И миллионы других подобных им. При этом кажется, что это неверное направление. Так что я, пожалуй, пытаюсь сказать, что разрешение проблемы заключено не столько в отказе от рациональности, сколько в расширении природы рациональности таким образом, чтобы она смогла придти к какому-то решению.

— Что-то я не пойму, к чему вы клоните, — говорит Дженни.

— Ну тут практически операция самопомощи. Она аналогична тому состоянию, в каком оказался сэр Исаак Ньютон, когда захотел разрешить проблемы мгновенных степеней изменений. В его время было немыслимо представить себе, что что-либо может измениться за нулевой промежуток времени. И всё же почти необходимо работать математически с другими нулевыми количествами, такими как точки в пространстве и времени, чего никто не ставил под сомнение, хотя настоящей разницы тут нет. И вот что в действительности сделал Ньютон, он заявил: “Предположим, что есть такое явление как мгновенные изменения, и нельзя ли найти пути определения, что они представляют собой в различных применениях”. В результате этой посылки появилась такая область математики, которая называется исчислением, и которой теперь пользуется каждый инженер. Ньютон открыл новую форму мышления. Он расширил разум, чтобы охватить бесконечно малые изменения, и думается, теперь требуется подобное расширение разума, чтобы справиться с уродством техники. Трудность же состоит в том, что такое расширение надо делать на уровне корней, а не на уровне кроны, и вот это-то и трудно разглядеть. Мы живём во времена, когда всё поставлено с ног на голову, мне кажется, что это чувство неправильности вызвано несоответствием старых форм мышления новому опыту. Я слышал разговоры о том, что настоящее учение возникает в тупиках, когда вместо того, чтобы раздвигать крону того, что уже известно, надо остановиться и дрейфовать в сторону до тех пор, пока не найдёшь что-либо такое, что даст возможность расширить корни того, что уже известно. Это знакомо всем. Думается, то же самое происходит и со всей цивилизацией, когда требуется расширение корней. Оглянитесь назад на последние три тысячелетия, и вы задним умом почувствуете чёткие структуры и цепочки причин и следствий, которые привели к нынешнему состоянию вещей. Но если обратиться к первоисточникам, литературе каждой конкретной эры, то увидите, что эти причины вовсе не были

очевидны в то время, когда они должны были действовать. Во времена расширения корней всё представлялось так же запутанным, непонятным и бессмысленным, как и теперь. Считается, что вся эпоха Возрождения возникла из-за этого чувства неверности, порождённого открытием Колумбом Нового света. Это просто встряхнуло людей. Смутность того времени отмечается везде. В писаниях Старого и Нового Заветов о плоской земле не было ничего такого, что предсказывало бы это. И всё же люди не могли отрицать этого. Это можно было усвоить только путём отказа от средневекового мировоззрения и вступления в новую сферу расширения разума. Колумб настолько стал стереотипом школьных учебников, что теперь даже почти невозможно представить его себе как реально жившего человека. И если вы действительно попытаетесь сох-ранить нынешние представления о последствиях его путешествия и поставить себя на его место, то тогда можно понять, что нынешнее исследование луны — просто бирюльки по сравнению с тем, что пришлось пережить ему. Исследования луны не требуют настоящего расширения мышления. У нас нет оснований сомневаться в том, что существующие формы мышления не в состоянии справиться с этим. Это просто расширение того, что сделал Колумб на уровне кроны. По настоящему новым исследованием, таким, какое нам представлялось бы так, как это было с Колумбом, должно быть совершенно новое направление.

— Например?

— Например сферы за пределами разума. Сегодняшний разум мне кажется аналогом средневекового представления о плоской земле. Если выйти достаточно далеко за эти пределы, то тебя посчитают безумцем. А люди весьма опасаются этого. Думается, что этот страх перед безумием сродни некогда страху людей свалиться за край света. Или страхом перед еретиками. Здесь очень близкая аналогия.

Происходит то, что с каждым годом наш плоскостной обычный разум становится всё более и более непригодным для того, что-бы справиться с новым опытом, и в результате возникает чувство неправильности. И поэтому всё больше и больше людей уходит в иррациональные сферы мышления: оккультизм, мистицизм, наркотические изменения и тому подобное, ибо они чувствуют неадекватность классического разума справиться с тем, что им известно как подлинный опыт.

— Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду под классическим разумом.

— Аналитический разум, диалектический разум. Разум, который в университете иногда считают полным пониманием. Однако, вам вовсе не

понадобилось понимать этого. По отношению к абстракт-ному искусству оно всегда было совершенным банкротом. Непредставительное искусство — это один из корневых опытов, о которых я веду речь. Некоторые всё ещё осуждают его, потому что в нём нет “смысла”. Но виновато в действительности не искусство, а “смысл”, классический разум, который не в состоянии охватить его. Люди рассматривают крону выискивая там такое расширение разума, которое охватило бы последние проявления искусства, но ответ заключается не в кроне, а в корнях. С гор доносится бешеный порыв ветра. “Древние греки, — говорю я, — изобретшие классический разум, пользовались им не только для предсказания будущего. Они прислушивались к ветру и по нему предсказывали будущее. Сейчас это кажется безумием. Но почему же тогда изобретатели разума кажутся безумными? Ди-Виз прищуривается. — А как они могли предсказывать будущее по ветру?

— Не знаю, может быть, так же, как и художник может предсказать будущее своей картины, глядя на чистый холст. Вся наша система знаний вытекает из их результатов. Нам ещё предстоит понять методы, которые привели к таким результатам. Подумав немного, я спрашиваю: “Когда я был здесь раньше, говорил ли я о Храме разума?”

— Да, ты много говорил об нём.

— Упоминал ли я когда-нибудь о человеке по имени Федр?

— Нет.

— Кто он такой? — спрашивает Дженни.

— Он был древним греком... риториком... “крупным составителем” своего времени. Он присутствовал при изобретении разума.

— Нет, ты, вроде бы, никогда не говорил об этом.

— Должно быть, это пришло позднее. Риторика древней Греции были первыми учителями истории западного мира. Платон чернил их во всех своих работах и точил на них топор. И поскольку почти всё, что нам известно о них, получено от Платона, они уникальны тем, что их в течение всей истории проклинали, не представляя их точек зрения. Храм разума, о котором я говорил, основан на их могилах. И если раскопать основание поглубже, то попадают призраки.

Я смотрю на часы. Уже два часа. — “Это долгая история”.

— Тебе следует записать всё это, — предлагает Дженни.

Я согласно киваю. “Я уж думал о серии лекций-эссе, в некотором роде шатокуа. Когда мы ехали сюда, я всё прорабатывал их в уме... вот вероятно почему я так гладко всё это теперь излагаю. Но всё это так огромно и трудно. Как путешествие в горах пешком.

Трудность в том, что эссе всегда должны звучать как Бог, вещающий в вечность, а так никогда не получается. Люди должны видеть, что нет ничего другого, кроме человека, говорящего в данном месте, в данное время и в данных обстоятельствах. Так оно всегда и было, но в эссе это трудно преодолеть.

— И всё равно надо будет сделать это, — настаивает Дженни. — Не пытаюсь добиться совершенства.

— Да, пожалуй.

Ди-Виз спрашивает: “А это увязывается с тем, что ты делал по качеству?”

— Это его непосредственный результат.

Я припоминаю что-то и смотрю на Ди-Виза. — Ты разве не советовал мне бросить?

— Я говорил, что ещё никому не удавалось сделать то, что ты пробуешь делать.

— А как ты думаешь, это возможно?

— Не знаю. И кто может знать? — У него действительно встревоженное выражение. — Многие сейчас слушают гораздо внимательнее. В особенности дети. Они по настоящему прислушиваются... не просто слушают... а прислушиваются к тебе. В этом-то и разница.

По всему дому гудит ветер, доносящийся со снежных полей на-верху. Он становится всё громче и повизгивает, как бы стремясь снести весь дом, всех нас прочь в пустоту, чтобы каньон был таким, как прежде, но дом выдерживает, и побеждённый ветер опять замирает. Затем он возвращается, нанося слабый удар с дальней стороны, потом следует сильнейший порыв с нашей стороны.

— Я всё прислушиваюсь к ветру, — говорю я.

Затем добавляю: “Когда Сазэрлэнды уедут, думаю, нам с Крисом надо будет полазить по горам, там, где зарождается ветер. Пора ему, пожалуй, лучше разглядеть нашу землю.

— Начинать можно отсюда, — предлагает Ди-Виз, — и идти прямо вверх по каньону. На протяжении семидесяти пяти миль здесь нет ни одной дороги.

— Ну так отсюда мы и отправимся.

Наверху я снова с удовольствием вижу тёплое одеяло на кровати. Теперь совсем уж похолодало, и оно пригодится. Я раздеваюсь, забираюсь глубоко под одеяло, туда где тепло, очень тепло, и долго думаю о снежных полях, ветрах и Христофоре Колумбе.

В течение двух дней Джон, Сильвия, Крис и я гуляем и беседуем, ездим в старый шахтёрский городок и обратно, затем Джону и Сильвии приходит время возвращаться домой. Сейчас мы все вместе едем из каньона в Бозмен в последний раз. Сильвия впереди нас уже в третий раз обернулась, чтобы посмотреть, всё ли у нас в порядке. Последние два дня она что-то загрустила. Взгляд из её вчерашнего дня кажется встревоженным, чуть ли не испуганным. Она слишком беспокоится за Криса и меня. В одном из баров Бозмена мы садимся попить пива в последний раз, и мы с Джоном обсуждаем их путь обратно. Затем произносим малозначащие фразы о том, как хорошо нам было вместе, и как мы вскоре снова встретимся, и от таких разговоров вдруг становится очень грустно, как со случайными знакомыми. Уже на улице Сильвия снова поворачивается ко мне и Крису, медлит немного и затем говорит: “Всё у вас будет в порядке. Беспокоиться не о чём”.

— Конечно, — отвечаю я.

И опять тот же испуганный взгляд.

Джон уже завёл мотоцикл и ждёт её.

— Я верю тебе, — говорю я.

Она поворачивается, садится, и Джон смотрит на дорогу, ожидая своей очереди выехать.

— До встречи, — говорю я.

Она снова смотрит на нас, на этот раз безо всякого выражения. Джон улучшает возможность и выезжает на полосу. Затем Сильвия машет нам, совсем как в кино. Мы с Крисом машем в ответ. Их мотоцикл исчезает в большом потоке машин, выезжающих из штата, а я долго смотрю им вслед.

Я гляжу на Криса, он смотрит на меня, но ничего не говорит.

Утро мы проводим сначала в парке на скамейке с надписью:

“Только для престарелых”, затем закупаем продовольствие, на заправочной станции меняем шину и заменяем звено регулятора цепи. Звено надо немного подточить, так что в ожидании мы не-которое время прогуливаемся взад и вперёд по главной улице. Подходим к церкви и садимся отдохнуть на газоне перед ней.

Крис откидывается на траву и прикрывает глаза курткой.

— Устал?

— Нет.

Между нами и краем гор на севере воздух колышется от жары. Какой-то жучок с прозрачными крыльями садится от жары на стебель травы у ног Криса. Я наблюдаю, как он шевелит крыльями, с каждым разом всё ленивее и ленивее. Откидываюсь назад и пытаюсь уснуть, но не выходит. Возникает какое-то беспокойство, и я встаю.

— Давай прогуляемся, — предлагаю я.

— Куда?

— К школе.

— Хорошо.

Мы идём под тенистыми деревьями по чистеньким тротуарам мимо опрятных домов. На аллеях, к удивлению, возникает много знакомых вещей. Вспоминается с трудом. Он ходил по этим улицам много раз. Лекции. Он готовился к лекциям, гуляя по улицам, как некогда делал Аристотель в своей академии. Предмет, который он преподавал здесь, это риторика, сочинение, второй из трех основных предметов. Он преподавал на высших курсах по техническому письму и некоторые разделы английского для студентов первого курса.

— Помнишь эту улицу? — спрашиваю я Криса.

Он оборачивается и говорит: “Нам приходилось ездить здесь на машине и искать тебя”. Он указывает на улицу. “Помню вот этот дом со смешной крышей... Кто заметит тебя первым, тот получает пяточок. Затем мы останавливались, ты садился на заднее сиденье и даже не разговаривал с нами.”

— Я тогда размышлял.

— Да, мама нам так и говорила.

Он размышлял очень усердно. Учебная нагрузка была довольно велика, но хуже всего было, что он давал себе отчёт при своём точном аналитическом мышлении, что предмет, который он преподаёт, несомненно, самый неточный, не аналитический, самая аморфная область во всём Храме разума. Вот почему он так много размышлял. Для методичного, лабораторно натренированного ума — риторика — совершенно безнадёжное дело. Оно схоже с огромным Сарагассовым морем стагнирующей логики. В большинстве программ по риторике для первокурсников надо было прочитать небольшое эссе или рассказ, разобрать, как автор поступает в том или ином случае, чтобы добиться того или иного эффекта, а затем надо дать задание студентам написать подобное эссе или рассказ, и проверить, удалось ли им добиться тех или иных эффектов. Он пробовал это раз за разом, но ничего не выходило. У студентов редко получалось что-либо в результате такого намеренного

подражания, которое отдалённо походило на те образцы, что он давал им. Нередко они даже ста-ли писать хуже. Казалось, что любое правило, которое он искренне хотел раскрыть им, и старался, чтобы они выучили, нас-только изобиловало исключениями, противоречиями, оговорками и недоразумениями, что он начинал сожалеть, что откопал его с самого начала.

Студент всегда спрашивает, как данное правило применяется в конкретных обстоятельствах. Федр тогда становился перед вы-бором, то ли давать какое-либо надуманное объяснение, то ли же самоотверженно высказать, что он думает в самом деле. А в самом деле он думал, что это правило придумали после того, как вещь уже была написана. Это уже было после того, после свершившегося факта, а не до его возникновения. И он пришёл к убеждению, что все писатели, которым студенты должны были подражать, пишут безо всяких правил, излагая материал так, как им кажется верным, затем перечитывают его, хорошо ли звучит, и исправляют, если не так. Есть некоторые, что пишут с расчётливой преднамеренностью, именно так и смотрятся их труды. Но ему казалось, что выглядело это совсем неважно. Это был какой-то сироп, как однажды выразилась Гертруда Стайн, но сироп этот не проливается. А как можно преподавать что-либо, что не было заранее обдуманно? Казалось бы, непреодолимое препятствие. Он тогда просто брал текст и спонтанно начинал комментировать его, надеясь, что студенты поймут хоть что-ни-будь из этого. Но и это его не устраивало. Вот мы уже рядом. Снова напряжённость, то же щемящее чувство под ложечкой, пока мы подходим к ней.

— Ты помнишь это здание?

— Это там, где ты преподавал... зачем мы идём туда?

— Не знаю. Просто захотелось посмотреть.

Вокруг него почти никого нет. Так и должно быть. Сейчас ведь лето. Огромные странные карнизы над старым бурым кирпичом. В самом деле очень красивое здание. И оно здесь более чем уместно. Старая каменная лестница ведёт к дверям. Ступе-ни истёрты миллионами ног.

— Зачем мы идём туда?

— Ш-ш-ш-ш. Не говори теперь ничего.

Я открываю огромную тяжёлую дверь и вхожу. Внутри ещё больше лестниц, деревянных и тоже истёртых. Они скрипят под ногами и пахнут сотней лет вощения и натирки. На полпути вверх я останавливаюсь и прислушиваюсь. Никаких звуков нет. Крис шепчет: “Зачем мы здесь?”.

Я лишь качаю головой. Слышно, как на улице проехала машина.

Крис снова шепчет: “Мне здесь не нравится. Страшно”.

— Тогда выйди, — отвечаю я.

— И ты тоже.

— Попозже.

— Нет, сейчас. — Он смотрит на меня и понимает, что я останусь. У него настолько испуганный вид, что я готов уже по-слушаться его, как вдруг выражение его лица резко меняется, он поворачивается, сбегает вниз по лестнице и выскакивает в дверь ещё до того, как я решаюсь последовать за ним. Большая тяжёлая дверь закрывается внизу, и я остаюсь тут совсем один. Снова прислушиваюсь... К чему?... К нему?... Я долго, долго прислушиваюсь...

Доски пола как-то странно скрипят, когда я иду по коридору, возникает странная мысль, что это он. В этом месте он — действительность, а я — призрак. На одной из ручек двери я замечаю его руку, которая медленно поворачивается и открывает дверь. Комната за дверью наполнена ожиданием, точно так, как он помнил, как если бы это было сейчас. Он и теперь здесь. Он воспринимает всё, что я вижу. Всё подпрыгивает и просто дрожит от воспоминаний.

Длинные темно зелёные классные доски по обе стороны также осыпаются и требуют ремонта, так же как и тогда. Мел, только мелкие крошки мела в корытце доски всё так же рассыпаны. За доской видны окна, через которые он задумчиво наблюдал горы, пока студенты писали. Он сидел у батареи с кусочком мела в руке и смотрел в окно на горы. Иногда его прерывали вопросом:

“А надо ли...?” Он оборачивался и отвечал на поставленный вопрос, при этом чувствовалось такое единение, какого он никогда не испытывал прежде. Здесь его принимали за самого себя. Не таким, каким он мог быть или ему следовало быть, а таким, как он был в самом деле. Место было очень восприимчивым, чутким. И он отдавал ему всё. Это была не какая-то одна аудитория, это были тысячи комнат, ежедневно меняющихся вместе с бурями, снегом и формой облаков на горах, с каждой новой группой, с каждым студентом. Никогда не было двух одинаковых уроков, и для него всегда оставалось тайной, что принесёт ему следующий...

Я совсем утратил чувство времени, когда слышал шаги в зале. Они становятся громче и замирают у входа в эту аудиторию. Ручка поворачивается, дверь открывается и внутрь заглядывает какая-то женщина.

У неё решительное лицо, как если бы она собиралась поймать кого-либо тут. На вид ей к тридцати, и она не очень красива.

— Мне кажется, я кого-то видела, — произносит она. — Мне показалось... — У неё растерянный вид. Она входит в комнату и приближается ко мне. Внимательно смотрит на меня. Решительность на лице у неё пропадает и по-степенно переходит в удивление. Она изумлена.

— Боже мой, — молвит она. — Это вы?

Я совсем не узнаю её. Ничуть.

Она называет меня по имени. Да, это я.

— Вы вернулись?

Я качаю головой: “Всего лишь на несколько минут”.

Она по-прежнему смотрит на меня, и мне становится неловко. Она тоже понимает это и спрашивает: “Можно я присяду на минутку?” Та робость, с которой она спрашивает об этом, указывает на то, что она могла быть его студенткой. Она садится на один из стульев в первом ряду. Рука её, на которой нет обручального кольца, дрожит. Я и вправду призрак. Теперь и она обескуражена. — Как долго вы тут будете?...

— Нет, я уже спрашивала об этом...

Я вступаю: “Я остановился на несколько дней у Боба Ди-Виза, а затем поеду на запад. У меня оказалось немного свободного времени здесь в городе, и мне захотелось посмотреть, как тут в колледже.”

— О, — отвечает она. — Рада, что заглянули... Он изменился... мы все изменились... так много, с тех пор, как вы уехали... Ещё одна неловкая пауза.

— Говорят, вы лежали в больнице...

— Да.

Опять неловкое молчанье. Она не продолжает, так что, наверное, знает почему. Она колеблется, ищет что бы такое сказать. Становится просто невыносимо.

— Где вы преподаёте? — наконец спрашивает она.

— Я больше не преподаю, — отвечаю я. — Бросил.

Она недоверчиво глядит на меня. — Бросили. — Хмурится, снова смотрит на меня, как бы пытаясь удостовериться, что говорит именно с тем человеком. — Не может этого быть.

— Очень даже может.

Она недоверчиво трясёт головой. — Только не вы!

— Так и есть.

— Почему же?

— Я покончил с этим. Теперь я занимаюсь другими делами.

Я всё ещё пытаюсь вспомнить, кто она такая, а у неё такое недоуменное выражение лица. — Но ведь это же... — Она обрывает

предложение. Пытается начать снова. — Вы же просто... — но и эта фраза остаётся незаконченной.

Следующим словом было бы “сумасшедший”. Но оба раза она вовремя спохватилась. Она что-то поняла, кусает губы и выглядит мертвенно бледной. Если бы я мог, я бы сказал что-нибудь, но никак не найду, с чего начать.

Я уже готов сказать, что не знаком с ней, но она вдруг встает и говорит: “Мне пора идти.” Кажется, она понимает, что я её не узнаю.

Она подходит к двери, торопливо и небрежно прощается. Когда дверь закрылась, её шаги быстро, почти бегом удаляются по залу. Входная дверь здания закрывается и в аудитории становится так же тихо, как и прежде, только осталось какое-то психологическое течение после её появления. И комната совершенно изменилась от этого. Теперь остался только привкус от её посещения, и то, за чем я сюда приходил, исчезло. Ну и хорошо, думаю я, поднимаясь, рад, что побывал здесь, но вряд ли мне когда-либо захочется видеть её снова. Лучше уж я буду чинить мотоциклы, и один уже ждёт меня. По пути на улицу я непроизвольно открываю ещё одну дверь. Там на стене я вижу нечто такое, отчего у меня по спине по-бежали мурашки.

Это картина. Я совсем забыл о ней, но теперь знаю, что это он купил и повесил её здесь. И вдруг я вспоминаю, что это — не оригинал картины, а литография, заказанная им из Нью-Йорка. И Ди-Виз хмуро смотрел на неё, потому что это был не оригинал, а ликтографии — это нечто от искусства, а не само искусство, различие, которого он не понимал в то время. Сама литография, “Церковь меньшинств” Фейнинджера, привлекала его не самим искусством как таковым, а её темой. Это был готический храм, созданный из полуабстрактных линий и плоскостей, цветов и оттенков, которые как бы отражали его зрительный образ Храма разума. Потому-то он и повесил её там. Теперь это всё вспоминается. Это был его кабинет. Вот это находка! Именно эту комнату я и искал!

Я вхожу внутрь, и вызванная толчком картины, на меня обрушивается лавина воспоминаний. Свет на картину падает из невзрачного загороженного окна в прилегающей стене, через которое он смотрел на долину и хребет Мэдисон за ней. Он наблюдал, как собираются тучи и плывут по долине сюда, ко мне, и до меня, через это окно, и вот... всё это началось, это сумасшедствие, вот тут! На этом самом месте! А вот эта дверь ведёт в кабинет Сары. Сара! Вот теперь вспоминаю! Она вошла с лейкой между двух дверей, проходя из коридора в свой кабинет, и сказала: “Надеюсь, вы учите своих студентов качеству”. И всё это певучим голосом дамы, которой осталось меньше года до пенсии, и которая намерена

поливать цветы. Вот тогда-то это и началось. Это был зародыш кристалла. Зародыш кристалла. Теперь нахлынул мощный прилив воспоминаний. Лаборатория. Органическая химия. Когда он работал с одним сверхнасыщенным раствором, случилось нечто подобное. Сверхнасыщенный раствор — это раствор, превысивший точку насыщения, когда вещество больше не растворяется. Это может случиться при нагреве раствора. Если растворять материал при высокой температуре, а затем его охладить, то вещество иногда не кристаллизуется, потому что молекулы не знают как. Им тогда нужен какой-то толчок, зародыш кристалла, какая-нибудь пылинка, или же надо просто поскрести или толкнуть сосуд, в котором он находится.

Он пошёл к крану с водой, чтобы охладить раствор, но так и не дошёл. Пока он шел, на его глазах в растворе появилась звезда из кристаллического вещества, которая стремительно и блестяще росла до тех пор, пока не заполнила весь сосуд. Он видел, как она растёт. Там, где прежде была только чистая жидкость теперь появилась такая густая масса, что можно перевернуть сосуд, и оттуда ничего не вытекает. Ему сказали только одну фразу: “Надеюсь, вы учите студентов качеству”, а уже через несколько месяцев, вырастая буквально на глазах, возникла огромная, сложная, высокоструктурированная масса мыслей, образовавшаяся как по волшебству. Не знаю, что он ответил на её реплику. Возможно, ничего. Она сновала туда-сюда позади его стула много раз в день, проходя к себе в кабинет. Иногда она произносила пару слов, извиняясь за беспокойство, иногда сообщала какие-то новости, и он привык к этому как к рутине учрежденческой жизни. Мне известно, что она подошла к нему ещё раз и спросила: “Вы действительно преподаёте качество в этой четверти?”. Он утвердительно кивнул, оглянулся, повернувшись на стуле, и ответил: “Несомненно!”, и она посеменила дальше. В это время он работал над конспектом лекции, и настроение у него было подавленное.

А угнетало его то, что текст, над которым он работал, был одним из самых рациональнейших по курсу риторики, и всё-таки не представлялся ему пригодным. Более того, он мог поговорить кое с кем из авторов, среди которых были сотрудники кафедры. Он задавал им вопросы, выслушивал их ответы, беседовал с ними, соглашался с их доводами в рациональном плане, но всё же у него оставалось чувство неудовлетворённости. Текст начинался с послышки, что, если уж вообще преподавать риторику на университетском уровне, то её следует преподавать как ветвь разума, а не как некое мистическое искусство. Поэтому она подчёркивала мастерство рационального основания общения, для того, чтобы понять лучше

риторику. Вводились понятия элементарной логики, основы теории стимула-реакции, и из этого выводилась последовательность понимания, как развивать эссе.

В первый год преподавательской практики Федра вполне устраивали эти рамки. Он чувствовал, что что-то здесь не так, но несоответствие заключалось не в приложении разума к риторике. Неправота состояла в старом призраке его мечтаний — в самой рациональности. Он понял, что это та же неправота, которая беспокоила его многие годы, та проблема, решения которой у него не было. Он просто чувствовал, что ни один писатель не научился писать таким прямолинейным, пронумерованным, объективным, методическим способом. И всё же, рациональность не предлагала ничего иного, и ничего тут нельзя было поделать, кроме как быть нерациональным. И если у него было только одно чёткое призвание в этом Храме разума — быть рациональным, то ему и пришлось удовлетвориться этим. Несколько дней спустя Сара снова просеменила мимо, остановилась и прощebetала: “Я так рада, что вы преподаёте качество в этой четверти. В наше время этим почти никто не занимается.”

— Так вот я его преподаю, — ответил он. — И намерен продолжать это дело.

— Прекрасно! — заметила она и посеменила прочь.

Он снова занялся своим конспектом, но вскоре ему стала мешать мысль о её странном замечании. Какого черта она толкует? Качество? Конечно же, он преподаёт качество. А кто поступает иначе? Он продолжил работу над конспектом. Ещё один аспект тревожил его — перспективная риторика, с которой вроде бы было покончено, но которая всё-таки оставалась в ходу. Дело было в старом вопросе о несогласованных определениях, за которые так много ругали. Правильная орфография, правильная пунктуация, правильная грамматика. Сотни придирчивых правил для придирчивых людей. Никто не в состоянии запомнить всю эту муру и сосредоточиться на том, что пишешь. Всё это застольные манеры, не продиктованные каким-либо чувством доброты, или приличия, или человечности, а прежде всего исходящие из эгоистического желания выглядеть господами и дамами. У дам и господ приличные застольные манеры, они грамматически правильно говорят и пишут. Это есть один из признаков высшего класса.

В Монтане такого впечатления это, однако, не производило. Вместо этого человека принимали за выскочку с востока. На факультете были минимальные предписанные правила риторики, но как и прочие преподаватели, он скрупулёзно избегал любой защиты предписанной

риторики, помимо той, что была изложена в “требованиях колледжа”.

Вскоре его снова потревожила мысль. Качество? В этом вопросе его что-то раздражало, даже сердило. Он подумал об этом, поразмыслил и посмотрел в окно, затем ещё раз подумал о том же. Качество?

Четыре часа спустя он всё ещё сидел там, положив ноги на подоконник и глядя теперь уже в тёмное небо. Зазвонил телефон, это была жена, которая спрашивала, что случилось. Он ответил ей, что скоро будет дома, но снова забыл об этом и всём остальном. И только в три часа утра он признался себе, что не имеет ни малейшего понятия о том, что такое качество, взял свой портфель и направился домой.

К тому времени большинство людей уже забыло о качестве или просто бросило заниматься им, ибо это ничего не давало, и им нужно было заниматься другими делами. И сам он был настолько расстроен своей неспособностью преподавать то, во что верил, что ему было совершенно наплевать на всё остальное, что ему полагалось делать, и когда он проснулся на следующее утро, качество смотрело на него в упор. Он поспал только три часа, так устал, что не смог читать лекцию в этот день, к тому же он так и не закончил конспект. Тогда он написал на доске: “Напишите очерк на 350 слов с ответом на вопрос “Что такое качество в мыслях и изложении?” Затем сел у радиатора, и пока они писали, стал думать о качестве сам.

Через час никто так и не закончил работы, и он разрешил им дописать её дома. Следующий урок в этом классе был только через два дня, и это давало ему возможность также подумать над вопросом. Во время перерыва он заметил кое-кого из студентов, гулявших между уроками, кивнул им, а в ответ получил сердитые или испуганные взгляды. Он подумал, что у них такие же трудности, что и у него.

Качество... вам известно, что это такое, и всё же вы не знаете, что это. И это противоречит самому себе. Ведь одни вещи лучше других, то есть они более качественны. Но если попробовать выразить, в чём же заключается качество, помимо тех вещей, которые обладают им, то всё летит кувырком! Тут даже не о чём говорить. Но если нельзя дать чёткое определение качества, то как узнать, что это такое, как можно выяснить, что оно вообще существует? Если никто не знает, что это такое, то оно практически не существует вообще. А ведь на практике оно всё-таки есть. На чём же тогда основываются сорта? Почему же тогда люди готовы заплатить целое состояние за одно и выбрасывают другое на помойку? Очевидно одни вещи лучше других... и всё же, в чем состоит их преимущество?... Итак, ты всё ходишь и ходишь кругами, вращаешь колёса

своих мыслей, но нигде не находишь сцепления. В чём же, чёрт побери, заключается качество? Что же это такое?

ЧАСТЬ III

Мы с Крисом хорошо выспались ночью, сегодня утром тщательно упаковали рюкзаки, и вот уже около часу идём вверх по склону горы. Лес здесь, на дне каньона, большей частью сосновый, иногда попадаются осины и широколистный кустарник. Крутые стены каньона поднимаются над нами по обе стороны. Иногда тропинка выходит на поросшую травой залитую солнцем полянку, на берегу потока, но вскоре снова уходит под густую тень сосняка. Земля на тропе покрыта мягким ковром сосновых иголок. Здесь очень тихо.

Такие горы, люди, путешествующие в горах, и события, которые происходят с ними, встречаются не только в литературе дзэн, но и в преданиях всех крупных религий. Вполне легко и естественно складывается аллегория физической горы и духовной, которая стоит между каждой душой и целью, к которой она стремится. Как и люди в долине позади нас, большинство находится в виду духовных вершин всю свою жизнь и никогда не ходит туда, довольствуясь рассказами тех, кто побывал там, и тем самым избегает тягот. Другие путешествуют в горах в сопровождении опытных проводников, которым известны лучшие и наименее опасные маршруты, по которым можно добраться до места назначения. Некоторые же, хоть и неопытны и не доверяют никому, пытаются прокладывать свой собственный путь. Немногие из них добиваются успеха, но иногда при сильной воле, удаче и милости божьей, кое-кому это удаётся. И добравшись туда, они, как никто другой, понимают, что нет единого пути или нескольких таких пустей. Их столько же, сколько и душ на свете.

Теперь мне хочется поговорить об изучении Федром смысла термина качество, исследовании, которое он рассматривал как путь среди духовных гор. Насколько мне удалось распутать, здесь есть две чёткие фазы.

В первой фазе он сделал попытку дать правильное, систематическое определение предмета разговора. Это была счастливая, наполненная и творческая фаза. Она продолжалась большую часть времени, пока он преподавал в школе в долине, оставшейся позади нас.

Вторая фаза возникла как результат нормальной интеллектуальной критики отсутствия определения того, о чем он ведёт речь. На этой фазе он делал систематические, жесткие сообщения о том, что такое качество, и разработал громадную иерархическую структуру мыслей в поддержку их.

Ему буквально пришлось перевернуть горы и небо, чтобы придти к такому систематическому пониманию, и когда он добился этого, то понял, что нашёл объяснение существования и нашего осознания его лучше, чем кто-либо до него.

Если это действительно новый путь через горы, то он именно тот, который нужен. Более чем три столетия старые пути, принятые в нашем полушарии, вымывались и почти стёрлись в результате естественной эрозии и изменения формы гор, вызванных научной истиной. Первопроходцы прокладывали пути на твёрдой почве при доступности, которая привлекала всех, а сейчас западные пути уже почти все закрыты из-за догматической неуступчивости перед лицом перемен. Если подвергнуть сомнению буквальный смысл слов Иисуса или Моисея, то это вызовет неодобрение большинства людей. Но так же остаётся фактом и то, что если бы Иисус и Моисей появились бы инкогнито сегодня с теми же самыми речами, то в их умственной устойчивости возникло бы сомнение. И это вовсе не потому, что сказанное ими неверно, или оттого, что современное общество заблуждается, но просто потому, что пути, избранные ими для просвещения других, утратили релевантность и осознанность. “Небеса над нами” тускнеют, когда в наш космический век сознание вопрошает: “А где это над нами?” И то, что старые пути из-за косности языковых средств стали утрачивать повседневный смысл и почти совсем заросли, вовсе не значит, что горы там больше нет. Она на месте и будет там до тех пор, пока существует сознание.

Вторая метафизическая фаза Федра закончилась полным крахом. Ещё до того, как ему к голове приставили электроды, он утратил всё существенное: деньги, собственность, детей, даже гражданских прав он был лишён по приговору суда. У него осталась лишь одинокая безумная мечта о качестве, да карта маршрута через горы, ради которой он пожертвовал всем. Затем, после подключения электродов, он утратил и это.

Я никогда не узнаю, что было у него в голове в то время, и этого не узнает никто. Сейчас лишь остались фрагменты: обломки, разрозненные записи, которые можно и собрать, но останутся огромные пространства без объяснений.

Когда я впервые обнаружил эти обломки, то почувствовал себя каким-то земледельцем на окраинах, скажем, Афин, под плугом которого иногда появляются камни с какими-то странными узорами на них. Я знал, что они представляют собой часть какой-то более крупной структуры, существовавшей в прошлом, но это было за пределами моего понимания. Вначале я намеренно избегал их, не обращал на них внимания, ибо знал,

что эти камни навлекли какие-то беды, которых мне следует сторониться. Но даже и тогда я сознавал, что они представляют собой часть огромной структуры мыслей, и втайне интересовался ими.

Позднее, когда у меня появилась уверенность в иммунитете к этой напасти, я стал интересоваться этими обломками более обстоятельно, начал делать аморфные наброски с них, то есть, не обращая внимания на форму, и в том порядке, в каком они мне попадались. Многие из этих аморфных суждений предоставили мне друзья. Теперь их набрались тысячи, и хоть только малая их часть годится для данной шаткуа, они всё-таки являются её основой.

Возможно, всё это очень далеко от того, что думал он. Пытаясь воссоздать всю структуру из осколков путём дедукции, я неизбежно наделаю ошибок и буду непоследователен, за что и должен просить снисхождения. Во многих случаях эти фрагменты весьма противоречивы, и их можно толковать по-разному. Если что-то получилось неверно, то вполне вероятно, что ошибка заключается не в его строе мыслей, а в том, как я их восстановил, и позднее можно будет восстановить их лучше.

Раздался какой-то шелест, и в деревьях исчезает куропатка.

— Ты видел? — спрашивает Крис.

— Да, — отвечаю я.

— Что это было?

— Куропатка.

— Откуда ты знаешь?

— В полёте они качаются вот так вот, — говорю я, хоть и не совсем уверенно, но звучит это правдоподобно. — И к тому же они держатся близко к земле.

— О, — протянул Крис, и мы продолжаем поход. Лучи солнца, пронизывающие кроны деревьев, создают ощущение храма.

Теперь же я хочу остановиться на первой фазе его похода за качеством, на неметафизической фазе, и это будет приятно. Хорошо начинать путешествия с удовольствием, хоть и знаешь, что они не закончатся таким же образом. Пользуясь его классными записями как справочным материалом, я хочу восстановить, как качество стало для него рабочей концепцией в преподавании риторики. Его вторая, метафизическая фаза, была шаткой и сомнительной, а первая фаза, на которой он просто преподавал риторику, была во всех отношениях прагматической и солидной и, пожалуй, судить о ней следует по её заслугам, независимо от второй фазы.

Он широко практиковал нововведения. У него возникали трудности со

студентами, которым нечего было сказать. Вначале он полагал, что это лень, но позднее стало очевидно, что это не так. Они просто не могли придумать, что говорить.

Одна из них, девушка в сильных очках, хотела написать эссе на 500 слов о Соединённых штатах. Он привык уже к упадническому чувству, возникавшему при таких намерениях, и, не отговаривая её, предложил ей лучше сузить тему только до Бозмена.

Когда подошёл срок, работы у неё не вышло, и она была довольно сильно расстроена этим. Она сказала, что пробовала и пыталась писать так и этак, но не смогла ничего придумать.

Он уже говорил о ней с другими преподавателями, и они подтвердили его впечатления о ней. Она была очень серьёзной, дисциплинированной и прилежной, но чрезвычайно тупой. В ней не было творческой искры. Глаза её за толстыми линзами очков были загнанными. Она вовсе не блефовала, она действительно не могла придумать, что бы ей такое рассказать, и очень расстраивалась из-за своей неспособности сделать то, что требуется.

Это просто обескуражило его. Теперь он сам не мог сообразить, что же ему сказать. Наступило молчание, и затем последовал своеобразный совет: “Ограничьтесь-ка только главной улицей Бозмена”. И это оказалось просто озарением.

Она покорно кивнула и вышла. Но перед следующим уроком она вернулась в совершенном отчаянии, со слезами, отчаяние это назревало у неё, очевидно, уже давно. Она ничего не смогла придумать и не понимала, почему, если она не может ничего сказать обо всём Бозмене, она должна суметь написать что-либо всего лишь об одной улице.

Он рассвирепел. “Вы просто не смотрите!” — заявил он. Ему вспомнилось, как его самого отчислили из университета за то, что он слишком много говорил. По каждому факту есть бесконечное множество гипотез. Чем больше смотришь, тем больше видишь. Она в действительности не смотрела и почему-то не сознавала этого.

Он сердито предложил ей: “Ограничьтесь тогда фасадом одного из зданий на главной улице Бозмена. На оперном театре. Начните с верхнего левого кирпича”.

Глаза её за толстыми стёклами очков широко раскрылись. На следующий урок она пришла с озабоченным взглядом и вручила ему эссе на пять тысяч слов о фасаде здания оперы на главной улице Бозмена, штат Монтана. “Я сидела в закусочной через дорогу, — писала она, — и начала описывать первый кирпич, затем второй, а на третьем кирпиче всё началось, и я не смогла остановиться. Они посчитали меня чокнутой и всё

время подтрунивали надо мной, но вот так оно получилось. Ничего не понимаю.”

Он тоже не понимал, но во время долгих прогулок по улицам города размышлял об этом и пришёл к выводу, что ей мешала та самая преграда, которая парализовала его в первый день его преподавательской деятельности. Она зациклилась, потому что пыталась повторить на письме то, что уже когда-то слышала, так же как и он сам в тот первый день пытался повторить то, что уже решил рассказать. Она не могла придумать, что бы ей написать о Бозмене, потому что не могла вспомнить ничего стоящего, что можно было бы повторить. Ей как-то не приходило в голову, что можно смотреть своим собственным свежим взглядом, и писать, не обращая внимания на то, что уже было сказано раньше. Ограничение темы одним кирпичом разрушило эту преграду, ибо стало очевидно, что ей нужно непосредственно увидеть нечто самой.

Он стал экспериментировать дальше. В одном из классов он предложил всем целый час писать о своём большом пальце. Все как-то странно посмотрели на него вначале, но все справились с заданием, и никто не жаловался на то, что “нечего писать”.

В другом классе он сменил тему с пальца на монету, и все студенты целый час писали ему об этом. В других классах было то же самое. Некоторые даже спрашивали: “А надо ли писать об обеих сторонах её?” Как только они уловили мысль о том, что следует смотреть самому непосредственно, они увидели, что нет предела тому, что можно сказать. Это оказалось также заданием по воспитанию уверенности в себе, ибо то, что они писали, хоть и казалось банальным, было все-таки их собственным творением, а не просто подражанием кому-то. Классы, где он давал это задание с монетой, также меньше скучали и проявляли гораздо больший интерес.

В результате экспериментов он пришёл к выводу, что зло заключалось именно в подражании, и от него следует избавиться, прежде чем начинать настоящее обучение риторике. Подражание же оказывалось внешним препятствием. Такого нет у маленьких детей. Оно как бы появляется позже, возможно, в результате школьного влияния.

Это казалось верным, и чем больше он думал, тем верней оно ему казалось. В школе вас учат подражать. Если не будете повторять то, что требует учитель, то получите плохую оценку. Здесь, в колледже всё, конечно, гораздо сложнее. Здесь надо подражать преподавателю так, чтобы убедить его, что вы не подражаете, а только вникаете в суть его разъяснений и идёте дальше своим собственным путём. Таким образом

получаете высший балл. Самостоятельность, с другой стороны, может привести к любой оценке: от высшей до минимальной. И вся система оценок настраивала против этого.

Он беседовал на эту тему с профессором психологии, который жил по соседству и был исключительно творческим преподавателем. Тот сказал: “Верно. Откажитесь от системы оценок и степеней, и тогда получите настоящее образование.”

Федр думал об этом, а когда несколько недель спустя одна очень толковая студентка не могла подобрать себе тему для курсовой работы, то он предложил ей эту мысль. Тема ей вначале не понравилась, но она всё-таки согласилась.

Неделю спустя она стала разговаривать об этом со всеми, а ещё через полмесяца она написала великолепную курсовую работу. Класс, где она сделала сообщение об этом, не имел всё-таки возможности поразмышлять об этом полмесяца, и воспринял мысль об отказе от оценок и степеней довольно враждебно. Однако, это вовсе не остановило её. Тон её обрёл прежний религиозный пыл. Она просто умоляла остальных студентов выслушать её, поднять, что это действительно верно. “Я говорю это не ради него, — заявила она, глянув на Федре. — Я говорю это ради вас самих.”

Умоляющий тон, одержимость, а также то, что она на вступительных экзаменах была одной из лучших на курсе, произвели на него большое впечатление. В следующей четверти, изучая курс “Убедительное письмо”, он выбрал эту тему в качестве демонстрационной, примера убедительного письма, которое он разработал сам, трудясь изо дня в день на виду у класса, и пользуясь его помощью.

Он использовал этот демонстрационный материал, чтобы не толковать о принципах композиции, по поводу которой у него были глубокие сомнения. Он чувствовал, что излагая классу свои собственные предложения по мере их составления, со всеми сомнениями, тупиками и исключениями, он даст более ясное представление о том, что же такое сочинительство. Вместо того, чтобы тратить время, взяв отрывки из готовой студенческой работы или подбирая законченные работы мастеров в качестве подражания. На этот раз он выработал аргумент, что следует отказаться от всей системы оценок и степеней, и чтобы вовлечь студентов в этот процесс, он не стал им ставить оценок в течение четверти.

Сейчас на самой кромке хребта виден снег. Хотя пешком до него надо идти несколько дней. Скалы под ним слишком круты, на них не взберёшься просто так, тем более с тяжёлым грузом, что у нас с собой. Кроме того, Крис слишком молод, чтобы пользоваться таким альпинистским

снаряжением как кошки и веревки. Нам нужно пересечь поросший лесом кряж, к которому мы сейчас подходим, войти в другой каньон, пройти по нему до конца и затем вернуться под восходящим углом вдоль хребта. До снега три тяжёлых дня. За четыре дня можно дойти легко. Если мы не вернёмся вовремя, Ди-Виз начнёт поиски.

Останавливаемся передохнуть, садимся и упираемся спиной в дерево, чтобы тяжёлая ноша не опрокинула нас назад. Немного погодя я протягиваю руку за спину, вынимаю из поклажи топорик и подаю его Крису.

— Видишь вон там две осины? Прямые? На краю? — я показываю на них. — Сруби их на высоте примерно фута от земли.

— Зачем?

— Они понадобятся нам как посохи, а затем пригодятся для палатки.

Крис берёт топорик, начинает подыматься, но затем снова садится. — Сруби сам.

Я беру топорик, иду туда и вырубаю жердины. Срубаю их сразу с одного удара, если не считать коры, которую приходится отделить крючком на обухе топорика. Наверху, в скалах, жерди понадобятся для равновесия, сосновые жерди для этого не годятся, а здесь, пожалуй, растут последние осиновые деревья. Меня, однако, несколько тревожит то, что Крис отказывается от работы. В горах это нехороший признак.

Небольшой отдых, и мы двигаем дальше. Чтобы привыкнуть к такой поклаже, нам понадобится некоторое время. На такой вес возникает отрицательная реакция. По мере продвижения дальше всё станет более естественным...

Аргументация Федра в пользу отмены системы оценок и зачетов вначале вызвала почти у всех студентов отрицательную реакцию, поскольку, на первый взгляд, она, казалось, подрывает всю университетскую систему. Один из студентов совершенно откровенно и прямо заявил ему: “Вы никак не можете отменить систему оценок и зачётов. Ведь, в конце концов, мы для этого сюда и пришли”.

И он сказал совершенную правду. Мысль о том, что большинство студентов посещает университет, чтобы получить образование независимо от степеней и категорий, несколько лицемерна, и никто не готов признать в этом. Иногда кое-кто из студентов приходит за образованием, но зубрёжка и механическая природа занятий в этом учреждении вскоре вырабатывают у них менее идеалистическое отношение к делу.

Демонстрационная программа была доводом к тому, что избавление от оценок и степеней разрушает это лицемерие. Вместо того, чтобы

заниматься общими местами, она имела отношение к конкретной карьере воображаемого студента, который более или менее был типичным представителем того, что было в аудитории, студента, полностью подготовленного к тому, чтобы работать для степени, которая как бы олицетворяет знания, а не ради самих знаний.

Демонстрационная программа содержала гипотезу, что такой студент приходит впервые в класс, получает первое задание и возможно по привычке выполняет его. Он может пойти и на второе, и на третье занятие. Но впоследствии новизна курса, естественно, исчезнет, потому что человек живёт не только академической жизнью, и под напором других обязательств или желаний складываются обстоятельства, когда он просто не в состоянии выполнить задание.

Поскольку не будет системы оценок и зачётов, то он не понесёт за это никакого наказания. Последующие лекции, предполагающие, что он выполнил задание, могут, однако, показаться несколько труднее в понимании, а эта трудность, в свою очередь, может ослабить интерес до такой степени, что он бросит и следующее задание, которое ему покажется довольно трудным. И снова никакого наказания.

Со временем он будет всё меньше и меньше понимать, о чем идет речь на лекциях, и ему будет всё труднее сосредоточиться на занятиях. В конце концов он поймёт, что с учёбой у него нелады, и с учётом посторонних обязательств, он прекращает заниматься совсем, чувствуя при этом угрызения совести, и перестаёт посещать занятия. И опять никакого наказания.

Так что же произошло? Студент, никого не огорчая при этом, просто отсеивается. Прекрасно! Так оно и должно быть. Прежде всего, он пришёл сюда не за настоящим образованием, и делать ему тут было нечего. При этом сэкономлено много денег и трудов, а на нем не будет печати неудачника, которая может преследовать его всю оставшуюся жизнь. Мосты вовсе не сожжены.

Самая большая проблема такого студента состояла в рабской ментальности, воспитанной в нём годами системой кнута и пряника, ментальностью мула, который говорил: “Если меня не бить, то работать я не буду”. Но его не били. Он и не работал. И телега цивилизации, которую его якобы готовили тянуть, будет скрипеть дальше, может чуть медленнее, но уже без него.

Однако, если предположить, что телегу цивилизации, “систему”, тянут мулы, то это трагедия. Это распространённая, профессиональная, “местная” точка зрения, но это не храмовое отношение.

Отношение храма состоит в том, что цивилизации, или “системе”, или “обществу”, как бы её не называли, лучше всего служат не мулы, а свободные люди. Цель избавления от оценок и степеней состоит не в том, чтобы наказать мулов или убрать их совсем, а в том, чтобы создать им такую среду, в которой мул мог бы превратиться в свободного человека.

Гипотетический студент, оставаясь мулом, ещё немного поболтается в университете. Он получит образование другого рода, такое же ценное, от какого он отказался, там, что раньше называлось “школой синяков и шишек”. Вместо того, чтобы тратить деньги и время в качестве престижного мула, он найдёт себе работу в качестве непрестижного мула, возможно механика. В действительности его настоящий статус подыметься. Ведь он будет приносить хоть какую-то пользу. Возможно, он будет заниматься этим всю оставшуюся жизнь. Может быть, он так и найдёт свой уровень. Но на это рассчитывать нельзя.

Со временем, может через полгода, а может через пять лет, вполне легко могут наступить перемены. Его всё меньше и меньше будет удовлетворять тупая повседневная работа на производстве. Его творческие способности, придавленные чрезмерным количеством теории и оценок в колледже, теперь вновь проснутся из-за будничной работы. Тысячи часов работы по решению трудных механических проблем теперь выявляют в нём больше интереса к конструкции машин. Ему теперь хочется конструировать машины самому. Он полагает, что смог бы делать это лучше. Он попытается модернизировать несколько двигателей, добьётся успеха, попытается добиться большего, но встретится с трудностями из-за нехватки теоретических знаний. Он обнаружит, что раньше чувствовал себя глупым из-за отсутствия интереса к теории, а теперь нашёл такого рода теоретические сведения, которые внушают ему большое уважение, а именно: инженерную механику.

И теперь он вернётся в нашу школу без степеней и оценок, но уже совсем другим человеком. Его уже не будут интересовать оценки и звания. Его будут интересовать знания. Чтобы познавать, ему не нужно будет никакого внешнего стимула. Стимул теперь кроется у него внутри. Он будет свободным человеком. Ему уже не нужны дисциплинарные меры воспитания. Более того, если приставленные к нему преподаватели будут недостаточно строги, то он будет воспитывать их, задавая грубые вопросы. Он ведь пришёл сюда чему-то научиться, платит за то, чтобы выучиться, и будьте любезны ему это предоставить.

Мотивация такого рода, если уж возникла, то представляет собой свирепую силу, и в учебном заведении без степеней и оценок его не

остановит зубрёжка инженерных сведений. В сферу его интересов теперь войдут физика и математика, потому что он чувствует в них потребность. Его внимание привлекут металлургия и электротехника. И в процессе интеллектуального возмужания, которое происходит при изучении этих абстрактных дисциплин, он может заняться и другими теоретическими областями, которые не имеют прямого отношения к машинам, но уже станут частью новой, более крупной цели. Более крупной целью будет не имитация образования в современных университетах, прикрытая и припудренная оценками и степенями, которые создают впечатление, что происходит нечто, тогда как на самом деле почти ничего нет. Это уже будет настоящее дело.

Вот таков был демонстратор Федра, его непопулярный аргумент, а он работал над ним целую четверть, строя и перестраивая его, укрепляя и защищая его. В течение всей четверти он возвращал студентам контрольные работы без оценок, но с комментариями, хотя в журнал оценки всё-таки ставились.

Как я уже говорил, в начале почти все были несколько обескуражены. Большинство, вероятно, посчитало, что им попался какой-то идеалист, который считает, что отказ от оценок подымет им дух, и они станут работать усерднее, тогда как очевидно, что без оценок все будут отлынивать от работы. Многие отличники вначале отнеслись к этому с презрением и гневом, но в результате приобретённой самодисциплины пошли дальше и всё-таки работу выполняли. Хорошисты и крепкие середнячки пропустили несколько заданий или же стали заниматься кое-как. Многие из отстающих вообще перестали посещать занятия. В это время другой преподаватель спросил его, что он собирается делать по этому поводу.

— Переждём, — ответил он.

Отсутствие строгости вначале озадачило студентов, затем они стали подозрительными. Некоторые стали задавать саркастические вопросы. На них давались мягкие ответы, лекции и семинары продолжались по-прежнему, только без оценок.

Затем начались сбываться ожидания. На третьей или четвертой неделе кое-кто из отличников стал нервничать, выдавать великолепную работу, оставаться после уроков и задавать вопросы, наводящие на ответ о том, как он успевает. Средняки и хорошисты заметили это, стали понемногу шевелиться и довели уровень занятий до обычной планки. Отстающие же начали посещать уроки, чтобы выяснить, что там происходит.

Когда прошла половина четверти, появился ещё более

обнадеживающий феномен. Отличники перестали нервничать и начали активно участвовать во всех мероприятиях с необычным для получающих отметки студентов дружелюбием. Хорошисты и середняки запаниковали и стали выдавать такую работу, на которую требовалось много часов упорного труда. Отстающие стали заниматься удовлетворительно.

В конце четверти, когда обычно уже все знают, какая у них будет отметка, и проводят время в полудрёме, студенты Федра занимались так, что другие преподаватели стали обращать на это внимание. Хорошисты и середняки подтянулись к отличникам и стали очень активно и дружески участвовать во всём. И только двоечники как бы примерзли к партам в полнейшей внутренней панике.

Явление раскрепощённости и дружелюбия ему потом объяснила пара студентов которые сообщили ему: “Многие из нас собирались вне класса, чтобы обсудить, как обойти эту систему. Все пришли к выводу, что вы всё равно провалите это начинание, и тогда вам придётся вернуться к старому. Вот тогда-то мы и перестали волноваться. Иначе же просто можно сойти с ума!”

Студенты также добавили, что как только привыкнешь, то не так уж и плохо, начинаешь больше интересоваться предметом, но повторяли, что привыкнуть не так-то уж и легко.

В конце четверти студентам предложили написать эссе с оценкой системы. Никто из них во время написания не знал, какую получит оценку. Пятьдесят четыре процента выступили против. Тридцать семь процентов поддержали. Девять процентов остались нейтральными.

Система “один человек — один голос” оказалась непопулярной. Большинство студентов определённо хотело получать оценки по ходу работы. Но когда Федр сравнил результаты с оценками в журнале, и они не разошлись с предыдущим курсом и результатами вступительных экзаменов, то возникла совсем другая картина. Отличники в соотношении два к одному поддержали систему. Средняки и хорошисты разделились поровну. А отстающие поголовно были против неё!

Этот удивительный результат подтвердил его давнишнюю догадку: меньше всего желали оценок самые умные, серьёзные студенты, ибо их больше интересовал сам материал курса, а тупые и ленивые студенты больше всего хотели получать оценки, возможно потому, что оценки свидетельствовали об их успехах.

Как говорил Ди-Виз, идя отсюда строго на юг на протяжении семидесяти пяти миль, не встретишь ничего кроме лесов и снега, нет ни одной дороги, хотя на запад и восток дороги есть. Я устроил так, что, если

дела пойдут плохо, то в конце второго дня мы окажемся вблизи дороги, по которой довольно быстро можно будет вернуться назад. Крис об этом не знает, и если сказать ему об этом, то это оскорбит его приобретённый в детском лагере дух приключенчества, но уже после нескольких походов в горы дух приключений выветривается и появляется осознание более существенных выгод при снижении степени риска. В этих краях могут быть опасности. Стоит только сделать один неверный шаг из миллиона, растянуть лодыжку, и тогда поймёшь, насколько далеко ты в самом деле оказался от цивилизации.

Очевидно, в этот каньон ходят довольно редко. Ещё через час пути мы замечаем, что тропа почти совсем исчезла.

Согласно записям, Федр считал, что отказ от оценок пошёл на пользу, но не выявлял научной ценности опыта. При настоящем эксперименте надо сохранить неизменными все мыслимые причины, кроме одной, и затем понаблюдать, к чему приводит изменение этой единственной причины. В аудитории этого сделать нельзя. Знания студентов, их отношение к работе, отношение преподавателя, всё это меняется в зависимости от разного рода причин, которые не поддаются контролю и большей частью неизвестны. К тому же и сам исследователь в данном случае также является одной из причин и никак не может судить о последствиях, не меняя их. Поэтому он и не стремился делать каких-либо жёстких выводов из всего этого, он просто шёл вперёд и делал то, что ему нравилось.

Переход от этого опыта к исследованию качества произошёл из-за появления зловещего аспекта оценки знаний после отказа от выставления отметок. Оценки по существу прикрывают неспособность учить. Плохой преподаватель может провести целую четверть, не вложив ничего толкового в умы студентов, строить кривые по несущественным контрольным, и останется впечатление, что кое-кто что-то выучил, а кто-то нет. И если отказаться от отметок, то учащиеся вынуждены ежедневно задаваться вопросом, чему же всё-таки они научились. Возникают зловещие вопросы: “Чему учат? Какова цель? Как лекции и задания выполняют эту цель?” Отказ от отметок обнажает громадный устрашающий вакуум.

Чего же всё-таки пытался добиться Федр? По мере продвижения работы этот вопрос назревал всё острее и острее. Ответ, который казался правильным в начале работы, теперь всё больше и больше терял смысл. Он хотел, чтобы его студенты стали творческими личностями и решали сами, что такое хорошее письмо, а не спрашивали его об этом всё время. Подлинная цель отказа от отметок состояла в том, чтобы заставить их

заглянуть в себя, единственное место, где вообще можно найти правильный ответ.

Но теперь это теряло смысл. Если они уже знают, что такое хорошо и что такое плохо, то зачем им тогда вообще нужен этот курс. Сам факт, что они находятся тут в качестве студентов, предполагает, что им неизвестно, что такое хорошо, и что такое плохо. И его работа состоит в том, чтобы говорить им об этом. Сама мысль об индивидуальном творчестве и самовыражении в классе по существу противостоит всему смыслу существования университета.

Многие студенты при таком отказе от оценок оказывались в кафкианской ситуации, когда их будут наказывать за то, что они чего-то не сделали, но им никто не говорит, что же они должны делать. Они вглядывались в себя и ничего не видели, смотрели на Федра и тоже ничего не видели, оставаясь беспомощными и не зная, как им быть дальше. Такой вакуум был смертельно опасен. У одной девушки случился нервный срыв. Нельзя же ведь без всяких оценок просто сидеть и создавать бесцельный вакуум. Надо предоставить классу какую-то цель, ради которой он бы работал, чтобы заполнить этот вакуум. А этого-то он и не делал.

Не мог он. Он никак не мог придумать, как сказать им, ради чего надо работать, чтобы не попасть в ловушку авторитарного, дидактического обучения. А разве можно изложить на доске таинственную внутреннюю цель каждой творческой личности?

В следующую четверть он отказался от этой идеи и вернулся к обычной системе оценок, обескураженный, сбитый с толку, чувствуя, что он прав, и всё же всё пошло как-то кувырком. Если в классе случалось нечто спонтанное, индивидуальное и по настоящему хорошее, то это происходило вопреки наставлениям, а не в результате их. И это, казалось, так и должно быть. Он был уже готов уйти с работы. Учить ненавистных студентов скучному конформизму — этого ему вовсе не хотелось.

Он слышал, что в колледже Рид в Орегоне отказались от отметок до выпускных экзаменов, во время летних каникул поехал туда, но ему сказали, что у преподавателей нет единого мнения о ценности отказа от отметок, и никто в общем-то не был в восторге от этой системы. Остальную часть лета он провёл в угнетённом и подавленном настроении. Они с женой много ходили в походы по этим горам. Она постоянно спрашивала его, отчего он всё время молчит, а он ничего не мог ей ответить. Он просто затормозился. Выжидал. Ждал недостающего зародыша кристалла мысли, который вдруг всё скрепит и утвердит.

У Криса что-то не ладится. Какое-то время он шёл впереди меня, а теперь сидит под деревом и отдыхает. Он не смотрит на меня, и поэтому я знаю, что дело плохо. Я подсаживаюсь к нему, но у него отсутствующее выражение лица. Оно у него красное, и я вижу, что он утомился. Мы сидим и слушаем, как ветер шумит в соснах.

Я знаю, что в конце концов он встанет и пойдёт дальше, но он не знает этого и боится столкнуться с возможностью того, что пугает его: что в конечном итоге он не сможет одолеть гору. Я вспоминаю, что Федр писал об этих горах и рассказываю об этом Крису.

Много лет тому назад, — говорю я, — мы с мамой побывали на границе снегов неподалёку отсюда и разбили лагерь рядом с озером, с одной стороны которого было болото. Он не поднимает взора, но слушает.

На рассвете мы услышали шум падающих камней и подумали, что это какой-нибудь зверь, только звери обычно избегают та-кого шума. Затем я услышал какой-то чмокающий звук в болоте, и тут мы по настоящему проснулись. Я осторожно выбрался из спального мешка, вынул из кармана куртки пистолет и присел у дерева.

Внимание Криса теперь отвлеклось от его собственных проблем.

Раздалось новое чмокание, — продолжаю я, — я подумал, что какие-то пижоны навьючивают лошадей, но не в этот же час. Ещё один всплеск! И громкий чвак! Это не лошадь! И снова чвак и ЧВАК! И вот в смутной серой предрассветной мгле через трясины болота прямо на меня выходит такой огромный лось, каких я ещё не видел. Рога у него были шириной в рост человека. После медведя гризли это самый опасный зверь в горах. А некоторые говорят, что опаснее его нет.

Глаза у Криса снова засветились.

ЧВАК! Я взвёл курок пистолета, полагая, что мой тридцать восьмой специальный не очень-то годится против лося. ЧВАК! Он меня не видит! ЧВАК! Я не могу уйти с его пути. Мама твоя лежит в спальном мешке прямо на его пути. ЧВАК! Какой ГИГАНТ! ЧВАК! Он всего лишь в десяти ярдах! ЧВАК! Я встаю и прицеливаюсь. ЧВАК!.. ЧВАК!.. ЧВАК!.. Он останавливается в ТРЁХ ЯРДАХ от меня, и тут замечает человека... Мушка прицела остановилась у него между глаз... Мы оба замираем... Я протягиваю руку к рюкзаку и достаю сыру.

— И что же дальше? — спрашивает Крис.

— Погоди, я отрежу сыру.

Вынимаю охотничий нож, держу сыр в обертке так, чтобы не касаться его пальцами. Отрезаю кусок толщиной в четверть дюйма и протягиваю его ему.

Он берёт его. — И что же случилось?

Я смотрю, как он откусывает. — Лось-самец смотрел на меня должно быть секунд пять. Затем он глянул на твою мать. Затем снова посмотрел на меня, а пистолет чуть ли не касался его большого круглого носа. Тогда он улыбнулся и медленно побрёл прочь.

— Ну да, — произнёс Крис. Вид у него разочарованный.

Обычно, если они сталкиваются таким образом, то нападают, — продолжаю я, — но он просто подумал, что утро чудесное, что мы у него первые, так что чего волноваться? Вот поэтому он и улыбался.

— Разве они улыбаются?

— Нет, но у него был такой вид.

Я убираю сыр и продолжаю: “Позднее в тот же день мы прыгали в валуна на валун, спускаясь по склону. Я чуть было не ступил на большой коричневый валун, как он вдруг взлетел в воздух и убежал в лес. Это был тот же самый лось... Полагаю, мы изрядно надоели ему в тот день”.

Я помогаю Крису подняться на ноги. — Ты шёл слишком быстро. Теперь склон становится круче, и надо идти помедленнее. Если пойдёшь быстро, то запыхаешься, а если запыхаешься, начнет кружиться голова, падаешь духом и думаешь: “Не смогу”. Так что убавь шаг на некоторое время.

— Я пойду сзади, — отвечает он.

— Хорошо.

Теперь мы бредём прочь от ручья, вдоль которого шли, по склону каньона под минимально возможным углом. По горам надо лазить с наименьшим усилием безо всяких желаний. Скорость должна определяться действительностью вашей натуры. Если начинаешь беспокоиться, ускорь шаг. Если запыхался, сбавь. В гору поднимаешься при равновесии между беспокойством и утомлённостью. Тогда, если больше не задумываешься о будущем, то каждый шаг уже больше не средство продвижения к цели, а уникальное явление само по себе. У этого ли-ста зазубренные края. Вот этот камень, кажется, шатается. Вот с этого места снег виден меньше, хотя он и ближе. И такие вещи во всяком случае следует замечать. Слишком мелко жить только ради какой-то цели в будущем. Жизнь поддерживают именно склоны горы, а не вершина. Именно здесь всё и растёт. Но, естественно, без вершины не бывает склонов. Именно вершина определяет

склоны. Итак, мы бредём... дорога длинная... торопиться некуда... шаг за шагом... а в качестве развлечения небольшая шатокуа... Умственное упражнение гораздо интереснее телевизора, жаль, что на него не переключается больше людей. Они, возможно, полагают, то, что они слышат — неважно, но ведь так не бывает.

Вот большой отрывок, относящийся к первому классу Федра, после того, как он ему дал задание: “Что такое качество в мыслях и изложении?” Атмосфера просто накалилась. Почти всех раздражал и ставил в тупик этот вопрос, точно так же как и его самого ещё раньше.

— Откуда нам знать, что такое качество? — вопрошали они. — Это вы нам должны рассказать!

Тогда он сказал, что тоже не может этого понять, но что ему очень хочется выяснить. Он и задание-то дал такое потому, что надеется получить хороший ответ от кого-либо. И тогда загорелось. Комнату потряс возмущённый рёв. Не успел он утихнуть, как какой-то преподаватель заглянул в дверь, чтобы выяснить, в чём дело.

— Всё в порядке, — успокоил его Федр. — Мы случайно натолкнулись на настоящий вопрос, и теперь просто трудно прийти в себя. — Кое-кто из студентов с любопытством отнёсся к такому заявлению, и шум постепенно утих.

Тогда он воспользовался этим, чтобы вкратце вернуться к теме: “Коррупция и упадок в Храме разума”. Он заявил, что мерой такой коррупции должно стать негодование студентов, если кто-то попытается воспользоваться ими в поисках истины. Следует притворяться, что ищешь истину, имитировать этот поиск. А практический поиск её — лишь проклятое надувательство. Дело в том, сказал он, что ему искренне хочется узнать, что они думают, но не для того, чтобы выставить оценку, а просто потому что ему хочется знать это.

Это их озадачило.

— Я просидел над этим всю ночь, — сказал один.

— Я так расстроилась, что готова была заплакать, — сообщила девушка у окна.

— Вам следовало предупредить нас, — сказал третий.

— Как же мог я предупредить вас, — возразил он, — если я и понятия не имел, как вы отреагируете?

На некоторых лицах озабоченность стала вытесняться первыми проблесками. Он ведь не шутит. Ему действительно хочется знать.

Очень своеобразный человек.

Тогда кто-то спросил: “А сами-то вы что думаете?”

— Не знаю, — ответил он.

— Но что-то вы всё-таки думаете?

Он надолго задумался. — Думаю, что существует такая вещь, как качество, но как только попытаешься дать ей определение, то происходит нечто непонятное. Ничего не выходит. Гул одобрения.

Он продолжал: “Почему это так, я не знаю. Я думал, что найду какую-нибудь подсказку в ваших работах. Просто не знаю.” На этот раз замолчал класс.

В следующем классе тоже возникла суматоха, но несколько студентов в каждом классе вполне дружелюбно предложило ему варианты ответов, из чего он понял, что происшедшее в первом классе обсуждалось во время большой перемены. Несколько дней спустя он выработал своё собственное определение и записал его на доске, чтобы потомки могли скопировать его. Определение было следующим: “Качество — это такая характеристика мышления и изложения, которая распознаётся не-мыслительным процессом. Поскольку определения — продукт жесткого, формального мышления, то качество не поддаётся определению”.

Тот факт, что это “определение” по существу представляло собой отказ от его формулировки, замечаний не вызвал. У студентов не было достаточной подготовки, чтобы возразить ему в том плане, что формально его заявление совершенно нерационально. Если нельзя дать определение чего-либо, то нет и формального пути выяснить, что оно вообще существует. И в действительности нельзя рассказать кому-либо, что это такое. По существу нет формальной разницы между неспособностью определить что-либо и тупостью. Когда я говорю: “Качество нельзя определить”, то практически признаюсь: “Я совершенно туп в вопросах качества”.

К счастью, студенты не знали этого. Если бы они привели ему такие возражения, то в то время он не смог бы им ничего ответить.

Затем под тем же определением на доске он написал: “Но да-же если качество и нельзя определить, то вы все равно знаете, что это такое!” И снова началась буря.

— Да нет, не знаем!

— Нет, знаете.

— Нет, не знаем же!

— Непременно знаете! — парировал он и предоставил им некоторый материал, чтобы продемонстрировать это. Он взял в качестве примера два сочинения студентов. Первое было аляповатым, несобраным, содержащим интересные мысли, но не складывающимся во что-то конкретное. Второе

было прекрасной работой студента, который сам никак не мог понять, почему это у него вышло так хорошо. Федр зачитал их оба, и попросил поднять руки тех, кто считает, что первое было лучшим. Поднялись две руки. Тогда он спросил, кому больше понравилось второе. Руки подняли двадцать восемь человек.

— Вот то самое, — заключил он, — что заставило подавляющее большинство из вас поднять руку в пользу второго сочинения, и есть то, что я называю качеством. Так что и вы знаете, что это такое.

Снова воцарилась задумчивая тишина, и он на этом закончил. В интеллектуальном плане это было просто возмутительно, и ему это было известно. Он уже больше не учил, а просто навязывал доктрины. Создал воображаемое образование, определил его как неподдающееся определению, несмотря на протесты студентов сообщил им, что им известно, что это такое, и продемонстрировал им это так же путано логически, как и сам термин. И ему это удалось потому, что для логического опровержения требовался такой талант, какого у студентов не оказалось. В последующие дни он постоянно приглашал их дать опровержение, но такового не последовало. Тогда он стал импровизировать дальше. Чтобы закрепить мысль о том, что они уже знают, что такое качество, он разработал такую методику. Он зачитывал в классе четыре сочинения студентов, и предлагал им на листке бумаги расположить их по порядку в соответствии с качеством. Сам он проделал то же самое. Собрал листочки, расписал результаты на доске и вывел среднюю оценку всего класса. Затем он открывал свои отметки, и они почти всегда были очень близки, если не идентичны, средним оценкам класса. Если расхождения и были, то обычно это касалось сочинений близких по качеству. Вначале такое упражнение заинтересовало всех, но со временем им это надоело. Стало совершенно очевидно, что он имел в виду под качеством. Также очевидно, что они тоже знают это, и поэтому они потеряли интерес к дальнейшему. Теперь у них возник другой вопрос: “Ну хорошо, мы знаем, что такое качество. А как же его добиться?”

И вот теперь, наконец, в дело вступили стандартные тексты по риторике. Излагаемые в них принципы больше не представляли собой правил, которые надо опровергать, не аксиомы сами по себе, а просто технику, намёки к производству того, с чем действительно стоит считаться и что не зависит от любой техники, — качество. То, что началось как ересь по отношению к традиционной риторике, теперь обернулось прекрасным введением в неё. Он выделял такие аспекты качества как единство, наглядность, авторитетность, экономность, чувственность, ясность,

рельефность, слитность, загадочность, блеск, точность, пропорциональность, глубина и т. д., каждый из этих аспектов он считал слабо выраженным определением качества, и демонстрировал их той же самой техникой чтения в классе. Он показывал, как аспект качества, называемый единство, собранность повествования, можно улучшить при помощи техники, называемой план. Авторитетность аргументации можно подкрепить техникой, называемой ссылками, где приводятся авторитетные источники. Планы и ссылки — это стандартные аспекты, которые преподают на всех младших курсах по композиции, но теперь, как средство улучшения качества, они обрели определённую целенаправленность. И сейчас, если студент приводил кучу неуместных ссылок или давал неряшливый план, это показывало, что он выполняет задание необдуманно, ему можно было сказать, что, хотя его работа и соответствует букве задания, она, очевидно, не достигает цели качества, и поэтому никчёмна.

Теперь в ответ на извечный вопрос студента “Как мне это делать?”, который прежде доводил его чуть ли не отчаяния, он мог ответить: “Нет никакой разницы в том, как это делать! Просто должно быть хорошо!” Неудовлетворённый студент мог спросить в классе “Да как же узнать, что это хорошо?” Но не успеет он произнести это, как ответ ему уже готов. Другой студент обычно ответит ему: “Да и так видно”. Если же он скажет: “Нет, не вижу”, ему ответят: “Непременно видишь, он ведь доказал это”. И студент окончательно и полностью попадает в ловушку, ему приходится выносить собственные суждения о качестве. И именно таким образом, и никак иначе он выучивается писать.

До сих пор академическая система вынуждала Федра говорить, что ему нужно от студентов, даже если он сознавал, что это заставляет их подстраиваться к искусственным формам, которые разрушают их собственное творчество. Студенты, соблюдавшие правила, позже были обречены на неспособность к творчеству и не могли делать работу, отражавшую их собственные мерки того, что хорошо.

Теперь с этим покончено. Он нашёл выход, перевернув наоборот основное правило о том, что всё,

Существует целая ветвь философии, относящаяся к определению качества, известная под названием эстетика. Её вопрос:

“Что подразумевают под красотой?” уходит корнями в античность. Но когда Федр сам изучал философию, он упорно отмахивался от всей этой области знания. Однажды он преднамеренно чуть ли не провалил один из курсов, который посещал, и написал несколько работ, в которых подверг преподавателя и материалы жесточайшим нападкам. Он ненавидел и хулил всё. Эта реакция не была вызвана каким-либо конкретным эстетом. Это касалось всех их. Его возмущала не какая-нибудь конкретная точка зрения, а прежде всего сама мысль о том, что качество следует подчинить любой точке зрения. Интеллектуальный процесс низводил качество в рабское положение, prostituting его. Думается, в этом и был источник его гнева. В одной из своих работ он писал: “Эстеты полагают, что их предметом является некоторого рода мятный леденец, который им полагается мусолить своими жирными губами, нечто, предназначенное к пожиранию, то, что можно интеллектуально резать ножом, тыкать вилкой и хлебать ложкой раз за разом под соответствующие смачные возгласы, а меня от этого тошнит. Они мусолят ту тухлятину, которую убили давным давно.” Теперь, на первом этапе процесса кристаллизации, он увидел, что, если качество оставить без определения, то вся область, называемая эстетикой, сметается... лишается всяческих прав... капут. Отказываясь дать определение качеству, он поместил его полностью вне аналитического процесса. Но если нельзя дать определения качества, то его нельзя и подчинить какому-либо интеллектуальному правилу. И эстетам больше нечего сказать. Тогда исчезает вся область определения качества. Мысль об этом просто очаровала его. Это походило на открытие лечения рака. Не нужно больше никаких объяснений, что же такое искусство. Не нужно больше чудодейственных критических школ со специалистами по рациональному определению того, где тот или иной композитор преуспел или потерпел неудачу. И всем им, распоследнему из всезнаек, наконец придётся заткнуться. Это больше не было интересной мыслью, это стало его мечтой.

Вряд ли вначале кто-либо вообще понимал, что он затеял. Они усмотрели в этом лишь интеллектуальное преподнесение со-общения со всеми атрибутами рационального анализа в процессе обучения. Они совсем

не понимали, что его цель совершенно противоположна тому, к чему они привыкли. Он вовсе не содействовал рациональному анализу. Он блокировал его. Он оборачивал метод рациональности против самого себя, обращая его против своих в защиту концепции иррациональности, неопределённого формирования, называемого качеством. Он писал: “1) Любому преподавателю композиции в английском языке известно, что такое качество. (И любой, кто этого не знает, должен тщательно скрывать это, иначе оно будет доказательством некомпетентности.) 2) Любой преподаватель, считающий, что качество письма можно и следует определить до преподавания, должен заняться этим и дать такое определение. 3) Все, кто считает, что качества письма как такового не существует, и что его нельзя определить, но качеству всё равно следует учить, могут воспользоваться следующим методом обучения чистому качеству письма, не давая такого определения.” Затем он продолжил и дал описание нескольких методов сравнения, которые выявились в аудитории. Думаю, он надеялся, что кто-либо выступит, бросит ему вызов и попытается дать определение качества. Но никто так этого и не сделал.

Однако это небольшое замечание в скобках о неспособности распознать качество как доказательство некомпетентности вызвало некоторое удивление на факультете. Ведь он был всего навсего ассистентом, и от него ещё не ожидалось, что он будет устанавливать стандарты работы для своих старших коллег. Они ценили право высказываться, и старшие сотрудники вроде бы даже радовались тому, что он мыслит независимо, и поддерживали его по храмовому. Но вопреки убеждениям многих противников академической свободы отношение храма вовсе не состояло в том, чтобы потакать учителю, когда он болтает, что ему придёт в голову, безо всякого над тем надзора. Храмовое отношение состоит просто в том, что отчитываться надо Божееству разума, а не идолам политической власти. То, что он оскорбляет людей, не имеет отношения к достоверности или ложности того, о чём он говорит, и по законам этики его нельзя за это наказывать. Но за что они готовы были побить его, вполне этично и с воодушевлением, так это за то, что в его высказываниях нет смысла. Ему можно было делать всё, что угодно, если это только оправдано с точки зрения разума.

Но как, черт побери, можно оправдать что-либо с точки зрения разума, если отказываешься давать какое-либо определение? Основанием разума являются определения. Без них нельзя рассуждать. Некоторое время можно сдерживать нападки, выписывая замысловатые диалектические пируэты и бросая оскорбления по по-воду компетентности и некомпетентности, но

рано или поздно придётся подавать нечто более существенное. Попытка привнести нечто посущественней привела к дальнейшей кристаллизации за пределами традиционных рамок риторики и уводила в сферу философии.

Крис оборачивается и бросает на меня мученический взгляд. Теперь уж осталось недолго. Ещё до того, как мы тронулись, были признаки того, что это случится. Когда Ди-Виз говорил одному соседу, что у меня есть опыт походов горы, Крис просто вспыхнул от восхищения. На его взгляд это значило много. Вскоре он выдохнется, и тогда можно будет делать привал. Ух! Вот оно. Он упал. Не встаёт. Упал он весьма удачно, не очень-то похоже на случайное падение. Теперь он сердито смотрит на меня и ждёт осуждения с моей стороны. Я же этого не сделаю. Я сажусь рядом с ним и вижу, что он почти совсем сдался.

— Так вот, — говорю я, — можно сделать здесь привал, можно идти дальше, а можно вернуться назад. Что ты предпочитаешь?

— Всё равно, — отвечает он. — Мне не хочется...

— Не хочется чего?

— Наплевать! — сердито отвечает он.

— Раз тебе наплевать, то пойдём дальше, — ловлю его на слове.

— Не нравится мне этот поход, — отвечает он. — Никакого удовольствия. Я думал, будет интересно. Меня неожиданно охватывает гнев. — Может, это и так, — отвечаю я, — но разве можно говорить такое. — Когда он подымается, я замечаю проблеск страха в его взгляде.

Идём дальше.

Небо над противоположным берегом каньона заволокло, а ветер среди сосен стал прохладным и зловещим. По крайней мере, когда прохладно, легче идти...

Я уже вёл речь о первой волне кристаллизации помимо тех разговоров, которые были вызваны отказом Федра дать определение качества. Ему надо было ответить на вопрос: “Если вы не можете дать его определения, то почему же считаете, что оно существует?”

Он на это давал старый ответ, который принадлежал философской школе, называвшей себя реализмом. Он говорил: “Если мир не может нормально существовать без чего-либо, то оно есть. Если можно показать, что мир функционирует без качества ненормально, то мы доказали, что оно существует, независимо от того, дано ли ему определение или нет”. Затем он переходил к изъятию качества из известного нам сейчас описания мира.

— Первой жертвой такого изъятия, — утверждал он, — были бы изящные искусства. Если в искусстве нельзя провести различий между хорошим и плохим, то оно исчезает. Нет никакого смысла вешать картину

на стену, если голая стена смотрится ничуть не хуже без неё. Зачем нужны симфонии, если скрип пластинки или гул проигрывателя звучат так же хорошо? Исчезнет поэзия, поскольку в ней редко бывает смысл, и она не имеет практического значения. Интересно также то, что исчезнет комедия. Никто больше не будет воспринимать шуток, ибо разница между юмором и его отсутствием заключена только в качестве.

Затем он исключал спорт. Исчезнут футбол, бейсбол и разного рода игры. Подсчёт очков уже не будет мерой чего-либо значимого, а просто статистическими данными, как, например, количество камней в куче гравия. Кто тогда пойдёт смотреть их? Кто будет играть?

Затем он переходил к изъятию качества из рыночных отношений и предсказал те перемены, которые возникнут при этом. Поскольку качество вкуса станет бессмысленным, то на рынках останутся только такие основные продукты как рис, кукуруза, бобовые и мука, возможно мясо без разделения на сорта, молоко для грудных детей, ну и витамины и минеральные добавки для восполнения недостающего. Исчезнут алкогольные напитки, чай, кофе и табак. То же произойдёт с кино, танцами, театром и вечеринками. Все мы тогда будем пользоваться только общественным транспортом. Все будем носить только солдатскую обувь. Большая доля из нас останется без работы, но это, возможно, будет временно, до тех пор, пока мы все не перейдём на некачественную работу. Прикладная наука и технология изменятся коренным образом, а чистая наука, математика, философия и в особенности логика останутся неизменными. Вот это последнее явление показалось Федру исключительно интересным. Чисто интеллектуальные занятия меньше всего по-страдают при изъятии качества. Если убрать качество, то без изменений останется только рациональность. Странно. С чего бы это?

Этого он не знал, но ему было точно известно, что изъав качество из картины известного нам мира, он вскрывает масштабы важности этого термина, чего он не представлял себе раньше. Мир может функционировать и без него, но жизнь станет настолько скучной, что вряд ли стоит тогда жить. Практически, тогда незачем будет и жить. Термин “стоит” — это термин качества. Жизнь станет тогда только существованием без каких-либо ценностей и целей.

Он оглянулся на расстояние, на которое его увело это на-правление мысли, и решил, что наверняка доказал свою точку зрения. Если мир очевидно не функционирует нормально при изъятии качества, то оно существует независимо от наличия или отсутствия определения.

Представив таким образом картину бес качественного мира, он вскоре

обратил внимание на его схожесть с рядом социальных ситуаций, о которых уже читал. На ум пришла древняя Спарта, коммунистическая Россия и её спутники. Коммунистический Китай, “Прекрасный новый мир” Олдоса Хаксли и “1984 год” Джорджа Орвела. Он также припомнил людей из своего собственного опыта, которые вполне бы приняли такой мир без качества. Это были те самые люди, которые пытались заставить его бросить курить. Они добивались от него рациональных причин, почему он курит, и когда он не приводил им таковых, то они вели себя с ним весьма покровительственно, как будто бы он потерял лицо или ещё что-то в этом роде. Им нужно иметь причины, планы и решения для всего на свете. Они были такие же, как и сам он. На них-то он теперь и ополчился. И он долгое время подыскивал им подходящее название, чтобы обобщить то, что характеризует их, чтобы дать прозвище этому некачественному миру. Это было главным образом интеллектуальное занятие, но фундаментальной была не просто интеллектуальность. Это было некое основополагающее отношение к тому, каков мир, предполагаемое видение того, что он управляется законами, разумом, и что развитие человека состоит главным образом в открытии этих за-конов разума и в применении их к удовлетворению своих собственных желаний. Всё держится на этой вере. Некоторое время он смотрел прищурившись на картину бескачественного мира, представил себе кое-какие новые детали, поразмышлял, снова любовался увиденным и ещё подумал, и затем вновь вернулся по кругу туда, где был прежде.

Ортодоксальность.

Вот такой взгляд. Это обобщает всё. Прямоугольность. Если изъять качество, остаётся ортодоксальность. Существом прямоугольности является отсутствие качества. Ему вспомнился кое-кто из друзей художников, с которыми он путешествовал по Соединённым штатам. Они были негры и всё время жаловались на отсутствие качества, которое он описывал. Ортодоксально. Они так это и называли. Ещё задолго до того, как средства массовой информации подхватили этот термин и дали ему широкое распространение в среде белых, они называли все интеллектуальные занятия ортодоксальными и не хотели иметь с ними ничего общего. И у них с ним завязывались такие фантастические беседы и отношения, потому что он был наглядным примером той ортодоксальности, о которой они вели речь. Чем больше он пытался уточнить то, о чём они толкуют, тем туманнее становились их речи. Теперь же с этим качеством он вроде бы говорил то же, что и они, и так же туманно, несмотря на то, что предмет его речи был чётко, ясен и веществен, как и любое рационально

определённое понятие, с каким ему когда-либо приходилось сталкиваться.

Качество. Вот о чём они говорили всё это время. “Милый мой, будь так любезен, брось ты всё это напрочь, — припомнил он, как об этом сказал один из них, — не хватайся ты за эти пустяковые вопросы. Если всё время будешь спрашивать, что это такое, у тебя не останется времени, чтобы понять это.” Душа. Качество. Одно и то же?

Волна кристаллизации катилась дальше. Он видел два мира одновременно. С интеллектуальной, ортодоксальной, стороны он теперь видел, что качество — разделительный термин. То, чего ищет любой аналитик интеллектуал. Берёшь аналитический нож, наставляешь лезвие прямо на термин качество и слегка, не очень сильно, стукни. Тогда весь мир раскалывается, разламывается на две части: круглое и плоское, классическое и романтическое, техническое и гуманитарное, и раскол получался чётким. Нет ни-каких лохмотьев. Нет путаницы. Нет никаких осколков, которые можно приладить и туда и сюда. Не просто чёткий разрыв, а весьма удачное разделение. Иногда самые лучшие аналитики, работающие по самым очевидным границам раздела, вскрывают суть и не находят ничего кроме груды мусора. И вот вам качество, тонкая, почти незаметная линия, линия алогичности в нашей концепции вселенной. Коснитесь её, и вся вселенная раскалывается пополам, причём невероятно чисто. Жаль, что Канта нет в живых. Кант сумел бы это оценить. Настоящий ювелир. Он бы увидел. Оставьте качество без определения. Вот в этом и есть секрет. Федр писал, начиная сознавать, что он причастен к некоему странному интеллектуальному самоубийству: “Ортодоксальность можно кратко и всё же полно определить как неспособность раз-глядеть качество до того, как ему дано интеллектуальное определение, то есть до того, как его всё изрубят на слова... Мы доказали, что качество, хоть и без определения, но существует. Его наличие можно эмпирически наблюдать в классной комнате и можно логически продемонстрировать, показав, что мир, как мы его знаем, не может существовать без него. И остаётся лишь увидеть и проанализировать не качество, а те особые привычки мышления, называемые “ортодоксальностью”, которая иногда мешает нам заметить его.”

Вот так он стремился перейти в контрнаступление. Предметом анализа, пациентом на столе уже больше было не качество, а сам анализ. Качество же было здоровым и в отличной форме. В анализе же, однако, что-то было не так, и оно-то и мешает увидеть очевидное.

Оборачиваюсь и вижу, что Крис значительно отстал.

— Догоняй! — кричу я.

Он не отвечает.

— Ну давай же! — снова кричу я.

Затем я вижу, как он валится набок и садится на траву на склоне горы. Я оставляю рюкзак и спускаюсь к нему. Склон настолько крут, что мне приходится ставить ноги поперёк. Когда я добираюсь туда, он плачет.

— Я ушиб лодыжку, — говорит он, но не смотрит на меня.

Когда горе-альпинист создаёт о себе образ, нуждающийся в защите, то он лжёт, чтобы защитить его. Но видеть это ужасно, и мне становится стыдно самому, что я допустил это. Теперь моя собственная готовность идти дальше уплывает вместе с его слезами, и его внутреннее чувство поражения передаётся мне. Я сажусь рядом, переживаю вместе с ним, беру его рюкзак и говорю:

“Я помогу тебе нести рюкзак. Я возьму и донесу его сейчас ту-да, где лежит мой, затем ты подождёшь там, чтобы не потерять его. Затем я отнесу свой дальше и вернусь за твоим. Таким образом ты хорошенько отдохнёшь. Так будет медленнее, но мы всё-таки дойдём.”

Но я слишком поспешил. В моём голосе всё ещё чувствуется раздражение и обида, он ощущает это, и ему стыдно. Он тоже сердится, но ничего не говорит из-за страха, что снова придется нести мешок. Он просто хмурится и делает безразличный вид, пока я по очереди переносу поклажу вверх. У меня же раздражение проходит в ходе работы, ибо я сознаю, что работы у меня в действительности не прибавилось, чем в противном случае. Просто лишь прибавилось работы в плане восхождения на вершину, но ведь это только номинальная цель. В плане настоящей цели, прожить вместе хорошие минуты, одна за другой, получается то же самое, даже ещё и лучше. Мы медленно поднимаемся дальше, и обида проходит.

В течение следующего часа мы медленно продвигаемся вверх, я ношу мешки по очереди к тому месту, где заметил исток ручейка. Я посылаю Криса с кастрюлей вниз за водой, и он отправляется. По возвращении он заявляет: “И чего это мы здесь остановились? Пойдём дальше.”

— Может быть, это последний ручей, что попадётся нам за долгое время, Крис, и я устал.

— И с чего бы это ты устал?

Он что, хочет меня вывести из себя? Это ему удаётся.

— Я устал, Крис, потому, что несу рюкзаки. Если ты спешишь, то бери свой мешок и иди вперёд. Я тебя догоню. Он снова глянул на меня с испугом и сел. — Не нравится мне это, — произносит он чуть ли не со слезами. — Ненавижу! Надо же было мне согласиться! И зачем только мы припёрлись сюда? — Он снова крепко плачет.

Я отвечаю: “Из-за тебя мне тоже становится тошно. Лучше по-ешь чего-нибудь.”

— Ничего не хочу. У меня болит живот.

— Ну как знаешь.

Он отходит на какое-то расстояние, срывает былинку и суёт её в рот. Затем закрывает лицо руками. Я готовлю себе перекусить и затем устраиваюсь накоротко передохнуть. Когда я просыпаюсь, он всё ещё плачет. Нам некуда дальше идти. Ничего не остаётся, кроме как смириться со сложившимся положением. Но я в действительности не знаю, как оно складывается.

— Крис, — наконец начинаю я.

Он не отвечает.

— Крис, — повторяю я.

Ответа всё нет. Наконец он воинственно отвечает: Что?

— Я хотел сказать, Крис, что тебе совсем не нужно мне ничего доказывать. Ты это понимаешь?

На лице у него промелькнула вспышка ужаса. Он отчаянно трясет головой.

Я продолжаю: “Ты ведь не понимаешь, что я этим хочу сказать, а?”

Он по-прежнему смотрит в сторону и не отвечает. Ветер сто-нет среди сосен.

Просто не знаю. Ну просто не знаю, что это такое. Это ведь не лагерный эгоизм расстроил его так сильно. Что-то совсем незначительное плохо действует на него, и весь мир рушится. Если он старается сделать что-либо, а у него не получается, то он взрывается или бросается в слёзы. Я снова откидываюсь на траву и продолжаю отдыхать. Может быть, мы оба чувствуем себя побеждёнными из-за того, что не получаем ответов. Вперёд мне не хочется идти, поскольку дальше не видно никаких ответов. Позади также. Просто дрейф вбок. Между ним и мной находится именно это. Это боковой дрейф, выжидание чего-то.

Позже я слышу, как он ковыряется в мешке. Я переворачиваюсь и вижу, что он сердито смотрит на меня. — Где сыр? — спрашивает он. Тон у него всё ещё раздражённый. Но я не собираюсь ему уступать. — Смотри сам. Я тебе не нянька.

Он копает дальше, находит сыр и крекеры. Я даю ему свой охотничий нож, чтобы намазать сыр.

— Я, пожалуй, сделаю вот что, Крис. Положу всё тяжёлое в свой вещмешок, а лёгкое — в твой. Таким образом мне не придется ходить взад и вперёд с обоими мешками. На это он соглашается, и настроение у него

улучшается. Видимо, это решило кое-что для него.

Моя поклажа теперь должно быть весит фунтов сорок-сорок пять, и после дальнейшего подъёма устанавливается равновесие в одно дыхание на один шаг.

Затем мы подходим к крутому подъёму и оно меняется на два вдоха на шаг. В одном месте оно доходит до четырёх вдохов на шаг. Большие шаги, почти по вертикали, мы виснем на корнях и ветвях деревьев. Я чувствую себя глупым, ибо надо было спланировать путь в обход этого места. Осиновые жерди теперь пригодились, и Крис проявляет определённый интерес к пользованию своей. Поклажа смещает центр тяжести вверх, и жерди хорошо подстраховывают от опрокидывания. Ставишь одну ногу, упираешься в жердь, затем ПОДТЯГИВАЕШЬСЯ на ней, и делаешь три вдоха, затем ставишь следующую ногу, упираешься в жердь и ПОДТЯГИВАЕШЬСЯ...

Не знаю уж, осталось ли у меня сегодня сил на шатокуа. В такое время полудни голова у меня что-то не очень варит... пожалуй, я сделаю небольшой обзор, и на сегодня хватит... Давным-давно, когда мы только отправились в это странное путешествие, я говорил о том, как Джон и Сильвия стремились уклониться от некоей таинственной силы смерти, которая, как им казалось, олицетворяется в технике, и что таких людей как они великое множество. Я также упоминал о том, что некоторые люди, связанные с техникой, также как бы избегают её. Основополагающая причина здесь в том, что они смотрят на это в не-коей “накатанной плоскости”, которая имеет отношение к поверхностной сущности вещей, а меня же интересует лежащая в основе форма. Я называл стиль Джона романтическим, а свой — классическим. Его на арго шестидесятых годов можно назвать “хиповым”, мой — “ортодоксальным”. Затем мы отправились в этот ортодоксальный мир, чтобы посмотреть, что же движет им. Данные, классификации, иерархии, причины и следствия, анализ — всё это рассматривалось, и где-то по ходу зашёл разговор о горсти песка, мире, который мы создаём, взятом из бескрайнего горизонта осознанности вокруг нас. Я говорил, что в процессе рассортировки этой горсти песка она распадается на несколько частей. Классическое, ортодоксальное понимание интересуют кучки песка, характер песчинок и основание для сортировки и взаимосвязей между ними.

Отказ Федра дать определение качества по терминологии дан-ной аналогии был попыткой нарушить тиски классического подхода просеивания песка в понимании и найти точку общего понимания между классическим и романтическим мирами. И казалось, что разделительным

термином между хиппи и ортодоксальностью было качество. Этим термином пользовались оба мира. Обоим известно, что он значит. Но только романтики не цеплялись за него и ценили его само по себе, а классики пытались превратить его в набор интеллектуальных строительных кубиков для других целей. Теперь же, при заблокированном определении, классический разум вынужден рассматривать качество так же, как и романтический, то есть неискажёнными структурами мышления. Я здесь всё это выпячиваю, подчёркиваю эти классически-романтические различия, а Федр не делал этого. Его вовсе не интересовало какое-либо слияние различий между этими двумя мирами. Он гнался за чем-то другим — своим призраком. И в погоне за своим призраком он шёл ко всё более и более широким значениям качества, которые вели его всё ближе и ближе к кончине. Я расхожусь с ним в том, что у меня нет намерения идти до такого конца. Он просто прошёл по данной территории и открыл её. Я же намерен остаться тут и разрабатывать её, а вдруг что-нибудь да вырастет.

Думаю, что смысл термина, который может расколоть мир на хиповый и ортодоксальный, классический и романтический, технический и гуманитарный, — это такое образование, которое может объединить мир, уже разделённый по этим направлениям, в единое целое. Настоящее понимание качества не просто служит системе, обходит её или уводит от неё. Настоящее понимание системы захватывает её, приручает и заставляет её работать для собственных личных нужд, оставляя личности полную свободу в исполнении своего внутреннего предназначения. Теперь, оказавшись высоко на одном из берегов каньона, мы видим то, что осталось позади, внизу и на другой стороне его. Другой берег так же крут, он весь под темным покрывалом черно-зелёных сосен, поднимающихся к высокому хребту. Можно измерить пройденный путь, визируя расстояние почти в горизонтальной плоскости.

Вот и весь разговор о качестве на сегодня. Ну и слава тебе, Господи. У меня нет ничего против качества, только дело в том, что все классические разговоры о нём — это не качество. Качество — это лишь высшая точка, вокруг которой располагается и переставливается масса интеллектуальной мебели.

Мы делаем остановку и смотрим вниз. Дух Криса теперь поднялся, но боюсь, что это опять разыграл эгоизм.

— Глянь, как далеко мы ушли, — говорит он.

— Нам предстоит пройти гораздо больше.

Позже Крис кричит, чтобы послушать эхо и бросает камни, чтобы посмотреть, как далеко они полетят. Он начинает зазнаваться, и я

устанавливаю такой темп, который в полтора раза превышает прежний. Это его немного отрезвляет, и мы продолжаем восхождение.

Около трёх часов пополудни ноги у меня становятся резиновыми, и пора делать остановку. Я не в очень-то хорошей форме. Если продолжать дальше в таком состоянии, то начинаешь растягивать мышцы, и следующий день превратится в агонию. Мы приходим на ровное место, большой холм, выступающий на склоне горы. Я говорю Крису, что на сегодня довольно. Он кажется удовлетворён этим и рад, может быть, всё-таки кое-что у него поправилось.

Я уже готов соснуть, но в каньоне образовались тучи, и вот-вот пойдёт дождь. Они настолько заполнили каньон, что дна его не видать и с трудом просматривается противоположный берег. Я распаковываю поклажу, достаю половинки палатки, это арамейское пончо, и скрепляю их вместе. Натягиваю верёвку между двумя деревьями, перебрасываю половинки через неё. Вырубаю несколько кольев в кустах своим топориком, забиваю их, затем тыльной стороной топора прорываю канавку вокруг палатки, чтобы стекала вода при дожде. Едва мы успеваем затащить все вещи внутрь, как начинается дождь.

От дождя у Криса поднимается настроение. Мы лежим на спине на спальных мешках, смотрим, как падает дождь и слушаем хлюпающий звук по парусине. Весь лес как будто в дымке, на нас находит задумчивое настроение, мы наблюдаем, как дергаются листья кустарника под каплями дождя, и слегка вздрагиваем сами, когда раздаётся удар грома, и чувствуем себя счастливыми от-того, что у нас сухо, когда всё вокруг намокло. Немного спустя я достаю из рюкзака книжку Торо в бумажном переплёте, и слегка сощурившись при сером дождливом свете, начинаю читать вслух. Я вроде бы уже объяснял, что мы так дела-ли и с другими книгами в прошлом, сложными книгами, которые обычно не сразу поймёшь. Так вот, я читаю предложение, он за-даёт целую серию вопросов по нему, и после того, как он удовлетворен, я читаю следующее предложение. Так проходит некоторое время, но через полчаса я с удивлением и досадой замечаю, что Торо до него не доходит. Крис становится непоседлив, то же и со мной. Структура языка не под-ходит к горному лесу, в котором мы находимся. По крайней мере у меня возникает такое ощущение. Книга кажется ручной и замкнутой, чего я никак не ожидал от Торо, но вот оно тут. Он ведет речь о другой ситуации, другом времени, лишь открывает зло техники, но не вскрывает решений. Он разговаривает не с нами. Я с сожалением откладываю книгу, мы снова погружаемся в молчанье и задумываемся. Весь мир — лишь Крис да я, лес и дождь. Никакие книги не могут вести

нас дальше. Кастрюли, что мы выставили наружу, начинают наполняться дождевой водой, и позже, когда набралось достаточно, мы сливаем её в один котелок, кладём туда кубики куриного бульона и разогреваем всё это на небольшой печке “Стерно”. Как и любая пища или напиток после трудного восхождения в горах, вкус у него очень хорош.

Крис заявляет: “С тобой мне больше нравится пикниковать, чем с Сазэрлэндами.”

— Другие обстоятельства, — отвечаю я.

Когда бульон кончился, я достаю банку свинины с бобами и выкладываю содержимое в кастрюлю. Разогревается она долго, но торопиться нам некуда.

— Пахнет вкусно, — замечает Крис.

Дождь кончился, и только редкие капли стучат по парусине.

— Думаю, завтра будет солнечный день, — говорю я.

Мы передаём друг другу котелок и едим с разных сторон.

— Пап, о чём ты думаешь всё время? Ты ведь всё время о чём-то думаешь.

— О-х-х-х-х-х... о разном.

— О чём?

— О дожде, о тех трудностях, с которыми можно столкнуться, вообще обо всём.

— Так о чём же?

— Ну, о том, каким ты станешь, когда вырастешь.

Он заинтересован. “Ну и как это будет?”

Но в его глазах снова загорелся эгоистический блеск, когда он спрашивает об этом, и в результате ответ получается в замаскированной форме. “Не знаю, — отвечаю я, — я просто размышляю об этом.”

— Как ты думаешь, завтра мы доберёмся до вершины горы?

— Да, не так уж много осталось до неё.

— Поутру?

— Пожалуй.

Позже он засыпает, и влажный ночной ветерок веет вниз с кряжа, а сосны как бы вздыхают от него. Силуэт их крон мягко колыхнется под его дуновением. Они уступают и затем возвращаются, потом со вздохом снова поддаются и опять выпрямляются, потревоженные силой, которая не составляет часть их природы. От ветра одна сторона палатки начинает трепыхаться. Я встаю и укрепляю её колом, прогуливаюсь по влажной мшистой траве на холме, потом заползаю в палатку и жду, когда придёт сон.

Ковер освещённых солнцем сосновых игл рядом с моим лицом постепенно даёт мне понять, где я нахожусь, и помогает развеять сон.

Во сне я стоял в белёной комнате, глядя на стеклянную дверь. По другую сторону стояли Крис, его мать и брат. Крис махал мне рукой с той стороны, его брат улыбался, но у матери на глазах были слёзы. Затем я увидел, что улыбка у Криса застыла и стала искусственной, в ней застыл глубокий страх. Я сделал движение в сторону двери, и его улыбка стала мягче. Он дал мне знак открыть дверь. Я хотел было сделать это, но не стал. Страх вновь возник у него на лице, но я повернулся и пошёл прочь.

Этот сон я часто видел и раньше. Его смысл очевиден, и он подходит к мыслям прошлой ночи. Он пытается пообщаться со мной и боится, что это ему так и не удастся. Вот тут всё становится яснее.

За пологом палатки иглы на земле испускают туманные волны в направлении солнца. Чувствуется, что воздух влажен и прохладен, и пока Крис ещё спит, я осторожно выхожу из палатки, встаю и потягиваюсь.

Ноги и спина у меня напряжены, но не болят. Несколько минут я занимаюсь гимнастикой, чтобы размять их, затем бросаюсь бегом с холма в сосновую рощу.

Сосновый запах сегодня утром тяжёл и влажен. Я сажусь на корточки и вглядываюсь в утренний туман внизу в каньоне. Позднее я возвращаюсь к палатке, где по звукам определяю, что Крис проснулся, и когда заглядываю внутрь, то вижу его лицо, внимательно рассматривающее всё вокруг. Просыпается он медленно, и ещё пройдёт минут пять, прежде чем он дойдёт до такого состояния, что сможет разговаривать. Теперь он сощурившись смотрит на свет.

— Доброе утро, — говорю я.

Ответа нет. Несколько капель падет с сосен.

— Хорошо ли поспал?

— Нет.

— Очень жаль.

— А что это ты встал так рано? — спрашивает он.

— Да и не рано.

— Который час?

— Девять часов, — отвечаю я.

— Могу спорить, что мы не уснули до трёх часов.

Трёх? Если он не спал до тех пор, то ему придётся поплатиться за это сегодня.

— Ну я-то по крайней мере спал.

Он как-то странно смотрит на меня. — “Так ведь ты же не давал мне спать”.

— Я?

— Всё время разговаривал.

— Ты хочешь сказать во сне?

— Нет, ты говорил о горах!

Тут что-то не так. — “Я ведь ничего не знаю о горах”.

— Ну так вот, ты всю ночь говорил об этом. Ты говорил, что на вершине горы мы всё увидим. Говорил, что ты меня встретишь там.

Думаю, ему приснился сон. “Как же я могу тебя там встретить, если я уже сейчас с тобой вместе?”

— Не знаю. Ты так говорил. — Вид у него расстроенный. — Ты разговаривал как пьяный или что-то в этом роде. Он всё ещё наполовину спит. Лучше дать ему возможность спокойно проснуться. Мне хочется пить, и я вспоминаю, что мы оставили флягу, надеясь найти достаточно воды по пути. Глупо. Теперь нельзя будет позавтракать до тех пор, пока не перевалим кряж и не спустимся достаточно далеко с другой стороны, где можно будет найти ручеёк. “Давай-ка лучше собираться да пойдём”, - говорю я, — если хотим добыть воды на завтрак.” Сейчас уже тепло и после полудня может быть даже жарко. Палатка легко разбирается, и я с удовольствием отмечаю, что всё у нас сухо. Через полчаса мы всё упаковали. Теперь, за исключением примятой травы, и не определишь, что кто-то побывал здесь.

Нам всё ещё надо подниматься вверх, но по пути выясняется, что сегодня легче чем вчера. Мы подходим к закруглённому верхнему участку хребта, и склон не так уж крут. Сосны здесь кажутся совершенно не тронутыми. Прямые лучи солнца не достигают земли, и под деревьями нет никаких кустов. Просто пружинистый настил из иголок, открытый, просторный, идти легко...

Пора продолжить шатокуа и вторую волну кристаллизации, метафизическую фазу.

Она возникла в ответ на отчаянные блуждания Федра в поисках качества, когда сотрудники факультета английского языка в Бозмене, узнав о своей ортодоксальности, задали ему резонный вопрос: “Существует ли это не определённое вами “качество” в наблюдаемых нами вещах? — спросили они. — Или же оно субъективно и существует только в

воображении наблюдателя?” Это был простой, нормальный вопрос, и не было никакой спешки в том, чтобы отвечать на него.

Ха. Торопиться было некуда. Это было окончательное предложение, вопрос на засыпку, сокрушительный удар, особый номер, от которого не оправишься.

Ибо, если качество присуще предмету, тогда надо объяснить, почему научные приборы не в состоянии обнаружить его. Тогда надо предложить такие приборы, которые обнаружат его, или же смириться с объяснением, что приборы не обнаруживают его потому, что вся ваша концепция качества, мягко говоря, несусветная гепуха.

С другой стороны, если качество субъективно и существует только в воображении наблюдателя, то тогда это качество, с которым вы так носитесь, лишь красивое название чего угодно. Сотрудники факультета английского языка Колледжа штата Монтана поставили перед Федром древнюю логическую конструкцию, известную под названием дилеммы. Дилемма, которая по гречески означает “два рога”, стала похожей на переднюю часть разъяренного быка, идущего в наступление.

Если он признает, что качество объективно, то окажется на одном из рогов дилеммы. Если же согласится с тем, что оно субъективно, тогда он попадает на другой. И независимо от того, субъективно или объективно качество, как бы он ни ответил, он всё равно оказывается на роге.

Он заметил, что кое-кто из сотрудников факультета снисходительно улыбается ему.

Однако Федр, будучи подкованным в логике, знал, что каждая дилемма допускает не два, а три классических опровержения, к тому же ему были известны несколько не столь уж классических доводов, поэтому он улыбался в ответ. Он мог взяться за левый рог и опровергнуть мысль о том, что объективность подразумевает научное обнаружение. Или можно ухватиться за правый рог и оспорить мысль, что субъективность подразумевает “всё что угодно”. Или же можно пройти между рогов и отрицать, что выбор заключается только между объективностью и субъективностью. Можете быть уверены, он испробовал всё три. Помимо этих классических логических опровержений есть ещё алогичные, “риторические” приёмы. Будучи риториком, Федр имел в своём распоряжении и их.

Можно пускать пыль быку в глаза. Он уже сделал это, заявив, что отсутствие знания о том, что такое качество, представляет собой некомпетентность. Но есть старое правило логики о том, что компетентность говорящего не имеет отношения к тому, что он говорит, так

что все разговоры о некомпетентности — чистейшая пыль. Самый большой дурак в мире может сказать, что солнце светит, но от этого оно не померкнет. Сократ, древнейший враг риторической аргументации, распустил бы за это Федра в пух и прах, сказав: “Да, я согласен с вашей посылкой о том, что я некомпетентен в вопросах качества. Тогда, пожалуйста, покажите старику, что такое качество. Иначе, как же смогу я исправить его?” Затем Федру дали бы побурлить несколько минут, а потом его раздавили бы вопросами, которые доказывают, что он сам не знает, что такое качество, и что сам он, по собственным меркам, некомпетентен. Можно попробовать убаюкать быка. Федр мог бы заявить вопрошателям, что ответ на эту дилемму выходит за пределы его скромных способностей, но тот факт, что он не может найти ответа, не является логическим доказательством того, что ответ найти нельзя. Не могли бы они, имея более обширный опыт, попытаться найти этот ответ? Но для убаюкиваний такого рода было уже слишком поздно. На это они могли ему просто ответить:

“Нет, мы слишком ортодоксальны. И до тех пор, пока вы не найдете ответа, придерживайтесь-ка учебной программы, чтобы нам не пришлось в следующей четверти проваливать ваших совсем запутавшихся студентов.”

И третьим риторическим выходом из положения, по моему мнению, лучшим, было бы вовсе не выходить на арену. Федр попросту мог заявить: “Попытка классифицировать качество как субъективное или объективное — есть попытка дать ему определение. А я уже сказал, что оно не поддается определению”. И остановиться на этом. Полагаю, что в своё время Ди-Виз так и советовал ему поступить.

Не знаю, почему он пренебрёг этим советом и стал отвечать на дилемму логически и диалектически, вместо того, чтобы легко укрыться под пологом мистики. Могу только догадываться. Прежде всего, думаю, он считал, что весь Храм разума бесповоротно укоренился на арене логики, и если поставить себя вне логического диспута, то оказываешься вовсе за пределами какого-либо академического рассмотрения. Философская мистика, мысль о том, что истина не поддается определению и её можно постигнуть лишь нерациональными средствами, существовала ещё на заре истории. Она является основой практики дзэн. Но это не академический предмет. Академия, Храм разума, занимается лишь тем, что можно определить, а если хочешь быть мистиком, то иди в монастырь, а не в университет. Университет — это место, где всё должно быть разложено по полочкам. Думаю, вторая причина того, что он вышел на арену, была продиктована эгоизмом. Он считал себя довольно тонким логиком и диалектиком, гордился этим и рассматривал данную дилемму как вызов

своему мастерству. Полагаю, что эти черты эгоизма возможно и стали началом всех его бед.

Я вижу, как олень движется впереди нас среди сосен на расстоянии около двухсот ярдов. Пробую показать его Крису, но к тому времени, как он глянул, олень уже пропал.

Первый рог дилеммы Федра был: “Если качество присутствует в предмете, то почему научные приборы не могут выявить его”. Это очень щекотливый вопрос. Он с самого начала видел, насколько он опасен. Если он собирается предстать неким сверхучёным, умеющим видеть в предметах качество, которого не может обнаружить ни один учёный, то просто докажет, что он либо чокнутый, либо дурак, или то и другое вместе. В наше время идеи, несовместимые с научными знаниями, не взлетают с земли. Он вспомнил утверждение Локка, что никакой предмет, будь он научным или другим, не поддаётся познанию, кроме как с точки зрения его качеств. Эта неопровержимая истина как бы доказывала, что учёные не в состоянии обнаружить качество в предметах только потому, что они выявляют только качество. “Предмет — это умственное построение, выводимое из качеств”. Если такой ответ верен, то он, конечно же, разрушал первый рог дилеммы, и это на время очень взволновало его. Но он оказался ложным. Качество, которое он со студентами видел в аудитории, совершенно отличалось от качеств цвета, тепла и твердости, наблюдаемых в лаборатории. Все эти физические свойства можно измерить приборами. Его же качество “отличное”, “хорошее”, “добротное”, не было физическим свойством и не поддавалось измерению. Его сбивала с толку двойственность термина “качество”. Он удивлялся, откуда эта двойственность, сделал себе заметку раскопать исторические корни слова “качество”, но отложил это дело. Рог дилеммы по-прежнему оставался на месте.

Он обратил внимание на другой рог дилеммы, который содержал большую вероятность опровержения. Он думал, “Итак, качество — это всё что угодно?” Это бесило его. Великие художники в истории человечества: Рафаэль, Бетховен, Микельанжело, они все выдавали то, что нравится людям. У них не было другой цели, кроме как по большому счёту щекотать чувства людей. Что это? Это сердило его, и больше всего его бесило то, что он не находил непосредственного пути отделить это логически. Тогда он тщательно исследовал это утверждение, точно так же как он обдуманно изучал вещи, прежде чем взяться за них. И тогда его озарило. Он достал скальпель и вырезал то слово, которое и создавало эффект возмущения в этом предложении. Это было слово “лишь”. Почему качество должно быть “лишь” тем, что вам нравится? Почему то, что вам нравится, должно быть

“лишь”? Что означает “лишь” в данном случае? При выделении его таким образом для отдельного исследования стало очевидно, что “лишь” в данном случае не означает совершенно ничего. Это просто уничижительный термин, логический вклад которого во всё предложение равняется нулю. Так вот, если убрать это слово, то предложение принимает вид: “Качество — это то, что вам нравится”, и смысл предложения меняется полностью. Оно становится безвредной банальностью.

Он стал вспоминать, почему это предложение так раздражало его с самого начала. Оно ведь казалось таким естественным. Почему понадобилось так много времени, чтобы увидеть, что в действительности говорилось: “То, что вам нравится — плохо, по крайней мере несущественно”? Что скрывалось под этой броской фразой о том, что вам нравится — плохо, или по крайней мере неважно в сравнении с другими вещами? Кажется, в этом и была суть той ортодоксальности, с которой он боролся. Маленьких детей приучают к тому, чтобы они не поступали “лишь так, как им нравится”, а... а как?... Ну конечно! Так, как нравится другим. А кому другим? Родителям, учителям, воспитателям, полицейским, судьям, работникам аппарата, королям, диктаторам. Любым властям. Когда тебя приучат презирать то, что “лишь тебе нравится”, тогда, естественно, ты становишься гораздо более послушным слугой другим людям — хорошим рабом. Если приучишься не делать так, “лишь бы тебе нравилось”, тогда система тебя полюбит.

А допустим, что ты делаешь “лишь то, что тебе нравится”? Значит ли это, что ты тут же бросишься колоть себе героин, грабить банки и насиловать старушек? Тот, кто советует тебе не делать “лишь так, как тебе нравится”, делает многозначительные намёки на то, во что это может вылиться. Кажется, он не сознаёт того, что люди не грабят банков не потому, что взвесили последствия и решили, что это им не нравится. Он не сознаёт того, что банки прежде всего и существуют потому, что они и есть как раз то, “что нравится людям”, а именно: предоставляют займы. Федр стал задумываться над тем, каким образом осуждение того, “что вам нравится” раньше представлялось таким естественным возражением с самого начала. Вскоре он понял, что за этим скрывается нечто большее. Когда говорят: “Не делай лишь так, как тебе хочется”, то не только подразумевают: “Подчиняйся властям”. При этом имеется в виду и нечто другое.

Это “нечто иное” выходит на огромное пространство классического научного верования, которое гласит: “То, что тебе нравится — неважно, ибо оно состоит из иррациональных эмоций внутри себя”. Он долгое время

исследовал этот аргумент, затем расчленил его на две небольшие группы, которые назвал научным материализмом и классическим формализмом. Он говорил, что эти два понятия часто бывают совместно в одном и том же человеке, но логически они раздельны.

Научный материализм, который чаще встречается среди любителей научных изысканий, чем в среде самих учёных, считает, реально то, что состоит из вещества или энергии и поддаётся измерению научными приборами. Всё остальное — нереально или, по крайней мере, несущественно. “То, что вам нравится” — неизмеримо и, следовательно, — нереально. “То, что вам нравится” может быть фактом, а может быть и галлюцинацией. Когда нравится, тогда не делаешь различий между этими понятиями. Задача научного метода целиком состоит в том, чтобы провести чёткое разграничение между ложным и настоящим в природе, исключить субъективные, нереальные, воображаемые элементы из своей работы с тем, чтобы получить объективную, достоверную картину действительности. Когда он говорил, что качество субъективно, то для них это всего лишь значило, что качество — воображаемо, и поэтому с ним можно не считаться при любом серьёзном рассмотрении действительности. С другой стороны подходит классический формализм, который утверждает, то, чего нельзя понять интеллектуально, нельзя понять вообще. Качество в данном случае не важно, ибо представляет собой эмоциональное понимание, не сопровождающееся интеллектуальными элементами разума. Из этих двух основных источников происхождения эпитета “лишь”, Федр считал, что первый, научный материализм, гораздо легче разодрать на куски. По своему прежнему образованию он знал, что это наивная наука. На него он сперва и набросился, применив метод *reductio ad absurdum*. Эта форма аргументации покоится на истине, что, если выводы из набора посылок — неизбежно абсурдны, то логически следует, что по крайней мере одна из этих посылок абсурдна. Давайте рассмотрим, что следует из посылки о том, что всё, не состоящее из массы-энергии — нереально и неважно.

В качестве пробного шара он использовал число ноль. Ноль, изначально индусское число, было введено на западе арабами в средние века и не было известно древним грекам и римлянам. “Как же так?” — удивлялся он. Как сумела природа так искусно скрыть ноль, что миллионы и миллионы греков и римлян не смогли обнаружить его? Обычно думают, что ноль находится на виду у всех и каждого. Он показал абсурдность попыток вывода ноля из любой формы массы-энергии и затем задавал риторический вопрос, значит ли это, что число ноль “не научно”? Если так, то значит ли это, что цифровые компьютеры, работающие исключительно

на единицах и нолях, должны сводиться лишь к выполнению научных работ? Здесь нетрудно усмотреть абсурдность. Затем он перешёл к другим научным концепциям, одна за другой, и показал, что они никак не могут существовать независимо от субъективных соображений. Закончил же он законом тяготения в примере, который я привёл Джону, Сильвии и Крису в первую ночь нашего путешествия. Если отбросить субъективность как нечто неважное, говорил он, то тогда весь состав науки следует отбросить вместе с ней.

Такое отрицание научного материализма, однако, как бы приводило его в лагерь философского идеализма: Беркли, Юм, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Брэдли, Босанкет, — очень неплохая компания, они логичны до последней запятой, но их так трудно обосновать на языке “здорового смысла”, что в защите качества они больше мешали ему, чем помогали. Аргумент о том, что весь мир — это разум, возможно, и представляет собой здоровую логическую позицию, но в плане риторики он, разумеется, не так уж и здрав. Он оказывался слишком скучным и трудным для курса начинающих литераторов. Слишком уж “заумным”. На данном этапе весь субъективный рог дилеммы выглядит почти так же невдохновляюще, как и объективный. А аргументация классического формализма, когда он стал рассматривать её, ещё больше усугубляла дело. Они оказывались исключительно мощными аргументами в плане, что не следует реагировать на непосредственные эмоциональные импульсы без рассмотрения большой рациональной картины.

Детям говорят: “Не тратьте все свои карманные деньги на жвачку (непосредственный эмоциональный импульс), потому что вам позже захочется израсходовать их на что-нибудь иное (большая картина). Взрослым говорят: “От бумажной фабрики может исходить ужасный запах даже при самых лучших способах борьбы с ним (непосредственные эмоции), но без неё экономика всего города развалится” (широкий контекст). В плане нашей старой дихотомии говорят следующее: “Не делайте выводов на основе романтических поверхностных впечатлений без рассмотрения классической подлежащей формы”. С этим он в какой-то мере был согласен.

В возражении классических формалистов “Качество это лишь то, что вам нравится” подразумевалась мысль, что субъективное, неопределённое качество, которое он преподаёт, представляет собой лишь романтическое поверхностное впечатление. Конкурсы популярности в классе могут определить, что данное сочинение обладает непосредственной привлекательностью, но представляет ли оно собой это качество? Является

ли качество чем-то, что “просто видишь”, или же это нечто более тонкое, что сразу и не разглядишь, а поймёшь лишь после долгого времени? Чем больше он исследовал этот аргумент, тем зловещее он ему представлялся. Он мог разрушить всё его построение. Зловещим в нём было то, что он вроде бы отвечал на вопрос, который часто возникал в классе, и на который ему всегда приходилось отвечать довольно казуистически. Вопрос был следующий: “Если всем известно, что такое качество, то почему вокруг него возникает столько разногласий?”

Его казуистический ответ был таков: хоть качество в чистом виде одинаково для всех, объекты, которым по мнению людей оно присуще, различны для каждого человека. До тех пор, пока качество остаётся без определения, с этим нельзя спорить, но он знал, и ему было известно, что это чувствуют и студенты, что в этом есть какая-то фальшь. По существу это не было ответом на вопрос.

Вот ещё один вариант объяснения: у людей имеются разногласия по поводу качества, ибо одни исходят из непосредственных эмоций, а другие применяют имеющиеся у них общие познания. И он знал, что в любом конкурсе популярности среди преподавателей английского этот последний аргумент, подкрепляющий их собственный авторитет, получит подавляющее одобрение. Но этот аргумент был совершенно разрушительным. Вместо единого, однообразного качества теперь возникают два качества: одно романтическое, которое просто видят, и им обладают студенты, и классическое, при общем понимании, которое есть у преподавателей. Одно хиповое, другое ортодоксальное. Ортодоксальность — это не отсутствие качества, это классическое качество. Хиповость — это не просто наличие качества, это всего лишь романтическое качество. Раскол между хиповостью и ортодоксальностью, который он обнаружил, всё так же в наличии, но качество теперь не склонялось полностью на одну сторону, как он это предполагал раньше. Вместо этого само качество расчленилось на два рода, по одному на каждой стороне линии раздела. Его простое, опрятное, прекрасное неопределённое качество становилось сложным.

Ему не нравился такой ход вещей. Разграничительный термин, который должен был объединить классический и романтический пути рассмотрения вещей, теперь сам расчленился на две части и больше не мог объединять что-либо. Он попал в аналитическую мясорубку. Скальпель субъективности-объективности разрезал качество надвое и уничтожил его как рабочую концепцию. Если он хочет спасти его, то нельзя допустить, чтобы нож попал туда.

И действительно, качество, о котором он вёл речь, не было ни классическим, ни романтическим. Он выходило за пределы обоих. И клянусь Богом, оно не было ни субъективным, ни объективным, было вне этих обеих категорий. В самом деле, вся дилемма субъективности-объективности, умственного и вещественного по отношению к качеству была несправедлива. В течение веков взаимоотношения умственного и вещественного были интеллектуально нерешёнными. И чтобы утопить качество, эту нерешённость ставили над качеством. Как можно сказать, является ли качество умственным или вещественным проявлением, если с самого начала нет логической ясности относительно того, что такое умственность и что такое вещественность?

Итак, он отвергал левый рог. Качество не является объективным, утверждал он. Оно существует не в материальном мире. Затем отвергал и правый рог. Качество не субъективно, говорил он. Оно находится не просто в уме. И наконец, Федр, следуя пути, по которому, насколько ему было известно, ещё никто в истории западного мышления не проходил, направился прямо между рогами дилеммы субъективности-объективности и заявил, что качество — это и не часть ума, и не часть вещества. Это некое образование третьего порядка, независимое от двух предыдущих.

Кое-кто слышал, как он ходил по коридорам и лестницам Монтан-холла и тихонько, почти про себя, напевал: “Святая, святая, святая... благословенная Троица”.

И сохранилось очень слабое воспоминание, возможно ложное, может я просто воображаю себе это, о том, что он неделями сохранял такую структуру мышления, не продвигая её сколько-нибудь вперёд.

Крис кричит: “И когда же мы достигнем вершины?”

— Ну ещё придётся пройти порядочно, — отвечаю я.

— И мы там многое увидим?

— Думаю, да. Посмотри на голубое небо между кронами деревьев. Если неба не видать, то идти ещё довольно далеко. Как только мы приблизимся к вершине, свет станет проходить сквозь листву.

Прошлой ночью дождь обильно смочил мягкий покров хвойных игл, и идти по нему сейчас хорошо. Иногда на таком вот склоне попадет сухой островок, он становится скользким, и приходится ставить ноги боком, чтобы не соскользнуть вниз. Я говорю Крису: “Как хорошо, что здесь совсем нет подлеска под деревьями!”

— А почему его тут нет?

— Полагаю, что в этом районе никогда не занимались рубкой леса. Если лес не трогать вот так веками, то деревья заглушают любой подлесок.

— Совсем как в парке, — говорит Крис. — Как далеко видеть вокруг. — Настроение у него вроде бы улучшилось по сравнению со вчерашним. Думаю, что теперь из него получится хороший путешественник. Лесная тишина благоприятно воздействует на всех.

Мир теперь, по Феду, состоит из трёх компонентов: ума, вещества и качества. Его вначале не беспокоило, что он не установил между ними никаких взаимоотношений. Если над отношениями духа и материи бились веками и ничего ещё не решили, то зачем ему за несколько недель добиваться каких-либо выводов в отношении качества? Итак, он оставил его в покое. Он как бы положил эту мысль в долгий ящик, куда он складывал многие вопросы, на которые у него сразу не находилось ответа. Он знал, что рано или поздно придётся установить взаимосвязь в этой метафизической троице субъекта, объекта и качества, но не торопился что-либо делать. Ему было так хорошо находиться в безопасности от этих рогов, что он расслабился и предавался блаженству, пока это было возможно.

Однако впоследствии он исследовал его повнимательней. Хотя логических возражений против метафизической троицы, трехголовой действительности, не было, такие троицы встречаются редко, и они весьма непопулярны. Метафизик обычно стремится либо к монизму, например к Богу, который даёт объяснение природы мира как проявление одной единственной вещи, либо к дуализму, такому как материя-дух, который разъясняет его как две вещи, либо оставляет его плюрализму, который толкует мир как проявление бесконечного множества вещей. Но три — неудобное число. Сразу же хочется узнать: Почему три? Каково взаимоотношение между ними? И когда потребность расслабиться поутихла, Федра также заинтересовало это взаимоотношение. Он отметил, что хоть обычно качество ассоциируется с предметами, ощущение качества иногда возникает безотносительно к какому-либо предмету. Вначале это навело его на мысль, что, возможно, качество полностью субъективно. Но субъективное удовольствие — совсем не то, что он подразумевал под качеством. Качество снижает субъективность. Качество выводит из замкнутости, заставляет осознать мир вокруг себя. Качество противопоставлено субъективности.

Не знаю уж, сколько он передумал, прежде чем пришёл к этому, но в конечном итоге он понял, что качество нельзя независимо увязать ни с субъектом, ни с объектом, его можно найти только во взаимоотношении их друг с другом. Вот в этой точке и сходятся субъект и объект.

Стало уже тепло.

Качество — это не вещь. Это явление.

Теплее.

Это явление, при котором субъект начинает осознавать объект. А поскольку без объекта не может быть субъекта, ибо объект пробуждает самосознание субъекта, — качество — такое явление, при котором делается возможным осознание и субъекта и объекта. Горячо.

Теперь он понял, что нашёл.

Это значит, что качество не просто результат коллизии между субъектом и объектом. Само наличие субъекта и объекта выводится из явления качества. Явление качества есть причина субъекта и объекта, которые ошибочно считают причиной качества! Теперь он ухватил за горло всю эту проклятую злую дилемму. У дилеммы всё время была невидимая порочная предпосылка, для которой нет логического обоснования, что качество — следствие субъекта и объекта. Но ведь это не так! Он достал скальпель.

Солнце качества, — записал он, — не вращается вокруг субъекта и объекта нашего существования. Оно не просто пассивно освещает их. Оно не подчинено им никоим образом. Оно само породило их. Они подчинены ему!

И в тот миг, когда он записал это, он понял, что достиг некоего рода кульминации мысли, к которой он бессознательно стремился очень долгое время.

— Синее небо, — кричит Крис.

Вот оно, высоко над нами, узкая полоса голубизны между стволов деревьев.

Мы ускоряем шаг, пятна голубого становятся всё больше и больше сквозь кроны деревьев, и вскоре мы видим, что деревья редеют, а на вершине пустое место. Когда до вершины остаётся метров пятьдесят, я говорю: "Бежим!" и бросаюсь вперёд, вкладывая в усилие все остатки энергии, которую сохранил. Я бегу изо всех сил, но Крис догоняет меня. Затем со смехом обходит. При тяжёлом грузе и большой высоте мы не устанавливаем никаких рекордов, но всё же бежим во всю прыть. Крис добегаёт первым, когда я только-только появляюсь из-за деревьев. Он скидывает руки и кричит: "Победил!" Эгоист.

Когда я добираюсь туда, дыхание у меня настолько трудное, что я не могу разговаривать. Мы сбрасываем поклажу с плеч долой и ложимся на скалы. Корочка земли подсохла на солнце, а под ней грязь от вчерашнего дождя. Под нами на много миль вокруг за лесистыми склонами и полями позади них раскинулась долина Галлатин. В одном из углов долины

расположен Бозмен. Какой-то кузнечик спрыгивает со скалы и пролетает над нами прочь над верхушками деревьев.

— Дошли! — говорит Крис. Он очень счастлив. Я всё ещё настолько запыхался, что не могу ответить. Снимаю сапоги и носки, промокшие от пота, и кладу их на камень для просушки. В задумчивости я разглядываю их, а пар от них вздымается к солнцу.

Очевидно, я уснул. Жарко греет солнце. На часах у меня без нескольких минут полдень. Я заглядываю за камень, к которому прислонился, и вижу что Крис крепко спит с другой его стороны. Несколько выше лес кончается, и голые серые скалы уходят к пятнам снега. Можно было бы взбираться по склону этого хребта прямо тут, но ближе к вершине это будет опасно. Некоторое время я смотрю на вершину горы. Что это Крис сказал по поводу того, что я якобы говорил вчера вечером? — “Увидимся на вершине горы?”... нет... “Я встречусь с тобой на вершине горы.” Как же могу я встретить его на вершине горы, если мы уже вместе? В этом есть нечто очень странное. Он также говорил, что я сообщил ему ещё что-то позавчера, — что здесь так одиноко. Но это же противоречит тому, что я в действительности думаю. Я вовсе не считаю, что здесь одиноко. Шум падающего камня отвлекает моё внимание к другой стороне горы. Никакого движения. Всё совершенно спокойно. Всё в порядке. Такие камнепады слышатся всё время. Но иногда не такие уж малые. С таких мелких падений иногда начинаются лавины. Если находишься над ними или сбоку от них, то наблюдать за ними интересно. Но если они над вами — ничего не поделаешь. Приходится просто ждать, когда она нагрянет.

Люди говорят во сне странные вещи, но с чего бы я говорил, что встречусь с ним? И почему он считает, что я не спал? Здесь что-то совсем не так, это вызывает очень плохое предчувствие, но я никак не пойму, в чём дело. Сначала появляется такое чувство, а затем пытаешься выяснить, с чего бы это. Слышу, как шевелится Крис, оглядываюсь и вижу, что он осматривается.

— Где мы? — спрашивает он.

— На вершине хребта.

— А-а-а, — тянет он улыбаясь.

Я раскрываю приготовленный на полдник швейцарский сыр, перчики и крекеры. Аккуратно нарезаю сыр, затем перчики на кусочки. В тишине всё делается так опрятно.

— Давай построим здесь шалаш, — предлагает он.

— О-х-х-х, — застонал я, — и тащиться сюда каждый день?

— Конечно, — дразнит он. — Ведь было же совсем не трудно.

Вчерашний день для него уже далёкое прошлое. Я подаю ему сыру и крекеры.

— О чём ты всегда думаешь? — спрашивает он.
— О тысяче вещей, — отвечаю я.
— Каких?
— Большинство из них тебе будут совершенно непонятны.
— Например?
— Например, я говорил тебе, что встречу с тобой на вершине горы.
— А-а-а, — тянет он и смотрит вниз.
— Ты говорил, что я разговаривал как пьяный.
— Нет, не пьяный, — произносит он, всё ещё глядя вниз. Но то, как он отводит взгляд, заставляет меня усомниться, что говорит он правду.
— Так как же?
Он не отвечает.
— Так как же, Крис?
— Просто иначе.
— Как?
— Ну, не знаю! — Он глянул на меня, и в глазах у него мелькнул страх. — Ты говорил так, как когда-то давно, — отвечает он и снова смотрит вниз.
— Когда?
— Когда мы жили здесь.
Я сохраняю невозмутимое выражение лица, он не замечает ни-каких перемен. Затем я осторожно встаю, подхожу к носкам и методично переворачиваю их на другую сторону. Они уже давно высохли. По возвращении я вновь замечаю, что он не сводит с меня взгляда. Я отвечаю с безразличием: “Я и не знал, что это казалось иначе”.
Он ничего не отвечает на это.
Надеваю носки и обуваю сапоги.
— Пить хочется, — говорит Крис.
— Чтобы найти воды, нам не придётся спускаться слишком далеко, — говорю я и встаю. — Ты готов?
Он кивает, и мы взваливаем поклажу на плечи. Когда мы идём по вершине гребня к началу оврага, то слышим шум ещё одного камнепада, на этот раз гораздо мощнее того, что был некоторое время назад. Смотрю вверх, пытаюсь определить, где он. Но ничего не видеть.
— Что это было? — спрашивает Крис.
— Камнепад.
Мы замираем на некоторое время, прислушиваясь. Крис спрашивает: “Там кто-то есть?”
— Нет, думаю, что камни вываливаются в результате таяния снега.

Когда в начале лета становится по настоящему жарко, как сейчас, то частенько слышатся такие небольшие обвалы. Бывают и большие. Это часть процесса снашивания гор.

— Я и не знал, что горы изнашиваются.

— Не изнашиваются, а снашиваются. Они округляются, и склоны становятся положе. А эти горы ещё не сносились. Повсюду вокруг нас, за исключением того, что выше, склоны горы покрыты черноватой зеленью леса. На расстоянии лес выглядит как бархат.

Я говорю: “Вот ты смотришь сейчас на эти горы, они кажутся такими постоянными и покойными, но они всё время меняются, и перемены эти не всегда безобидны. Под нами, прямо тут под нами, есть силы, которые могут расколоть всю гору на куски.

— И так бывает?

— Что бывает?

— Раскалывается гора на части?

— Да, — отвечаю я. Затем вспоминаю: “Не так далеко отсюда под миллионами тонн скалистой породы лежат девятнадцать чело-век. Все просто удивлены, что их оказалось только девятнадцать.”

— И что же случилось?

— Они были просто туристами в востока, остановились на бивуак на ночь. Ночью подземные силы разбушевались, а когда утром спасатели увидели, что произошло, то только покачали головой. Они даже не стали раскапывать. Ведь им пришлось бы раскопать сотни метров породы, найти тела, которые надо было бы лишь снова зарыть. Так они их тут и оставили. Они до сих пор тут и лежат.

— А как узнали, что их было девятнадцать?

— Соседи и родственники из их родного города заявили, что они пропали без вести.

Крис пристально смотрит на вершину горы перед нами. — И их ничто не насторожило?

— Не знаю.

— Пожалуй, что-то должно было их предупредить.

— Может так оно и было.

Мы идём туда, где гребень, по которому мы движемся, изгибается по направлению к оврагу. Вижу, что, если пойти по оврагу вниз, то в конце его найдём воду. Я сворачиваю под углом вниз.

Вверху снова загремели камни. Вдруг меня охватывает испуг.

— Крис.

— Что?

— Знаешь, о чём я подумал?

— Нет, а что?

Думаю, что поступим очень разумно, если оставим сейчас эту гору в покое, и придём сюда как-нибудь в другой год. Он молчит. Затем спрашивает: “А почему?”

У меня дурное предчувствие.

Долгое время он ничего не говорит. Наконец произносит: “А в чём дело?”

— Ну мне кажется, что мы можем попасть там в бурю или об-вал, и тогда попадём по настоящему в беду. Снова молчание. Я поднимаю взор и вижу у него на лице полное разочарование. Думается, он знает, что я что-то недоговариваю. — Подумай-ка об этом, — продолжаю я, — а когда доберемся до воды, пообедаем и тогда решим. Продолжаем спускаться. — Хорошо? — спрашиваю я.

Наконец, он отвечает безразличным голосом: “Хорошо”. Спуск сейчас довольно лёгкий, но дальше будет круче. Теперь мы на открытом месте, светит солнце, но вскоре мы снова будем среди деревьев.

Просто не представляю себе, как относиться ко всем этим странным разговорам по ночам, только всё это нехорошо. И для него, и для меня. Получается, что все тяготы поездки, привалы, шатокуа и все эти древние места оказывают на меня плохое воздействие, которое проявляется по ночам. Мне хочется убраться отсюда как можно скорее.

Вряд ли и Крису всё это представляется как прежде. Нынче я очень легко пугаюсь, и мне даже не стыдно признаться в этом. Он же никогда ни перед чем не пасует. Никогда. Вот в этом-то и разница между нами. Вот почему я жив, а он нет. Он там, на-верху, некое психическое образование, какой-то призрак, некий двойник, поджидающий нас там Бог знает каким образом... но ему придётся ждать долго. Очень долго. Эта проклятая высота со временем становится жуткой. Мне хочется спуститься вниз, гораздо ниже, много-много ниже. К океану. Вот это верно. Туда, где волны медленно накатываются, где всегда стоит шум, и никуда нельзя упасть. Ты уже там.

Мы снова заходим в деревья, вершина горы загораживается их ветвями, и я рад этому.

Думается, мы уже прошли по тропе Федра столько, сколько хотелось пройти и в этой шатокуа. Я хочу оставить теперь эту тропу. Я уже воздал ему должное за то, что он думал, говорил и писал, а теперь мне хочется самому развить некоторые из мы-слей, которые он упустил. Заглавие этой шатокуа “Дзэн и искусство ухода за мотоциклом”, а не “Дзэн и искусство

восхождения в горы”, к тому же на вершинах гор нет мотоциклов, и, по моему мнению, очень мало дзэна. Дзэн — это “дух долины”, а не горных вершин. Единственный дзэн, который можно найти на вершине горы, это то, что принесёшь с собой. Давайте выберемся отсюда.

— Приятно идти вниз, а? — говорю я.

Ответа нет.

Боюсь, нам придётся поспорить.

Взбираешься на гору и находишь всего лишь большую тяжёлую каменную скрижаль с кучей всяческих правил на ней. Вот примерно это и случилось с ним.

Хоть он и был распроклятым мессией. Но не со мной, мой мальчик. Часы слишком долги, а плата слишком уж коротка. Пойдём. Пойдём... Вскоре я уже спускаюсь по склону в каком-то идиотском галопе ту-степ... шлёп-хлоп, хлоп-шлёп, шлёп-хлоп... и наконец слышу, как Крис вопит: “СБАВЬ ХОД!”, оглядываюсь и вижу его в двухстах метрах позади среди деревьев.

Я замедляю ход, но спустя некоторое время замечаю, что он нарочно отстаёт. Он, конечно же, разочарован.

Полагаю, что в этой шатокуа мне следует лишь отметить в общей форме направление, по которому шёл Федр, без указания угла места, и затем перейти к своим собственным мыслям. По-верьте, если рассматривать мир не как двойственность материи и духа, а как тройственность двойственности, материи и духа, тогда искусство ухода за мотоциклом и прочие искусства приобретают такую плоскость значения, какой не было никогда раньше. Призрак техники, от которого бегут Сазэрлэнды, становится не злом, а положительным интересным делом. И я с удовольствием займусь демонстрацией, хоть это и займёт много времени. Прежде чем выписать этому другому призраку командировку, мне следует сообщить следующее:

Возможно он и направился бы по тому пути, на который я сей-час собираюсь встать, если бы вторая волна кристаллизации, метафизическая волна, попала на берег там, где на ней выйду я, то есть в повседневной жизни. Мне кажется, метафизика полезна, если она улучшает повседневную жизнь; в противном случае — вы-бросьте её из головы. К несчастью для него она не вышла на берег. Она перешла в третью мистическую волну кристаллизации, от которой он так и не оправился.

Он размышлял об отношениях качества, духа и материи и определил качество как родителя духа и материи, то явление, которое порождает дух и материю. Такой коперниковский переворот в отношении качества к

объективному миру может показаться таинственным, если его толком не разъяснить, но он и не думал на-пускать таинственности. Он просто подразумевал, что под режущей кромкой времени, прежде чем объект можно распознать, должно быть некоего рода неинтеллектуальное осознание, которое он называл осознанием качества. Нельзя осознать, что ты видишь дерево до того, как его в самом деле увидишь, и между мигом видения и мигом осознания должна быть какая-то задержка во времени. Мы иногда считаем этот временной промежуток неважным. Но не может быть обоснования тому, что временной разрыв неважен, никакого оправдания.

Прошлое существует только в нашей памяти, будущее — только в планах. Единственной действительностью является настоящее. То дерево, которое ты умственно осознал, в результате этого запаздывания всегда находится в прошлом, и поэтому всегда не-реально. Любой интеллектуально осознанный объект всегда находится в прошлом и поэтому нереален. Реальность — это всегда мгновение видения до того, как произойдёт осмысление. И другой действительности нет. Вот эту доосознанную действительность Федр принимал за точное определение качества. Поскольку все интеллектуально распознаваемые вещи должны возникать из этой доосознанной действительности, то качество является родителем, источником всех субъектов и объектов. Он чувствовал, что интеллектуалы испытывают особые трудности в видении этого качества именно потому, что они мгновенно и абсолютно превращают всё в интеллектуальную форму. Легче же всего разглядеть это качество могут малые дети, не-образованные люди, и культурно “отсталые” народы. У них наименьшая предрасположенность к интеллектуальности из культурных источников, у них меньше всего формального образования, которое ещё больше укрепляет это в них. Вот почему он считал, что ортодоксальность — это уникальная интеллектуальная болезнь. Он чувствовал, что случайно получил иммунитет к ней, или по крайней мере отошёл от этой привычки из-за того, что провалился в школе. После этого он не чувствовал себя обязанным считаться с интеллектуальностью и мог с сочувствием исследовать антиинтеллектуальные доктрины. Ортодоксы, говорил он, из-за предрассудков по поводу интеллектуальности обычно считают качество, доинтеллектуальную реальность, не значимой, всего лишь непримечательным переходным периодом между объективной реальностью и субъективным восприятием её. Поскольку у них уже имеется устоявшееся мнение о его незначительности, они и не стремятся выяснить, отличается ли оно каким-либо образом от их интеллектуального

восприятия его. Он утверждал, что отличается. Как только начнёшь слышать звук этого качества, видеть эту корейскую стену, эту неинтеллектуальную действительность в чистой форме, то сразу же хочется забыть словесную шелуху, которую наконец начинаешь видеть, и которая всегда оказывается где-то в другом месте. Теперь, вооружённый своей новой взаимозависимой во времени метафизической тройственностью, он сумел полностью заткнуть романтически-классический разрыв качества, который некогда грозил покончить с ним. Теперь качество больше нельзя отбросить. Теперь он мог сидеть себе спокойно и расчленять их в своё удовольствие. Романтическое качество всегда соотносилось с мгновенными впечатлениями. Ортодоксальное качество всегда было связано с многочисленными размышлениями в течение определенного периода времени. Романтическое качество было настоящим временем, тем, что происходит тут и сейчас. Классическое качество всегда интересовало нечто шире, чем просто настоящее. При этом всегда учитывались отношения настоящего к прошлому и будущему. Если посчитать, что прошлое и будущее содержатся в настоящем, то и прекрасно, ведь и живём-то мы в настоящем. А если мотоцикл фурычит, то чего о нём тревожиться? Но если считать настоящее лишь мгновением между прошлым и будущим, преходящим мигом, то пренебрегать прошлым и будущим ради настоящего — это уж совсем плохое качество. Сейчас мотоцикл, возможно, и работает, но когда у него проверяли уровень масла в последний раз? Суета сует с романтической точки зрения, но добрый здравый смысл с классической. Теперь у нас есть два разных вида качества, но они больше не расчленяют само качество. Они представляют собой лишь два разных аспекта качества, краткий и длительный. Раньше требовалась метафизическая иерархия, которая выглядела вот так:

Действительность	
Субъективная (Умственная) Объективная (Физическая)	
Классическая (Интеллектуальная)	Романтическая
(Эмоциональная)	
Качество, которое должен был преподавать Федр Качество, которое в действительности он преподавал	

Он же дал им взамен метафизическую иерархию, которая выглядит вот так:

Качество (Действительность)

Романтическое качество | Классическое качество
(Доинтеллектуальная реальность) | (Интеллектуальная
реальность)
Субъективная реальность (Дух) | Объективная реальность
(Материя)

Качество, которое преподавал он, было не просто частью действительности, оно было всем.

Затем в плане этой тройственности он стал отвечать на данный вопрос. Почему каждый видит качество по разному? Раньше, отвечая на этот вопрос, ему всегда приходилось изворачиваться. Теперь же он говорил: “Качество бесформенно, аморфно, неопишимо. Видеть форму и образ — значит интеллектуализировать что-то. Качество свободно от таких форм и образов. Те названия, формы и образы, которые мы даём качеству, имеют к нему лишь частичное отношение. Они также частично зависят от априорных образов, которые накопились в нашей памяти. В случае с качеством мы постоянно стремимся найти аналоги нашему предыдущему опыту. И если не находим, то мы не в состоянии действовать. Весь наш язык создан в плане этих аналогий. И вся наша культура строится в плане этих аналогий. Причина, по которой люди видят качество по разному, говорил он, в том, что они подходят к нему с разными наборами аналогий. Он приводил лингвистические примеры, говоря, что для нас индусские буквы *da*, *da* и *dha* звучат одинаково, ибо у нас нет аналогов, которые дали бы возможность почувствовать их различие. Подобно этому, люди говорящие на хинди не различают *da* и *the*, ибо им не привита такая чувствительность. Для индусских селян видеть призраки — не такое уж необычное явление. Но им чрезвычайно трудно понять закон тяготения. Этим, говорил он, объясняется то, что целый класс студентов первокурсников приходит к одинаковой оценке качества сочинений. У них относительно одинаковый жизненный опыт и сходное образование. Но если взять группу иностранных студентов, или, скажем, средневековые стихотворения, в которых у класса нет опыта, тогда возможности однообразной оценки качества не будут совпадать так часто.

В некотором смысле, говорил он, определяющим является выбор качества студентом. Разногласия относительно качества возникают у людей не потому, что качество бывает различным, а потому, что люди различны по своему опыту. Он предположил, что если бы у двух людей были идентичные априорные аналогии, то они в любом случае давали бы идентичную оценку качеству. Но проверить это предположение, однако, нет

возможности, и поэтому ему ничего не остаётся как быть лишь предположением. Отвечая на вопрос коллег по школе он писал: “Любое философское объяснение качества будет одновременно верным и ложным именно потому, что оно является философским объяснением. Процесс философского объяснения — это аналитический процесс, процесс расчленения чего-либо на субъекты и предикаты. То, что я подразумеваю (и все остальные также) под словом “качество”, нельзя расчленить на субъект и предикат. И это вовсе не потому, что качество столь таинственно, а потому, что качество столь просто, непосредственно и прямо. Простейшая интеллектуальная аналогия чистого качества, которую в состоянии понять люди нашего окружения, такова: “Качество — это реакция организма на окружающую среду” (он обычно приводил этот пример, ибо его главные оппоненты видели вещи в плане теории поведения стимул-реакция). Если амёбу поместить в тарелку с водой, куда капнули серной кислоты, то она постарается отодвинуться от того места (так мне кажется). Если бы амеба могла говорить, то ничего не зная о серной кислоте, она сказала бы: “Качество этой окружающей среды плохое”. Если бы у неё была нервная система, то она стала бы действовать гораздо изощрённее, чтобы избавиться от плохого качества окружающей среды. Она будет отыскивать аналогии, то есть образы и символы из своего прошлого опыта, чтобы определить не-приятную природу своего нового окружения и таким образом “понять” его.

В нашем очень сложном органическом состоянии мы, высшие организмы, реагируем на окружающую среду, изобретая множество удивительных аналогий. Изобретаем землю и небеса, деревья, камни и океаны, богов, музыку, искусства, язык, философию, инженерные познания, цивилизацию и науку. И называем эти аналогии действительностью. И они в самом деле реальность. Во имя истины мы внушаем нашим детям, что они реальность. Любого, кто не принимает эти аналогии, мы бросаем в сумасшедший дом. Но то, что принуждает нас изобретать такие аналогии, является качеством. Качество — вот непреременный стимул, который возлагает на нас окружающая среда, чтобы создать тот мир, в котором мы живём. Целиком и полностью. До последней крошки. Так вот, совершенно невозможно взять то, что побудило нас создать этот мир и включить его в тот мир, что мы создали. Вот почему невозможно дать определение качеству. Если мы всё же даём ему определение, то определяем нечто меньшее, чем само качество.”

Этот фрагмент мне вспоминается особенно отчётливо возможно потому, что является наиболее важным из всего. Когда он писал это, он

испытал мгновенный испуг и готов был вычеркнуть слова “Целиком и полностью. До последней крошки”. Ведь это сумасшедствие. Мне кажется, он понял это. Но он не видел никаких логических причин к тому, чтобы их вычеркнуть, и теперь уж было бы слишком поздно проявлять малодушие. Он отмахнулся от этого предостережения и оставил слова на месте. Он положил карандаш и затем... почувствовал, как что-то отпустило его. Как будто что-то внутри у него было напряжено до отказа и теперь лопнуло. Но было слишком поздно. Он стал понимать, что отошёл от своей исходной позиции. Он уже не толкует о метафизической тройственности, он говорит об абсолютном монизме. Качество — это источник и сущность всего. На ум пришёл целый поток философских ассоциаций. Так учил Гегель с его Абсолютным разумом. Абсолютный разум также свободен и от объективности, и от субъективности. Однако Гегель говорил, что Абсолютный разум источник всего, но затем исключил из этого “всего” романтический опыт. Гегелевский Абсолют был полностью классическим, совершенно рационален и целиком упорядочен.

Качество же не такое.

Федр вспомнил, что Гегеля считают мостом между западной и восточной философией. И веданту у индусов, путь таоистов и даже Будду характеризовали как абсолютный монизм, подобный Гегелевской философии. Федр, однако, в то время сомневался в том, что мистические Единства и метафизические монизмы взаимно преобразуемы, ибо мистические Единства не признают никаких правил, а метафизические монисты руководствуются ими. Его качество было метафизическим образованием, а не мистическим. Так ли? И в чём тогда разница?

Он сам ответил, что разница в определении. Метафизическим образованиям дают определения. Мистическим Единствам — нет. Тем самым качество становится мистическим. Нет. Оно в действительности и то, и другое. Хоть до сих пор чисто в философском плане он считал его метафизическим, он всё время отказывался давать ему определение. И это также делало его мистическим. Неподатливость к определённости освобождала его от правил метафизики.

Затем по наитию Федр подошёл к книжной полке и отыскал маленькую, синюю книжку в картонном переплёте. Много лет тому назад он переписал эту книгу от руки и сам переплёл её, когда не нашёл её нигде в продаже. Это была “Дао дэ цзин” Лао-цзы, которой уже 2400 лет. Он стал вчитываться в строчки, как делал это много раз и раньше, но теперь он стал изучать её в том плане, а не сработает ли некоторая подстановка. Он стал читать и одновременно толковать её.

Он прочёл:

Качество, которое можно определить, не является Абсолютным качеством

Он утверждал то же самое.

Названия, которые можно ему дать, не являются Абсолютными.

Оно источник неба и земли.

Будучи названным, оно мать всех вещей...

Точно.

Качество (романтическое качество) и его проявления (классическое качество) по своей природе одно и то же. Когда оно становится классически выявленным, то получает различные названия (субъект и объект).

Романтическое качество и классическое качество совместно можно назвать “мистическим”.

Воротами в тайну всей жизни служит переход от одной тайны к другой, ещё более глубокой.

Качество вездесуще.

Сфера его применения неисчерпаема!

Бездонно!

Как источник всего на свете...

И кажется, оно остаётся кристально чистым как вода.

Не знаю, чей оно Сын.

Образ того, что существовало до Бога... Оно вроде бы сохраняется всегда, непрерывно. Черпай его, и оно легко тебе послужит...

На него смотришь, но его нельзя увидеть... слушаешь его, но его не слышно... хватаешься за него, но до него не дотронешься... все эти три свойства ускользают от нашего восприятия, следовательно они сливаются в одно единое целое. Не потому, что оно встало, возник свет, Не потому, что оно село, стало темно.

Беспрестанное, непрерывное,

Его нельзя определить

И снова возвращается в царство ничего

Вот почему оно называется формой бесформенного

Образом ничего

Вот почему его зовут неуловимым

Столкнись с ним и не узнаешь его в лицо,

Последуй за ним и не увидишь его спины.

Тот, кто крепко держится за качество старого

Способен познать первобытные начала

Которые являются продолжением качества.

Федр читал строчку за строчкой, стих за стихом, видел как они сходятся, подходят, попадают на место. Точно. Вот это он и имел в виду. Вот об этом-то он и толковал всё время, только очень бледно, механистически. В этой книге не было ничего смутного или неточного. Она была в высшей степени чёткой и определённой. Он ведь об этом и говорил, только на другом языке с другими корнями и истоками. Из другой долины он видел, что находится в этой долине, теперь это не рассказ чужих людей, но часть той долины, откуда он сам. Он теперь видел всё. Он нарушил кодекс.

Продолжал читать. строка за строкой. Страница за страницей. Ни одного расхождения. То, о чём он всё время говорил как о качестве, было здесь, Это Дао, великая центральная формирующая сила всех религий, восточных и западных, прошлых и настоящих, всего знания, всего.

Затем он глянул мысленным взором и уловил свой собственный образ, понял, где он есть и что видит, и... Не знаю, что про-изошло в самом деле... но теперь тот обрыв, который Федр по-чувствовал раньше, внутреннее разделение ума, вдруг набрал инерцию, как это бывает с камнями на вершине горы. Не успел он остановиться, как вся накопившаяся масса осознания начала перерастать и превращаться в лавину мыслей и осознания, вышедшего из под контроля. При каждом дополнительном нарастании по пути вниз эта масса высвобождала в сотни раз больше своего объёма, а дальше вырывалось в сотни раз больше новой массы, и затем в сотни раз больше того, и так далее и далее. Шире и больше, до тех пор, пока не на чем стало держаться. Не осталось ничего.

Под ним рухнуло всё.

— Ты ведь не очень смелый, а? — спрашивает Крис.

— Нет, — отвечаю я и вытягиваю между зубов шкурку салями, чтобы снять мясо. — Но ты и не подозреваешь, какой я умный.

Теперь мы уже порядочно спустились с гребня, и смешанный сосняк с лиственным подлеском здесь гораздо выше и гуще, чем на этой же высоте на другой стороне каньона. Очевидно сюда попадает больше дождя. Я жадно глотаю воду из котелка, который Крис набрал здесь из ручья, и смотрю на него. По его выражению я понимаю, что он уже смирился с тем, чтобы идти вниз, и нет необходимости убеждать его или спорить. Обед мы заканчиваем частью пакетика с конфетами, запиваем это ещё котелком воды и откидываемся назад на землю, чтобы отдохнуть. Ключевая горная вода вкуснее всего на свете.

Немного спустя Крис заявляет: “Я могу нести теперь и груз потяжелей”.

— Ты уверен?

— Конечно уверен, — несколько заносчиво отвечает он.

Я с признательностью перекладываю кое-что из тяжелых вещей в его поклажу, затем мы надеваем вещмешки, сидя на земле и продевая руки в лямки, и только потом встаём. Разница в весе ощутима. Когда он в настроении, то бывает вполне внимательным.

Отсюда и дальше спуск проходит довольно медленно. На этом склоне очевидно рубили лес, подлесок здесь выше головы и поэтому идти приходится медленно. Надо будет обходить это место.

В данной шатокуа мне хочется отвлечься от интеллектуальных абстракций исключительно общего характера и перейти к надежным, практическим повседневным сведениям, и я не совсем уверен, как это надо делать.

Одной из особенностей первопроходцев, о которой не часто упоминают, является то, что они неизменно, по своей природе, неряшливы. Они ломаются вперёд, видя перед собой только благородную цель вдалеке, и никогда не замечают тот мусор и отходы, которые оставляют после себя. Кому-то другому приходится убирать за ними, а это не очень-то славная или интересная работа. Надо внутренне собраться, чтобы заняться ею. И когда настроишься на такое невесёлое дело, то не так уж всё и плохо.

Как это славно, когда обнаруживаешь метафизическую связь между

качеством и Буддой на одной из вершин своего личного опыта. И это очень важно. Но если эту шатокуа посвятить только этому, то можно и не затевать её совсем. Важна взаимосвязь такого открытия со всеми долинами на свете, и всей той нудной и скучной работой в течение долгих, монотонных лет, которые ждут нас в них.

Сильвия знала, о чём говорила в первый день, когда обратила внимание на людей, ехавших в обратном направлении. Как она назвала их? “Похоронной процессией”. И теперь задача состоит в том, чтобы спуститься к этой процессии с более широким пониманием в сравнении с тем, что имеется сейчас.

Прежде всего следует сказать, я не уверен, что верно утверждение Федра о том, что качество — это и есть дао. И я не знаю, как можно проверить это, ибо он лишь сравнил своё понимание одного мистического образования с другим. Он конечно же считал, что они одно и то же, но, возможно, он не до конца понял, что же такое качество. Или же, более вероятно, он не совсем понял дао. Он ведь не был мудрецом. А в той книге много советов для мудрецов, к которым ему неплохо было бы прислушаться.

Далее, я полагаю, что все его метафизические восхождения в горы совершенно ничего не прибавили ни к нашему пониманию сущности качества, ни природы дао. Ничего.

Это может показаться чудовищным неприятием того, что он думал и говорил, но это не так. Думаю, что с таким утверждением он согласился бы и сам, но поскольку любое описание качества представляет собой некоторого рода определение, то оно не должно достигнуть цели. Думаю, он мог бы даже сказать, что утверждения такого рода, которые не достигают цели, даже хуже любого умолчания, ибо их легко принять за правду и тем самым затормозить понимание качества.

Нет, он не сделал ничего ни для качества, ни для дао. Выиграл от этого только разум. Он показал направление, в котором можно раздвинуть рамки разума, чтобы охватить те элементы, которые прежде не усваивались и поэтому считались иррациональными. Полагаю, что подавляющее наличие таких иррациональных элементов, требующих усвоения, и создаёт существующее плохое качество, хаотический, разбросанный дух двадцатого века. И вот теперь я хочу заняться ими как можно более упорядочено.

Сейчас мы идём по топкой почве, на которой трудно удержаться на ногах. Чтобы сохранить равновесие, мы хватаемся за ветки деревьев и кустарник. Делаешь шаг, затем высматриваешь, как сделать другой,

ступаешь туда и снова смотришь под ноги.

Вскоре кустарник оказывается настолько густым, что становится ясно, что нам придётся прорубаться сквозь него. Я сажусь, а Крис достаёт топорик из рюкзака у меня на спине. Он подаёт его мне, и затем, разрубая ветки, я устремляюсь в кусты. Идём медленно. На каждом шагу надо срубить пару-тройку веток. И так может продолжаться долго.

Первой ступенью вниз от заявления Федра “Качество — это Будда” будет утверждение, что такая посылка верна. Тут есть рациональная основа для объединения тех сфер человеческого опыта, которые теперь разъединены. Это Религия, Искусство и Наука. Если можно доказать, что качество — центральный член всех трёх сфер, и что это качество бывает не многих видов, а только одного, тогда следует, что у этих трёх разъединённых областей есть основа для взаимопреобразования.

Связь качества со сферой искусств была довольно исчерпывающе показана на примере понимания Федром качества в искусстве риторики. И вряд ли здесь стоит делать больше в плане анализа. Искусство — это предприятие высокого качества. И здесь действительно больше нечего сказать. Или, если требуется нечто более возвышенное, то: “Искусство — это Божественное начало, проявившееся в труде человека”. Связь, установленная Федром, даёт четкое представление, что эти два утверждения, хоть они и кажутся чрезвычайно непохожими, по существу идентичны.

В сфере Религии рациональные отношения качества и Божественного начала нужно установить более основательно, и я надеюсь сделать это несколько позже. Тем временем можно поразмыслить над фактом, что староанглийские корни слов Будда и качество, God и good, также кажутся идентичными.

А в ближайшем будущем мне хотелось бы сосредоточиться на сфере науки, ибо именно здесь очень нужно установить эту взаимосвязь. Придётся отказаться от посылки, что Наука и её отпрыск — техника — “бесценны”, то есть не имеют качества. Именно “бесценность” лежит в основе силы смерти, на которую мы обратили внимание в самом начале этой шатокуа. Завтра я собираюсь заняться этим.

Остальную часть дня мы спускаемся, переваливая через серые, тронутые непогодой, поваленные стволы деревьев и движемся зигзагами по крутому склону.

Мы подходим к утёсу, идём по его краю в поисках спуска и в конце концов находим узкий проход, по которому можно спуститься. Дальше он переходит в скалистую лощину, по которой бежит ручеёк. Лощину

заполняют кустарник и камни, грязь и корни больших деревьев, омываемых ручейком. Затем мы слышим гул гораздо большего потока на далёком расстоянии отсюда.

Пересекаем поток с помощью верёвки, которую оставляем там, затем на дороге встречаем туристов, которые подвозят нас в город.

В Бозмен мы попали уже поздно, когда стемнело. Чтобы не будить Дивизов и проситься к ним на ночлег, мы устраиваемся в главной гостинице в центре города. В вестибюле кое-кто из туристов изумлённо смотрит на нас. В старой армейской форме, с посохом, двухдневной бородой и в чёрном берете я, должно быть, очень похож на старого кубинского революционера, направляющегося на задание.

В гостинице мы устало сваливаем всё на пол. Я выбрасываю в мусорное ведро камешки, попавшие мне в сапоги при переходе потока, и ставлю сапоги у прохладного окна, чтобы они медленно высыхали. Не говоря ни слова мы валимся в постель.

На следующее утро, хорошо отдохнув, мы рассчитываемся с гостиницей, заезжаем попрощаться с Ди-Визами, и выезжаем из Бозмена на север по открытой дороге. Ди-Визы хотели, чтобы мы побыли у них дольше, но меня охватил какой-то зуд ехать на запад и продолжать свои размышления. Сегодня я хочу поговорить о человеке, о котором Федр никогда не слышал, но чьи работы я изучил довольно тщательно при подготовке к данной шатокуа. В отличие от Федреда этот человек к тридцати пяти годам был знаменит во всём мире, а в пятьдесят восемь стал живой легендой. Бертран Рассел говорил, что “по общему признанию он был наиболее выдающимся научным деятелем своего поколения”. Он был астрономом, физиком, математиком и философом одновременно. Звали его Жюль Луи Пуанкаре.

Мне всегда казалось невероятным, да и теперь я так считаю, что Федр путешествовал таким путём мышления, по которому ещё никто не ходил. Федр был настолько плохим учёным, что в его духе было бы продублировать общие места какой-либо знаменитой системы философии, до которой у него просто не дошли руки.

Итак, я потратил больше года на изучение иногда очень долгой и нудной истории философии в поисках подобных идей. Это, однако, очень увлекательный способ знакомства с историей философии, при этом случилось нечто такое, в чём я до сих пор не могу разобраться. Обе философские системы, которые считаются в корне противоположными, содержат нечто очень близкое к тому, о чём размышлял Федр, за небольшим исключением. Раз за разом мне казалось, что я нашёл, кого он повторяет, но каждый раз из-за вроде бы незначительных различий, он шёл в совершенно другом направлении. Например, Гегель, о котором я говорил выше, вообще не считал индусские системы философии за философию. Федр же, кажется, ассимилировал их, или ассимилировался в них. Ощущения противоречия не было.

И наконец я пришёл к Пуанкаре. Здесь также было мало повтора, но возник феномен другого рода. Федр идёт по долгой и извилистой тропе к высшим абстракциям и вдруг останавливается казалось бы у самой цели. Пуанкаре начинает с самых основных научных трюизмов, доходит вверх до тех же самых абстракций и тоже останавливается. Обе тропы кончаются в самом конце друг друга! Между ними наблюдается полное соответствие.

Когда живешь под сенью безумия, то появление другого ума, который мыслит и разговаривает как ты, иногда представляется просто благословением. Подобно тому, как Робинзон Крузо обнаружил отпечатки ног на песке.

Пуанкаре жил с 1854 по 1912 год, был профессором Парижского университета. Бородой и пенсне он походил на Анри Тулуз-Лотрека, который жил в Париже в то же самое время, хоть и был всего лишь на десять лет моложе его.

Ещё при жизни Пуанкаре начался тревожно глубокий кризис в самих основах точных наук. Годами научная истина была вне всяких сомнений, логика науки была непогрешимой, и если иногда учёные ошибались, то считалось, что они лишь перепутали правила. На все великие вопросы были даны ответы. Миссия науки теперь состояла лишь в том, чтобы доводить эти ответы до всё большей и большей степени точности. Правда, всё ещё оставались некоторые необъяснимые явления как, например, радиоактивность, передача света через “эфир”, и особые взаимоотношения магнитных и электрических сил. Но и они, если исходить из прошлого опыта, должны были в конце концов проясниться. Вряд ли кто-либо догадывался, что через несколько десятилетий больше не будет абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютной материи или даже абсолютной величины; что классическая физика, научная скала веков, станет “приблизительной”; что самые серьёзные и уважаемые астрономы сообщат человечеству о том, что если смотреть в достаточно сильный телескоп достаточно долго, то увидишь свой собственный затылок!

Основу нарушающей все устои Теории относительности поняли лишь очень немногие, и Пуанкаре, самый именитый математик своего времени, был одним из них.

В своей книге “Основы науки” Пуанкаре объяснял, что предпосылки кризиса в основах наук существовали давно. Он говорил, что уже давно и тщетно ищут возможность продемонстрировать аксиому, известную как пятый постулат Евклида, и этот поиск стал началом кризиса. Евклидов постулат о параллельных линиях, который гласит, что через данную точку можно провести только одну линию параллельную данной прямой, мы обычно учим ещё в геометрии за десятый класс. Это одна из основополагающих аксиом, на которых строится вся геометрия.

Все остальные аксиомы казались настолько очевидными, что даже и не подвергались сомнению, но с этой дело было не так. И всё же от неё нельзя было избавиться, не разрушив огромные области математики, и казалось, что никто не в состоянии привести её к чему-либо более простому. Даже

трудно представить себе, какие усилия были потрачены впустую в этой химерической надежде, писал Пуанкаре.

И вот наконец, в первой четверти девятнадцатого века, почти в одно и то же время, один венгр и один русский — Больяй и Лобачевский — неопровержимо установили, что доказательство пятого постулата Евклида невозможно. Они сделали это, рассудив так: если бы и была возможность свести постулат Евклида к другим, более надёжным аксиомам, то выявилось бы следующее: опровержение Евклидова постулата привело бы к логическим противоречиям в геометрии. Тогда они повернули Евклидов постулат наоборот.

С самого начала Лобачевский предположил, что через данную точку можно провести две параллельных прямых по отношению к данной прямой. При этом он сохраняет все остальные аксиомы Евклида. Исходя из этой гипотезы он вывел целый ряд теорем, в которых невозможно найти противоречий, и создал геометрию, чья безупречная логика ни в чём не уступает Евклидовой.

Итак, не найдя никаких противоречий, он доказывает, что пятый постулат нельзя свести к более простым аксиомам.

И встревожило не только это доказательство. А его рациональный побочный продукт, который вскоре затмил его и почти всё остальное в области математики. Математика, краеугольный камень научной обоснованности, вдруг оказался неустойчивым.

Теперь у нас стало две противоречивых версии непоколебимой научной истины, верной для всех людей любого возраста независимо от индивидуальных склонностей.

И это стало основой глубочайшего кризиса, который потряс научное благополучие Позолоченного века. Как узнать, которая из этих геометрий права? Если нет основы для их разграничения, тогда получается, что вся математика допускает логические противоречия. Но математика, допускающая внутренние противоречия, вовсе и не математика. Конечным результатом неевклидовой геометрии становится ничто иное, как шаманские заклинания, при которых вера поддерживается лишь чистым внушением!

Ну и раз уж плотина прорвалась, то вряд ли можно ожидать, что число противоречивых систем с нерушимыми научными истинами ограничивается лишь двумя. Один немец по имени Риман представил ещё одну непоколебимую систему геометрии, которая выбрасывает за борт не только евклидов постулат, но и первую аксиому, которая гласит, что через две точки можно провести только одну прямую линию. И опять же нет

никакого внутреннего противоречия, есть только несоответствие и геометрии Лобачевского, и евклидовой геометрии.

Согласно теории относительности геометрия Римана лучше всего даёт описание мира, в котором мы живём.

У Три-Форкс дорога врежется в узкий каньон из беловато-бежевых скал чуть дальше каких-то пещер, открытых Льюисом и Кларком. К востоку от Бьютта мы долго и с трудом поднимаемся вверх, пересекаем водораздел континента и спускаемся в долину. Затем проезжаем мимо огромной трубы плавильного завода в Анаконде, сворачиваем в сам город и находим хороший ресторан с бифштексом и кофе. Снова долго поднимаемся в гору, дорога ведет к окружённому сосновым лесом озеру, где рыбаки стаскивают небольшую лодку к воде. Затем дорога снова выётся вниз по сосняку и по высоте солнца я вижу, что утро почти кончилось.

Проезжаем Филлисбург и выкатываемся на долинные луга. Здесь встречный ветер становится более порывистым, и я сбавляю скорость до пятидесяти пяти, чтобы снизить его воздействие. Проезжаем Максвилл, и к тому времени, как добираемся до Холла, чувствуем, что нам давно пора отдохнуть.

У дороги находим церковный двор и делаем остановку. Ветер теперь стал резким и холодным, но солнце припекает, мы раскладываем свои куртки и шлемы на траве с подветренной стороны церкви и располагаемся на отдых. Здесь всё так открыто вокруг, что становится одиноко, но всё-таки прекрасно. Простор лучше чувствуется, когда горы или холмы находятся на некотором расстоянии. Крис накрывает себе лицо курткой и пробует уснуть.

Без Сазэрлэндов всё теперь стало иначе, так одиноко. И сейчас, вы уж извините меня, пока одиночество не прошло, я продолжу свою шатокуа.

Пуанкаре говорил, для разрешения проблемы, что такое математическая истина, нам сначала надо спросить себя, какова же природа геометрических аксиом. Являются ли они, как утверждал Кант, синтетическими априорными суждениями? То есть, существуют ли они как фиксированная часть сознания человека независимо от опыта и не созданы опытом? Пуанкаре так не считал. Тогда они навязываются нам с такой силой, что и помыслить нельзя о противном или же делать на этом теоретические построения. Тогда не было бы неевклидовой геометрии.

Следует ли тогда сделать вывод, что геометрические аксиомы — экспериментальные истины? И с этим Пуанкаре не соглашался. Если бы это было так, то они постоянно подвергались бы изменениям и пересмотру по мере появления новых лабораторных данных. А это противоречит самой

природе геометрии.

Пуанкаре пришёл к выводу, что геометрические аксиомы — это условности, и наш выбор среди всех возможных условностей зиждется на экспериментальных фактах, но он остаётся свободным и ограничивается только необходимостью избавиться от всех противоречий. Таким образом, постулаты могут оставаться строго верными, даже если экспериментальные законы, предопределившие их принятие, всего лишь приблизительны. Другими словами, геометрические аксиомы представляют собой лишь скрытые определения.

Определив природу геометрических аксиом, он задался вопросом, чья геометрия верна, Евклида или Римана?

И ответил, вопрос не имеет смысла.

То же самое, что спрашивать, верна ли метрическая система, а аптекарская ложна, верны ли декартовы координаты и ложны ли полярные. Одна геометрия не может быть верней другой, она может быть только удобней. Геометрия не верна, она выгодна.

Пуанкаре пошёл дальше и показал условность природы других научных концепций, таких как пространство и время, отметив, что нет такого способа измерения этих величин, который был бы вернее других, что общепринятый способ лишь более удобен.

Наши понятия пространства и времени также представляют собой определения, выбранные на основе их удобства при обращении с фактами.

Однако такое радикальное понимание самых основных научных понятий ещё не исчерпано. Тайну того, что же такое пространство и время, можно лучше понять при таком объяснении, но тогда вся тяжесть сохранения порядка во вселенной возлагается на “факты”. А что такое факты?

К изучению этого Пуанкаре подошёл критически. Он спрашивал, какие факты вы собираетесь наблюдать? Число их безгранично. Шансов на то, что невыборочное наблюдение фактов приведёт к науке, не больше, чем у обезьяны, сидящей у пишущей машинки, и пытающейся набрать молитву господню.

То же справедливо и в отношении гипотез. Какие гипотезы? Пуанкаре писал: “Если явление допускает полное механическое объяснение, то оно допускает и бесконечное число других, которые так же хорошо объяснят все особенности, выявленные в ходе эксперимента.” Таковым же было и утверждение, сделанное Федром в лаборатории, оно подняло вопрос, из-за которого ему пришлось уйти из школы.

Если бы у учёного было в распоряжении неограниченное время, говорил Пуанкаре, то тогда ему нужно было бы сказать: “Смотри и замечай как следует”, но поскольку увидеть всё нет времени, и лучше не видеть чего-либо, чем увидеть неправильно, то он вынужден делать выбор.

Пуанкаре изложил несколько правил: существует иерархия фактов.

Чем более общим является факт, тем он более ценен. Те, которые служат много раз, лучше тех, у которых мало шансов возникнуть снова. Например, биологи оказались бы в очень затруднительном положении при построении науки, имея дело только с индивидуумами, а не с видами, если бы наследственность не делала детей подобными родителям.

Какие факты вероятнее всего появятся вновь? Простые факты. Как распознать их? Выбирайте те, которые кажутся простыми. Либо эта простота действительна, либо сложные элементы неразличимы. В первом случае мы можем снова столкнуться с этим фактом либо отдельно, либо в качестве элемента более сложного факта. Имеется также неплохая вероятность повторения и второго случая, ибо природа строит такие вещи не случайно.

Где же тот простой факт? Учёные искали его в двух крайних сферах, в бесконечно громадной, и в бесконечно малой. Биологи, например, инстинктивно рассматривали клетку, как нечто более интересное, чем всё животное, а со времени Пуанкаре, протеиновая молекула представляет больший интерес, чем клетка. И результат показал мудрость такого подхода, ибо клетки и молекулы, принадлежащие различным организмам, оказались более схожими по сравнению с самими организмами.

Как же тогда выбрать интересный факт, тот, который возникает вновь и вновь? Метод как раз и состоит в том, чтобы отбирать факты, необходимость тогда заключается в создании такого метода, и их изобрели множество, ибо ни один из них не навязывается сам. Тогда будет правильно начинать с обычных фактов, но когда правило установлено вне всяких сомнений, факты, соответствующие ему, становятся скучными, ибо они не учат нас ничему новому. И тогда важность приобретает исключение. И мы уже ищем не сходства, а различия, выбираем наиболее ярко выраженные различия, ибо они наиболее интересны и наиболее поучительны.

Прежде всего мы отыскиваем такие случаи, где правило может вероятнее всего не сработать, удаляясь очень далеко во времени или в пространстве, можно выяснить, что наши правила становятся полностью противоположными, и такие противоположности дают нам возможность лучше видеть те малые изменения, которые могут происходить ближе к нам. А нацеливаться следует не столько на удостоверение сходства и

различий, сколько на сходство, скрытое под кажущимися расхождениями. Вначале правила Пуанкаре кажутся противоречивыми, но при более тщательном рассмотрении они в общем-то подходят друг на друга. Разные по существу, они похожи по форме и по порядку их составляющих. Если их рассматривать под таким углом зрения, то они расширяются и имеют тенденцию охватывать всё. И именно в этом состоит ценность определенных фактов, которые дополняют целое и доказывают, что оно представляет собой верное отображение других известных целых.

Пуанкаре пришёл к выводу, что учёный не выбирает произвольно те факты, которые наблюдает. Он стремится отобрать как можно больше опыта и мыслей в наименьшем количестве фактов, вот почему в небольшом учебнике по физике содержится так много прошлого опыта и в тысячу раз больше возможных новых опытов, результат которых известен заранее.

Затем Пуанкаре показал, как открывают факт. Раньше он в общем рассказывал, как учёные находят факты и создают теории, а теперь он обратился в частности к своему собственному личному опыту с математическими функциями, которые принесли ему славу ещё в молодости.

Он писал, что в течение пятнадцати дней пытался доказать, что таких функций быть не может. Каждый день он усаживался за рабочий стол, работал час или два, испробовал огромное число комбинаций, но не добился никаких результатов.

Однажды вечером, вопреки своим привычкам, он напился черного кофе и не мог уснуть. Идеи завитали тучами. Он чувствовал, как они сталкиваются и образуются пары, создавая, так сказать, стабильные комбинации.

На следующее утро ему только оставалось записать результаты. Прошла волна кристаллизации.

Он дал описание того, как вторая волна кристаллизации, вызванная аналогиями стандартной математики, привела его к тому, что впоследствии он назвал “Тэта-Фуксианскими сериями”. Он отправился из Казна, где тогда жил, в геологическую экспедицию. Во время путешествия он совсем забыл про математику. Он собирался войти в автобус, и в тот миг, когда поставил ногу на ступеньку, его осенила идея, когда он вроде бы ни о чём таком и не думал. Идея о том, что преобразования, которыми он пользовался для определения фуксианских функций, идентичны тем, которые есть в неевклидовой геометрии. Он не стал выверять эту мысль, пишет он, а просто продолжил разговор с кем-то в автобусе, но всё же он был в полной уверенности. Затем на досуге он проверил результат.

Ещё одно открытие он сделал, гуляя по утёсу над морем. Оно пришло к нему с такими же характерными признаками краткости, внезапности и немедленной уверенности. Другое открытие он сделал, когда гулял на улице. Некоторые прославляли этот процесс как таинственные деяния гения, но Пуанкаре не удовлетворился таким мелким объяснением. Он попробовал исследовать глубже то, что произошло.

Математика, говорил он, не просто применение каких-либо правил или науки. Она не просто создаёт максимально возможное число комбинаций по определённым установленным законам. Полученные таким образом комбинации будут слишком многочисленны, бесполезны и неуклюжи. Подлинная работа изобретателя состоит в выборе этих комбинаций таким образом, чтобы исключить бесполезные, или в том, чтобы не создавать их, а правила, которыми при этом надо руководствоваться, исключительно тонки и деликатны. Их почти невозможно изложить с достоверностью, их пожалуй, следует больше чувствовать, чем формулировать.

Затем Пуанкаре выдвинул гипотезу, что этот раздел состоит из того, что он называет “возвышенным эго”, образованием, точно соответствующем тому, что Февр считал доинтеллектуальным осознанием. Возвышенное эго, писал Пуанкаре, рассматривает большое количество решений проблемы, но в область сознания пробиваются только интересные. Математические решения выбираются возвышенным эго на основе “математической красоты”, гармонии чисел и форм, геометрической элегантности. “Это — подлинное эстетическое чувство, известное всем математикам”, - гласит Пуанкаре, — “а профаны настолько невежественны, что у них оно часто вызывает улыбку”. А ведь в основе всего лежит именно эта гармония, эта красота.

Пуанкаре дал ясно понять, что он не имеет в виду романтическую красоту, внешнюю красоту, поражающую чувства. Он имел в виду классическую красоту, которая возникает при согласованном порядке частей, которую может прочувствовать только чистый интеллект, которая придаёт структурность романтической красоте, без которой жизнь была бы смутной и преходящей, мечта, от которой нельзя отличить свои собственные мечтания, ибо не будет основы для проведения такого различия. И именно стремление к этой особой классической красоте, к чувству гармонии космоса, заставляет нас выбирать факты, наиболее подходящие к данной гармонии. И не только факты, а взаимоотношение вещей приводит в результате к универсальной гармонии, которая и является единственной объективной реальностью.

Объективность мира, в котором мы живём, гарантируется тем, что он

является общим для всех мыслящих существ. Посредством общения с другими людьми мы получаем от них готовые гармоничные суждения. Мы знаем, что эти суждения происходят не от нас, и в то же время узнаём в них, по их гармоничности, работу разумных существ подобных себе. А поскольку эти суждения соответствуют миру наших ощущений, думается, можно полагать, что эти разумные существа видят то же, что и мы; и таким образом мы знаем, что это нам не привиделось. Эта вот гармония, если хотите, вот это качество, и есть единственная основа той реальности, которая нам известна.

Современники Пуанкаре отказывались признавать, что факты предварительно отобраны, ибо считали, что сделать это — значит нарушить действенность научного метода. Они полагали, что “предварительно отобранные факты” означают, что истина состоит в том, “что вам только нравится”, и называли его идеи конвенционализмом. Они решительно отрицали то, что их собственный “принцип объективности” сам по себе не является наблюдаемым фактом, и поэтому их собственные критерии следует содержать в состоянии постоянной реанимации.

Они чувствовали, что вынуждены так поступать, ибо в противном случае вся философская подоплёка науки рухнет. Пуанкаре не предложил никаких решений этой загадки. Он не стал достаточно глубоко вдаваться в метафизические тонкости сказанного им, чтобы придти к нужному решению. Он только забыл сказать, что отбор фактов до того, как вы их “наблюдаете”, представляет собой “всё, что угодно” только в дуалистической, субъектно-объектной метафизической системе! Если в картину ввести качество как третье метафизическое образование, то предварительный отбор фактов уже не выходит произвольным. Предварительный отбор фактов основан не на субъективном, капризном “что вам только понравится”, а на качестве, которое само является реальностью. И тогда загадка исчезает.

Это было как будто Федр разгадывал свою головоломку и из-за нехватки времени оставил одну сторону совершенно незавершённой.

Пуанкаре же работал над своей собственной головоломкой. Его суждение о том, что учёный отбирает факты, гипотезы и аксиомы на основе гармонии, также оставляет впечатление недоразгадливой загадки из-за грубых изломанных очертаний. В научном мире оставить впечатление, что источником всякой научной действительности является просто субъективная, капризная гармония — то же самое, что решать проблемы гносеологии и оставить необработанной границу с метафизикой. Это делает гносеологию неприемлемой.

Но из Федровой метафизики нам известно, что та гармония, о которой толковал Пуанкаре — вовсе не субъективна. Она — источник субъектов и объектов, и существует в предшествующих отношениях к ним. Она не капризна, это сила, противостоящая капризности, упорядочивающий принцип всей научной и математической мысли, разрушающей капризность. Без неё не может развиваться никакая научная мысль. На глазах у меня выступили слёзы признательности, когда обнаружилось, что эти необработанные края точно совпадают в той самой гармонии, о которой говорили и Федр, и Пуанкаре. Они составляют полную структуру мышления, способную объединить отдельные языки Науки и Искусства в одно целое.

Горы по обе стороны от нас становятся крутыми и образуют узкую долину, которая, извиваясь, ведет к Мизуле. Встречный ветер измотал меня, и я чувствую усталость. Крис хлопывает меня по плечу и указывает на высокую скалу, где нарисована громадная буква М. Я киваю. Утром, выезжая из Бозмена, мы уже видели такую. Мелькает воспоминание, что первокурсники всех школ каждый год забираются туда и рисуют букву М.

На бензоколонке, где мы заправляемся, с нами заговаривает мужчина с фургона, в котором везут двух лошадей Аппалуза. Большинство лошадиников обычно недолго любит мотоциклистов, а этот нет, он задаёт массу вопросов, на которые я отвечаю. Крис всё просит, чтобы поехать к букве М, но я вижу, что дорога туда крутая, с глубокими колеями и рытвинами. С нашим дорожным мотоциклом и тяжёлым грузом мне не хочется испытывать судьбу. Мы делаем разминку, прогуливаясь кругами, и затем с некоторой осторожностью выезжаем из Мизулы и направляемся к Лоло-Пассу.

Припоминается, что не так уж много лет тому назад эта дорога была грунтовой, она извивалась вокруг каждого камня и утёса в горах. Теперь она вымощена, и повороты стали очень широкими. Весь тот поток машин, в котором мы двигались, очевидно направлялся на север к Калиспеллу или Кёр-Далену, ибо теперь их почти нет. Мы едем на юго-запад, ветер теперь дует нам в спину, и это гораздо приятнее. Дорога начинает петлять перед перевалом.

Теперь исчезли все приметы востока, по крайней мере в моём воображении. Все дожди сюда приходят с Тихого океана, и все речки и ручьи стекают отсюда обратно туда же. Через пару-тройку дней мы будем у океана.

В Лоло-Пассе мы замечаем ресторан и заезжаем туда, остановившись рядом с выдавшим виды “Харлеем”. Сзади у него самодельный багажник, а

на спидометре тридцать шесть тысяч миль. Настоящий дальнобойщик.

Заправившись пиццей и молоком, мы сразу же двигаем дальше. Световой день скоро кончится, а искать место для привала в темноте трудно и неприятно.

При выезде видим дальнобойщика с мотоциклом и его жену и здороваемся с ними. Он из Миссури, и по блаженному виду его жены понимаем, что они путешествуют с удовольствием. Мужчина спрашивает: “Вам пришлось бороться с ветром на пусти к Мизуле?”

Я утвердительно киваю. “Скорость его была миль тридцать-сорок в час”.

— Не меньше, — отвечает он.

Некоторое время мы разговариваем о привале, и они говорят, что будет холодно. В Миссури они и представить себе не могли, что летом может быть так холодно, даже в горах. Придётся им покупать себе теплые вещи и одеяла.

— Сегодня ночью не должно быть слишком холодно, — говорю я. — Мы всего лишь на высоте пять тысяч футов.

Крис говорит: “Мы будем делать привал прямо у дороги”.

— На площадке для отдыха?

— Нет, прямо где-нибудь у дороги, — отвечаю я.

Они не выказывают готовности присоединиться к нам, так что после паузы я нажимаю кнопку стартера и мы машем им на прощанье.

Длинные тени деревьев с гор лежат теперь поперёк дороги. Миль через пять-десять замечаем повороты на просеки лесоповала и направляемся туда.

Дорога песчаная, я еду на малой скорости, растопырив ноги, чтобы не опрокинуться. Мы замечаем ещё повороты по сторонам, но я держусь основной просеки до тех пор, пока через милью не выезжаем к каким-то бульдозерам. Это значит, что разработки всё ещё идут здесь. Поворачиваем назад и въезжаем в одну из боковых просек. Через полмили подъезжаем к бревну, лежащему поперёк дороги. Это хорошо. Это значит, что дорога заброшена.

Я говорю Крису: “Вот здесь”, и он слезает. Мы находимся на склоне, с которого на много миль вокруг виден нетронутый лес. Крис жаждет исследовать всё вокруг, но я так устал, что просто хочу отдохнуть. “Иди сам”, - говорю я.

— Нет, пойдём вместе.

— Я совсем устал, Крис. Утром пойдём вместе.

Развязываю поклажу и расстилаю спальные мешки на земле. Крис

уходит. Я растягиваюсь, и усталость заливает мне руки и ноги. Тишина, прекрасный лес...

Со временем возвращается Крис и говорит, что у него понос.

— О, — восклицаю я, и поднимаюсь. — Надо сменить бельё?

— Да, — вид у него смущённый.

— Ну вот, оно в поклаже на переднем багажнике. Переоденься, возьми кусок мыла из сумки и пойдём вниз к ручью, там и постираем. Он смущён случившимся и с удовольствием исполняет всё, что ему говорят.

Пока мы спускаемся вниз, ноги у нас скользят на склоне. Крис показывает мне камешки, которые он подобрал, пока я спал. Воздух здесь наполнен густым запахом хвои. Солнце уже низко, и становится прохладно. Тишина и усталость, закат солнца немного портят мне настроение, но я не подаю виду.

После того, как Крис очень чисто постирал бельё и хорошенько выжал его, мы направляемся назад по трелёвочной дороге. Пока мы поднимаемся, у меня вдруг возникает подавленное чувство, как будто бы я карабкаюсь по этой дороге всю свою жизнь.

— Пап?

— Что? — С дерева перед нами взлетает маленькая птичка.

— Кем мне надо быть, когда вырасту?

Птичка скрывается за дальним кряжем. Я не знаю, что ответить.

— Порядочным, — наконец отвечаю я.

— Я имею в виду, кем работать.

— Кем угодно.

— Почему ты сердишься, когда я спрашиваю об этом?

— Я не сержусь... просто думаю... ну, не знаю... Сейчас я слишком устал, чтобы думать... Да неважно, кем ты будешь.

Такие дороги становятся всё уже и уже и пропадают совсем.

Позже я замечаю, что он отстаёт.

Солнце уже скрылось за горизонтом, и наступили сумерки. Обратно мы идём врозь по трелёвочной дороге, и когда добираемся до мотоцикла, то залезаем в спальные мешки и ни слова не говоря засыпаем.

Вот она в конце коридора, стеклянная дверь. За ней находится Крис, с одной стороны его младший брат, с другой стороны — мать. Крис положил руку на стекло. Он узнал меня и машет рукой. Я машу в ответ и подхожу к двери.

Как всё здесь тихо. Как в кино с пропавшим звуком.

Крис смотрит на мать и улыбается. Она улыбается ему в ответ, но я замечаю, что так она лишь скрывает своё горе. Она чем-то очень расстроена, но не хочет, чтобы они это видели.

И теперь я вижу, что же это за стеклянная дверь. Это крышка гроба, моего.

Даже не гроба, а саркофага. Я нахожусь в огромном склепе, а они пришли проститься со мной.

Как это любезно с их стороны. Ведь им не стоило делать этого. Я так признателен.

Крис делает мне знаки, чтобы я открыл стеклянную дверь склепа. Видно, что он хочет поговорить со мной. Возможно, он хочет, чтобы я рассказал ему, что такое смерть. И мне хочется сделать это, рассказать ему. Так хорошо, что он пришёл и машет мне рукой. Я скажу ему, что здесь не так уж и плохо. Просто очень одиноко.

Я протягиваю руку, чтобы толкнуть дверь, но какая-то темная фигура в тени рядом с дверью, делает мне знак не трогать её. Палец поднят к губам, которых мне не видно. Мертвым не положено разговаривать.

Но ведь они хотят, чтобы я говорил. Я всё ещё нужен! Разве он этого не понимает? Тут какая-то ошибка. Разве он не видит, что я им нужен? Я умоляю фигуру дать мне поговорить с ними. Ведь ещё не всё кончено. Мне нужно им кое-что сказать. Но фигура в тени даже и не подаёт вида, что слышит меня.

— КРИС! — кричу я через дверь. — МЫ ЕЩЁ УВИДИМСЯ! — Тёмная фигура угрожающе придвигается ко мне, но я слышу вдалеке слабый голос Криса: “Где?” Он услышал меня! И тёмная фигура в гневе задёргивает на двери занавеску.

Не на горе, думаю я. Гора пропала. — “НА ДНЕ ОКЕАНА! — кричу я.

А теперь я стою один одинёшенек на развалинах опустевшего города. Руины простираются вокруг меня бесконечно во все стороны, и я должен идти по ним один.

Встало солнце.

Какое-то время я не отдаю себе отчёта, где это я.

Мы находимся где-то у дороги в лесу.

Дурной сон. Снова эта стеклянная дверь.

Рядом мерцает хромовое покрытие мотоцикла, затем я вижу сосны, и вспоминаю про Айдахо.

Дверь и смутная фигура рядом с ней — всего лишь воображение.

Мы находимся на трелёвочной дороге, всё верно... яркий день... сверкающий воздух. Вот это да!.. Как красиво. Мы направляемся к океану.

Я снова вспоминаю сон и слова “Увидимся на дне океана” и удивляюсь им. Но сосны и солнечный свет сильнее всякого сна, и удивление пропадает. Добрая старая действительность.

Быстро вылезая из спального мешка. Холодно, и я споро одеваюсь. Крис всё ещё спит. Я обхожу его вокруг, перелезаю через поваленное дерево и иду по трелёвочной дороге. Чтобы согреться, перехожу на бег трусцой и быстро двигаюсь по дороге. Хо-ро-шо. Хо-ро-шо. Хо-ро-шо. Это слово удачно подходит к ритму бега. Из затенённого холма на солнце вылетают птички, и я слежу за ними, пока они не скрываются из виду. Хо-ро-шо. Хо-ро-шо. Хо-ро-шо. На дороге поскрипывает гравий. Хо-ро-шо. Яркий жёлтый песок на солнце. Хо-ро-шо. Такие дороги иногда тянутся на несколько миль. Хо-ро-шо. Хо-ро-шо.

Наконец я набегался до того, что по настоящему запыхался. Дорога здесь поднялась высоко, и над лесом видно на много миль окрест.

Хо-ро-шо.

Всё ещё тяжело дыша, я спускаюсь обратно быстрым шагом, ступая теперь осторожнее и обращая внимание на небольшие растения и кустики там, где был лесоповал.

У мотоцикла я аккуратно и быстро пакую вещи. Теперь, когда мне знакомо, как всё укладывать, всё делается быстро почти безо всяких мыслей. Наконец доходит очередь до спального мешка Криса. Я слегка качаю его, не слишком грубо, и говорю: “Отличный денёк!”

Ничего не соображая, он озирается. Выбирается из мешка, и пока я упаковываю его, механически одевается, не понимая толком, что делает.

— Одень свитер и куртку, — говорю я. — Сегодня будет холодный день.

Он так и делает, садится на мотоцикл, и на малой скорости мы съезжаем по трелёвочной дороге до перекрёстка с асфальтом. Прежде чем ехать дальше, я оглядываюсь назад в последний раз. Чудесно. Очень милое место. Отсюда асфальт, извиваясь, уходит всё дальше и дальше вниз.

Сегодня будет долгая шатокуа. Такая, о которой я мечтал всю поездку.

Вторая передача, затем третья. Не слишком-то быстро на таких поворотах. Лес залит прекрасным солнечным светом.

В этой шатокуа до сих пор остаётся какая-то смутная, подспудная проблема. В первый день я говорил о любви, а затем понял, что не могу сказать ничего толкового о ней до тех пор, пока не поймёшь её внутреннюю сторону, качество. Думается, теперь важно увязать любовь с качеством, отметив, что любовь и качество — это внутренний и внешний аспекты одной и той же вещи. Человек, который во время работы видит и чувствует качество, это — любящий человек. Человек, которому небезразлично то, что он видит и делает, должен обладать некоторыми характеристиками качества.

Итак, если проблема технической безнадёжности вызвана отсутствием любви, как у технарей, так и у их оппонентов, если любовь и качество — внешний и внутренний аспекты одной и той же вещи, тогда логически следует, что техническая безнадёжность в действительности вызвана отсутствием восприятия качества в технике как со стороны технарей, так и их оппонентов. Слепая гонка Федра за рациональным, аналитическим и посему технологическим смыслом слова “качество” в действительности была погоней за ответом ко всей проблеме технической безнадёжности. По крайней мере, мне так кажется.

Итак я отступил и перешёл к разрыву между классическим и романтическим, который по моему мнению лежит в основе всей гуманитарно-технической проблемы. Но при этом также пришлось отступить к смыслу качества.

Чтобы понять смысл качества в классическом выражении, надо отступить к метафизике и её взаимосвязям с повседневной жизнью. Чтобы сделать это, надо ещё дальше отступить к огромной сфере, имеющей отношение как к метафизике, так и к повседневной жизни, а именно, к формальному рассуждению. Итак я перешёл от формального рассуждения вверх к метафизике, затем к качеству, и затем от качества назад к метафизике и науке.

Теперь же пойдём дальше вниз от науки к технике, и я очень надеюсь, что наконец попадём туда, куда я хотел добраться с самого начала.

Сейчас у нас есть кое-какие концепции, которые в значительной мере

меняют всё понимание вещей. Качество — это Будда. Качество — научная действительность. Качество — это цель искусства. Остаётся разработать эти концепции в практическом, приземленном контексте, и здесь нет ничего более практического или приземлённого, чем то, о чём я толковал всю дорогу: ремонт старого мотоцикла.

Дорога по-прежнему вьётся, спускаясь по каньону. Везде сияют пятна раннего утреннего солнца. Мотоцикл гудит на холодном воздухе, проносясь мимо горных сосен, мимо указателя, гласящего, что через милю можно будет позавтракать.

— Проголодался? — кричу я.

— Да! — Крис кричит в ответ.

Вскоре появляется второй указатель с надписью “Кабинки”, он ведёт влево. Сбавляем ход, поворачиваем и едем по грунтовой дороге, пока не появляются под деревьями домики, покрытые лаком. Ставим мотоцикл под деревом, выключаем зажигание, перекрываем бензин и заходим в помещение. Деревянные полы приятно поскрипывают под нашими сапогами. Усаживаемся за стол, покрытый скатертью и заказываем яйца, горячие булочки, кленовый сироп, молоко, сосиски и апельсиновый сок. На холодном ветру аппетит так и разыгрался.

— Хочу написать письмо маме, — говорит Крис.

Мне это нравится. Я иду к конторке и беру фирменную бумагу и конверт. Приношу их Крису и даю ему свою ручку. Свежий утренний воздух взбодрил и его. Он кладёт бумагу перед собой, крепко сжимает пальцами ручку и затем некоторое время сосредоточенно смотрит на пустой лист бумаги.

Поднимает взор. — “Какое сегодня число?”

Я говорю. Он кивает и записывает его.

Затем я вижу, как он пишет: “Дорогая мама!”

Потом опять смотрит на лист бумаги.

Снова поднимает глаза. — “Что писать?”

Я начинаю ухмыляться. Надо было дать ему задание описывать одну сторону монеты в течение часа. Иногда я представлял его себе студентом, хоть и не по курсу риторики.

Тут нас прерывают и приносят горячие булочки, я велю ему отложить письмо и говорю, что потом помогу ему.

Когда мы кончили, и я сижу покуривая с тяжестью в животе от булочек, яиц и всего прочего, то замечаю через окно, что земля под соснами во дворе покрыта перемежающимися пятнами теней и солнечного света.

Крис снова берёт бумагу. — “Ну, помогай”.

— Хорошо, — отвечаю я. Говорю ему, что самое распространенное затруднение — это когда заедает. Чаще всего это бывает, когда берёшься за слишком многое одновременно. Надо попытаться не заставлять себя подыскивать слова. Так ещё больше заходишь в тупик. Сейчас надо рассортировать вещи и делать их по очереди. Ты же ведь думаешь о том, что написать и одновременно, что писать в первую очередь, а это уж слишком сложно. Итак, раздели сначала эти мысли. Составь себе список того, что тебе хочется сказать в любой очередности. Позже мы приведём его в нужный порядок.

— А какие вещи? — спрашивает он.

— Ну, что ты хочешь сказать ей?

— О поездке.

— Что о поездке?

Он задумывается: “О горах, куда мы взбирались”.

— Хорошо, запиши это, — предлагаю я.

Он пишет.

Затем я вижу, как он записывает что-то ещё, и пока я заканчиваю курить и допивать кофе, что-то ещё. Он исписывает три листа бумаги, перечисляя всё, что ему хотелось бы рассказать.

— Сохрани их, — говорю я, — а потом мы с ними разберёмся.

— Но ведь это не уместится в одно письмо.

Он замечает, что я смеюсь, и хмурится.

Я отвечаю: “А ты просто выбери самое лучшее”. Мы выходим на улицу и снова садимся на мотоцикл.

На дороге вниз по каньону мы всё время ощущаем снижение высоты по тому, как у нас щёлкает в ушах. Становится теплей, и воздух теперь уж плотней. Прощай высокогорье, в котором мы находились почти с самого Майлс-Сити.

Заедание. Вот о чём мне хочется поговорить сегодня. Ещё тогда, когда мы ехали из Майлс-Сити, помните, я толковал о том, каким может быть формальный научный метод в применении к ремонту мотоцикла при исследовании цепочек причин и следствий и при использовании экспериментального метода в определении этих цепочек. Цель тогда состояла в том, чтобы показать, что представляет собой классическая рациональность.

Теперь же я хочу показать, что классическую структуру рациональности можно значительно улучшить, расширить и сделать более эффективной посредством формального признания качества в её работе. Но до этого, однако, мне надо рассмотреть некоторые отрицательные аспекты

традиционного ухода и показать, в чем же состоят проблемы.

Первое — это заедание, умственное заедание, сопровождающее физическое заедание того, с чем вы имеете дело. Как раз то самое, которое мучит сейчас Криса. К примеру, заедает винт на боковой крышке. Заглядываешь в руководство, нет ли какой особой причины тому, что он так туго идёт, но там всего лишь сказано: “Снимите боковую крышку” в том самом скупом техническом стиле, когда ничего не говорится о том, что вам нужно выяснить. Нет никакой предварительно не выполненной процедуры, которая могла бы привести к заеданию винтов этой крышки.

Если вы достаточно опытни, то возможно в данном случае попробуете применить какой-нибудь растворитель ржавчины или ударный ключ. А допустим вы неопытны и используете пассатижи тиски, зажимаете ими ствол отвёртки и начинаете с силой поворачивать его. Эта процедура приводила к успеху в прошлом, но на этот раз вы только срываете шлиц на головке винта.

Вы уже думали о том, что делать, когда снимете крышку, и требуется некоторое время на осознание того, что данный мелочный, но неприятный казус с сорванным шлицем, не просто неприятен и мелочен. Заело. Вы попали в тупик. Все застопорилось. Это совершенно не даёт вам больше возможности починить мотоцикл.

Такое не так уж редко случается в науке и технике. Это самое обычное дело. Просто-напросто заело. В традиционном уходе это самое паршивое дело, настолько паршивое, что до столкновения с ним даже и думать об этом не хочется. Руководство теперь больше ни к чему. Научное мышление также. Не нужны больше никакие научные эксперименты, чтобы выяснить, в чём дело. И так очевидно, в чём беда. Теперь нужна гипотеза о том, как вывернуть оттуда винт с сорванным шлицем, а научный метод не даёт никаких гипотез на этот счёт. Он действует только после того, как они появились.

Тут наступает полное затмение сознания. Заело. Ответа нет. Чокнутый. Капут. В эмоциональном плане это жуткое испытание. Теряешь время. Некомпетентен. Не отдаёшь себе отчёта, что делаешь. Стыдиться надо. Надо было отдать машину настоящему механику, который знает, как надо действовать.

В данный момент вполне вероятно может наступить синдром ярости и злости, захочется срубить головку винта зубилом, сбить, наконец, крышку кувалдой. Задумываешься над этим, и чем больше думаешь, тем больше склоняешься к тому, чтобы затащить всю машину на высокий мост и сбросить её оттуда. Подумать только, что какой-то шлиц на головке винта

может полностью вывести человека из себя.

Здесь сталкиваешься с великим неизвестным, с пустотой всего западного мышления. Нужны идеи, какие-то гипотезы. Но к сожалению, традиционный научный метод так и не даёт конкретного ответа, где же всё-таки брать эти самые гипотезы. Традиционный научный метод всегда был лучше всего. Полное осознание того, что уже было. Очень хорошо видится то, где уже был. Он годится, чтобы проверить истинность того, что уже известно, но ничего не говорит о том, что следует делать, если только это не является продолжением того, что уже делалось в прошлом. Вне сферы его действия полностью остаются творчество, оригинальность, изобретательность, интуиция, воображение, другими словами, способы “разъедания”.

Мы едем дальше по каньону, мимо ущелий и крутых склонов, где в него впадают широкие реки. Мы замечаем, как река быстро растёт по мере того, как потоки пополняют её. Повороты стали не такими крутыми, и прямые участки теперь гораздо продолжительнее. Я переключаюсь на высшую скорость.

Позднее деревья становятся реже и менее пышными, между ними появляются большие поляны с подлеском и лужайками. В свитере и куртке становится жарко, так что я останавливаюсь на разъезде, чтобы снять их.

Крису хочется прогуляться по тропе, и я позволяю ему это, а сам нахожу себе местечко в тени, чтобы посидеть и отдохнуть. Кругом так всё тихо и располагает к размышлению.

На щите даётся описание лесного пожара, который был здесь несколько лет назад. По изложенным сведениям, лес начал восстанавливаться, но пройдут ещё годы, прежде чем он вернётся в прежнее состояние.

Чуть позже по хрусту гравия я слышу, что Крис возвращается вниз по тропе. Он не стал ходить далеко. По возвращении он сразу же говорит: “Поехали”. Мы снова увязываем поклажу, которая стала съезжать набок, и выезжаем на шоссе. Пот, выступивший у меня, пока я сидел там, быстро просыхает на ветру.

Мы так и застряли с винтом, и согласно традиционному научному методу, единственное, что можно сделать, это — отказаться от дальнейшего его обследования. Но так не годится. Нам придётся исследовать традиционный научный метод в свете этого заевшего винта.

До сих пор мы рассматривали этот винт “объективно”. Согласно доктрине объективности, неотъемлемой части традиционного научного метода, то, что этот винт нам нравится или не нравится, не имеет никакого

отношения к правильному мышлению. Нам не следует делать оценок того, что видно. Следует оставить свой мозг чистой доской, которую природа заполняет нам, и затем беспристрастно размышлять над наблюдаемыми фактами.

Но когда остановишься и подумаешь беспристрастно об этом заевшем винте, то начинаешь понимать, что сама мысль о бесстрастном наблюдении глупа. Где они, эти факты? Что мы тут собираемся бесстрастно наблюдать? Сорванный шлиц? Не поддающуюся снятию боковую крышку? Состояние покраски её? Спидометр? Ручку для заднего седока? Как сказал бы Пуанкаре, в мотоцикле имеется бесконечное число фактов, а нужные из них никак не вытанцовываются и не выпячивают себя. Требуемые факты, те, которые нам действительно нужны, не только пассивны, а ещё чертовски неуловимы, и мы вовсе не собираемся просто-напросто “наблюдать” их. Нам нужно непосредственно заняться ими и отыскивать их, иначе мы застрянем тут надолго. Навсегда. Как отмечал Пуанкаре, должен быть какой-то вдохновенный выбор тех фактов, которые мы хотим наблюдать.

Разница между хорошим механиком и плохим, как и разница между хорошим и плохим математиком, и состоит именно в этой способности отделять хорошие факты от плохих на основе качества. Надо быть неравнодушным! Это та способность, о которой формальный традиционный научный метод ничего не говорит. И давно уже пора повнимательнее посмотреть на такой качественный предварительный отбор фактов, которого так тщательно избегали те, кто придаёт огромное значение этим фактам после того, как они уже выявлены. Я думаю, будет установлено, что формальное признание роли качества в научном процессе вовсе не разрушает эмпирического видения. Оно лишь расширяет, укрепляет и ставит его гораздо ближе к фактической научной практике.

Мне кажется, что основная беда с проблемой заедания состоит в упоре традиционной рациональности на “объективность”, в доктрине, что существует раздельная действительность субъекта и объекта. В подлинной науке должно быть чёткое разделение этих двух понятий. “Вы механик. Вот вам мотоцикл. Вы навсегда отделены друг от друга. Вы делаете с ним то. Вы делаете с ним это. Результаты будут таковы.”

И такой извечно дуалистический субъектно-объектный подход к мотоциклу кажется нам верным, ибо мы привыкли к нему. Но он не верен. На действительность всегда накладывается искусственное истолкование. И оно никогда не было самой реальностью. Когда полностью согласишься с такой двоякостью, тогда разрушается некая неделимая взаимосвязь между

механиком и мотоциклом, нарушается чувство мастерства в работе. Когда традиционная рациональность подразделяет работу на субъект и объект, тогда исключается качество, а когда по настоящему попадаешь в трудное положение, то именно качество, а не субъект или объект, указывает, как следует действовать.

Вновь обратив внимание на качество, надеемся, что можно будет отделить техническую часть работы от бесстрастного субъектно-объектного дуализма и вернуться к творческой неравнодушной действительности, которая выявит нам нужные факты, когда мы попали в тупик.

Я представляю себе это как громадный, длинный железнодорожный состав из 120 вагонов, который то и дело снуёт по прерии, перевозя древесину и овощи на восток, а автомобили и другие промышленные товары на запад. Я хочу назвать этот состав “знанием” и подразделить его на две части: классическое знание и романтическое знание.

В плане аналогии, классическое знание, преподаваемое в Храме разума, это — локомотив и все вагоны. Все до единого, и всё что в них есть. Если подразделить поезд таким образом, то романтического знания нигде нет. И если не быть осторожным, то можно легко предположить, что в этом и состоит весь поезд. Вовсе не потому, что романтического знания не существует или оно не важно. И таким образом определение поезда до сих пор выходит статичным и бесцельным. К этому-то я и пытался подобраться ещё в Южной Дакоте, когда толковал о двух плоскостях существования. Два цельных пути рассмотрения этого состава.

Романтическое качество в плане этой аналогии вовсе не представляет собой “часть” состава. Это передний край локомотива, двухмерная плоскость, которая в действительности не имеет значения, если только не понять, что поезд — это не статическое образование. Поезд — вовсе не поезд, если он никуда не едет. В процессе исследования поезда и подразделения его на части мы ненароком остановили его, и теперь это уже не тот состав, который мы изучаем. Вот почему мы попали в тупик.

Настоящий состав знания — не статическое образование, его нельзя остановить и подразделять. Он всё время куда-то движется. По рельсам, называемым качеством. И локомотив и все 120 вагонов могут двигаться только туда, куда ведут их рельсы качества, а романтическое знание, ведущий край локомотива, влечет их по этой колее.

Романтическая действительность — режущая кромка опыта. Это ведущий край состава знания, удерживающего весь поезд на колее. Традиционное знание — это лишь коллективная память того, где был этот

ведущий край. На ведущем крае нет ни субъектов, ни объектов, впереди только колея качества, и если нет формального способа оценки, нет путей признания этого качества, то у состава нет никакого понятия, куда двигаться. Получается уже не чистый разум, а чистое недоразумение. И абсолютно всё действие происходит на ведущем крае. На ведущем крае сосредоточены все безграничные возможности будущего. Он содержит всю историю прошлого. А где ещё они могут быть?

Прошрое не может помнить прошлого. Будущее не может породить будущего. Режущая кромка данного мгновения вот тут и теперь всегда представляет собой ничто иное, как совокупность всего, что имеется в наличии.

Ценность, ведущий край действительности, больше не является несущественным отростком структуры. Ценность — предшественник структуры. И возвращает её доинтеллектуальное осознание. Наша структурная действительность предварительно отбирается на основе ценности, и чтобы по настоящему понять её, нужно понять источник ценности, из которого она возникает.

Наше рациональное понимание мотоцикла поэтому видоизменяется каждую минуту по ходу работы и по мере осознания того, что в новом, отличном от старого рациональном понимании, содержится больше качества. И тогда не цепляешься за старые навязчивые идеи, ибо есть непосредственная рациональная основа для отказа от них. Реальность больше не статична. Это не набор идей, с которыми надо либо бороться, либо держаться за них. Она частью состоит из идей, которые должны расти вместе с нами из века в век. С качеством как центральным, не определенным членом, действительность, по своей сущности, является не статичной, а динамичной. А когда по настоящему поймёшь динамическую действительность, никогда не окажешься в тупике. У неё есть формы, но эти формы способны меняться.

Представим это конкретнее: если хотите построить завод, починить мотоцикл или наладить дела в стране без заеданий, тогда требуется классическое, структурное дуалистическое субъектно-объектное знание, хоть этого и недостаточно. Нужно ещё некоторое чувство качества работы. Требуется ощущение того, что в действительности хорошо. Именно этим и продвигаешься вперёд. Это не врождённое чувство, хоть с ним и рождаешься. Его можно культивировать. Это не просто “интуиция”, не необъяснимое “мастерство” или “талант”. Это непосредственный результат контакта с основополагающей действительностью. Качество, которое в прошлом дуалистическое мышление стремилось скрывать.

Всё это звучит слишком заумно и эзотерически. Если представить всё это так, то с изумлением обнаруживаешь, что именно таким является доморощенный, приземлённый взгляд на действительность. И тут из множества людей на ум приходит не кто иной, как Гарри Трумэн, который говорил по поводу своих административных программ: “Мы просто испробуем их... а если они не сработают... ну, тогда испробуем что-нибудь другое”. Цитата, может, и не точна, но достаточно верна.

Действительность американского правительства, говорил он, не статична, а динамична. Если нам это не понравится, то возьмем что-нибудь получше. Американское правительство не собирается зацикливаться на каком бы то ни было наборе причудливых доктринёрских идей.

Ключевым словом здесь является “лучше” — качество. Кое-кто может спорить и утверждать, что подспудная форма американского правительства всё-таки застыла и неспособна изменяться согласно требованиям качества, но такой довод неуместен. Дело в том, что президент и все остальные, от любого бесшабашного радикала, до самого заядлого реакционера, согласны с тем, что правительство должно меняться согласно качеству, даже если этого и не происходит. И мы всегда единодушно считали, хоть и не выражали этого словами, справедливой концепцию Федра об изменчивости качества как действительности, такой всемогущей реальности, что целые правительства должны меняться, чтобы соответствовать ему.

И то, что говорил Трумэн, по существу ничем не отличается от практического, прагматического отношения к делу любого лабораторного учёного, инженера или механика, когда он не мыслит “объективно” в ходе своей повседневной работы.

Хоть я и толкую о чистой теории, но выходит то, что известно каждому, фольклор. Это качество, это ощущение работы, нечто такое, что известно в любом цеху.

И наконец, давайте вернёмся к тому винту. Давайте пересмотрим ситуацию, при которой случилось заедание, полное затмение сознания. Это не худшее из всевозможных положений, а лучшее из того, что может быть. Ведь дзэн-буддисты идут на многое, чтобы впасть в такое состояние, прострацию, посредством медитации, глубокого дыхания, неподвижного сидения и тому подобного. Ум становится пустым, у вас “исходно-гибкое отношение”, “мышление начинающего”. Вы на переднем крае состава знаний, в колее самой действительности. И представьте себе ради разнообразия, что этого момента не надо бояться, а наоборот, его надо культивировать. Если уж действительно у вас ум за разум зашёл, то это, может быть, гораздо лучше, чем если бы он был перегружен идеями.

Решение проблемы вначале нередко представляется неважным или нежелательным, но со временем состояние безнадёжности выявляет её подлинную важность. Оно казалось мелочным, ибо его делало таким ваше прежнее жесткое мировоззрение, которое и привело к заеданию.

А теперь учтите следующее: как бы вы ни старались сохранить такое положение, оно неизбежно исчезнет. Ваш ум естественно и свободно придёт к какому-либо решению. Если вы только не настоящий рохля, и тут уж ничего не поделаешь. И бояться заедания вовсе не следует, ибо чем дольше оказываешься в тупике, тем яснее видишь качество-реальность, которое неизменно выводит из него. В действительности в тупик вас завела беготня по вагонам состава знания в поисках решения, которое находится перед поездом.

Заедания не следует избегать. Это психический предтеча любого настоящего понимания. Беззаветное приятие заедания — это ключ к пониманию всего качества, как в механической работе, так и в любом другом деле. Это такое понимание качества, выявляемое заеданием, при котором механики самоучки оказываются выше обучавшихся в институтах людей, умеющих справляться со всем, кроме неординарной ситуации.

Обычно винты настолько дешёвы, малы и просты, что их не считаешь важными. А теперь, когда осознание качества становится сильнее, начинаешь понимать, что вот этот, особый, конкретный винт и не дешёв, и не мал, и весьма немаловажен. Вот теперь он стоит ровно столько, сколько стоит весь мотоцикл, ибо мотоцикл практически не стоит ничего, если не вывернуть этот винт. При переоценке значения винта возникает и желание расширить свои познания о нём.

При расширении таких знаний, вероятнее всего, появится и переоценка того, что же представляет собой этот винт на самом деле. Если сосредоточиться на этом, поразмышлять, заикнуться на нём достаточно долго, то, пожалуй, со временем осознаешь, что этот винт всё меньше и меньше становится типичным предметом в своём роде, и всё больше уникальным по своей природе объектом. Сосредоточившись ещё больше, начнёшь понимать, что этот винт вовсе даже и не объект, а средоточие функций. И заедание постепенно отменяет шаблоны традиционного мышления.

В прошлом, когда вы постоянно отделяли субъект от объекта, ваше мышление о них было очень жестким. Вы сформировали себе класс, называемый “винт”, который казался нерушимым и более реальным, чем сама действительность. И не могли представить себе, как выбраться из тупика, ибо были не в состоянии придумать ничего нового, так как не

видели ничего нового.

Теперь, чтобы вывернуть этот винт, вас больше не интересует, что он из себя представляет. То, что он из себя представляет, перестало быть категорией мышления, а продолжает оставаться непосредственным опытом. Оно уже не в товарных вагонах, а впереди поезда, и способно изменяться. Вас уже интересует, как он действует и почему он так действует. Вы начнёте задавать функциональные вопросы. И связанными с вашими вопросами будет возвышенное разграничение качества идентичное тому разграничению, которое привело Пуанкаре к фуксианским уравнениям.

И то, каковым будет ваше практическое решение, — неважно, лишь бы в нём было качество. Мысли о винте, как о соединении жёсткости и адгезии и о его особом спиральном зацеплении, могут вполне естественно привести к решениям с ударным действием или к применению растворителей. Это один из видов колеи качества. Другого рода колея может состоять в том, чтобы пойти в библиотеку, порыться в каталогах инструментов механика и подыскать такое приспособление, которое могло бы выполнить эту работу. Или позвонить приятелю, который разбирается в механике. Или же просто высверлить этот винт или выжечь его горелкой. Или же, в результате своих размышлений о винте, вы можете найти какой-нибудь новый путь извлечения его, до которого ещё никто не додумался, и который окажется лучше прочих, его можно запатентовать и через пять лет стать миллионером. Невозможно предсказать, что будет на колее качества. Все решения оказываются простыми, после того, как вы к ним пришли. Но простыми они бывают только тогда, когда вы уже знаете, что они из себя представляют.

Шоссе № 13 протекает вдоль другого притока нашей реки, но теперь оно идёт вверх по течению мимо старых городков с лесопилками и сонного пейзажа. Иногда, сворачивая с шоссе федерального значения на такую местную дорогу, кажется что таким образом возвращаешься в прошлое. Прекрасные горы, чудная река, хоть и с рытвинами, но приятная мощёная дорога... старые здания, старые люди на крылечке... странно, что старые, обветшалые дома, заводы и лесопилки с технологией пятидесяти и столетней давности, всегда смотрятся гораздо лучше, чем новые постройки. В тех местах, где растрескался бетон, теперь растут сорняки, травы и полевые цветы. Четкие, прямоугольные и ровные очертания приобретают некую округлость. Равномерные поверхности ненарушенного цвета свежей покраски несколько изменяют вызванную ветхостью и погодой мягкость. У природы есть своя собственная неевклидова

геометрия, которая как бы смягчает преднамеренную объективность этих построек с некоей произвольной спонтанностью, которую архитекторам не мешало бы изучить.

Вскоре мы сворачиваем от реки и старых сонных построек и теперь поднимаемся на сухое луговое плато. Дорога настолько извилиста, неровна и вся в рытвинах, что мне приходится сбавить скорость до пятидесяти миль. В асфальте попадаются очень неприятные колдобины, так что мне приходится быть очень внимательным.

Мы уже привыкли к длительным переходам. Те расстояния, которые казались нам большими в Дакотах, теперь представляются короткими и простыми. Сидеть на машине теперь кажется более естественным, чем не на ней. Местность мне совершенно незнакома, я тут никогда не бывал, и всё-таки я не чувствую себя здесь чужим.

На вершине плато у Грейнджвилла, штат Айдахо, мы попадаем из палящего зноя в ресторан с кондиционированным воздухом. Там очень прохладно. Пока мы ждём шоколадный коктейль, я замечаю, как один старшеклассник у прилавка обменивается взглядами с девушкой рядом с ним. Девушка за прилавком, обслуживающая их, также сердито смотрит на них. Ей кажется, что этого никто не замечает. Какой-то треугольник. Вот так незаметно мы становимся свидетелями каких-то житейских мелочей в судьбе других людей.

Очутившись снова в палящем зное недалеко от Грейнджвилла, мы видим, что сухое плато, которое выглядело почти как прерия, пока мы были на нём, вдруг переходит в громадный каньон. Видно, что наш путь будет идти всё вниз и вниз и через сотню еле приметных поворотов приведёт в пустыню с растрескавшейся землёй и разбросанными камнями. Я хлопаю Криса по колену и показываю туда рукой. Когда мы проезжаем поворот, откуда всё это хорошо видно, я слышу, как он восклицает: “Ух ты!”

На гребне я переключаюсь на третью скорость и закрываю дроссельную заслонку. Двигатель зачихал, сделав несколько выхлопов, и мы покатали вниз накатом.

К тому времени, как мотоцикл достиг низшей точки, мы спустились на тысячи футов. Я оглядываюсь и вижу похожие на муравьев машины, ползущие по плато. Теперь нам придётся ехать дальше по знойной пустыне туда, куда поведёт нас дорога.

Сегодня утром рассматривалось решение проблемы заедания, классической беды, вызванной традиционным мышлением. Теперь пора перейти к её романтической параллели, безобразию техники, к которой привело традиционное мышление.

Дорога, всё время петляя и кружа по холмам пустыни, привела нас к узкой полоске зелени, окружающей город Уайт-Бэрд, затем подошла к большой быстрой реке Салмон, текущей между высокими стенами каньона. Жара здесь страшная, а сияние белых скал каньона просто ослепительно. Мы кружим и кружим по дну узкого каньона, нервничая от быстро движущегося транспорта и изнывая от изнуряющей жары.

Безобразие, от которого бежали Сазэрлэнды, вовсе не присуще технике. Им так только кажется, ибо в технике довольно трудно выделить, что же уродливого в ней. Но техника — это просто изготовление вещей, а производство вещей по своей природе не может быть безобразным, иначе не было бы красоты и в искусстве, которое также занимается производством вещей. В самом деле, корень слова техника, *techne*, первоначально означал “искусство”. Древние греки не разделяли искусство и производство, и поэтому не создали отдельных названий для них.

Уродливость также не присуща материалам современной техники, что иногда приходится слышать. Производимые в массовом порядке пластмассы и синтетика сами по себе не плохи. Просто с ними связаны плохие ассоциации. Человек, проживший в каменных стенах тюрьмы большую часть жизни, вполне возможно, будет считать камень исконно уродливым материалом, несмотря на то, что он также является основным материалом в скульптуре. А человек, живущий в тюрьме из материалов уродливой пластмассовой технологии, начавшейся с детских игрушек и окружающей его в течение всей жизни в виде дрянных товаров ширпотреба, также склонен рассматривать этот материал как исконно безобразный. Ведь настоящее уродство современной техники нельзя обнаружить ни в каком-либо материале, ни в форме, ни в действии или продукции. Это лишь те объекты, в которых поселилось плохое качество. Мы просто привыкли приписывать качество тем субъектам или объектам, которые создают у нас такое впечатление.

Настоящее безобразие — это не результат действия каких-либо объектов техники. И если следовать метафизике Федра, оно также и не

результат деятельности каких-либо субъектов техники, людей, которые производят что-то или тех, кто им пользуется. Качество, или его отсутствие, не содержится ни в субъекте, ни в объекте. Настоящее безобразие находится в отношениях между людьми, производящими технику, и вещами, которые они производят, что приводит к таким же отношениям между людьми, пользующимися техникой и вещами, которыми они пользуются.

Федр чувствовал, что в миг восприятия чистого качества, или даже не восприятия, а в мгновение чистого качества, нет ещё ни субъекта, ни объекта. Есть только ощущение качества, которое позднее приводит к осознанию субъекта и объекта. В миг чистого качества субъект и объект идентичны. Это истина *tat tvam asi* Упанишадов, которая также отражена в современном уличном жаргоне. “То, что надо”, “клёво”, “смак” — всё это жаргонные обозначения этого понятия. И вот это понятие лежит в основе мастерства во всём современном техническом искусстве. И именно этого не хватает современной дуалистически зачатой технике. Создатель её не испытывает особого чувства родства к ней. Не испытывает этого чувства родства и её владелец. Следовательно, по определению Федра, у неё нет качества.

Стена, которую Федр видел в Корее, есть действие техники. Она прекрасна, но не в результате какого-либо мастерского интеллектуального планирования или какого-либо научного надзора над работой, или дополнительных расходов на её “стилизацию”. Она прекрасна потому, что работавшие над ней люди умели так смотреть на вещи, что сделали всё правильно бессознательно. Они не отделяли себя от работы так, чтобы сделать её неверно. Вот здесь и есть центр всего решения.

Путь разрешения конфликта между человеческими ценностями и потребностями техники не состоит в том, чтобы бежать от техники. Это невозможно. Путь разрешения этого конфликта состоит в сломе барьеров дуалистического мышления, которые мешают понять, что такое техника — не эксплуатация природы, а слияние природы и человеческого духа в некоем новом образовании, которое превосходит их обоих. Когда это преобразование выражается в таких событиях, как первый перелёт самолёта через океан или первые шаги на луне, происходит некое общественное признание преобразующей природы техники. Но такое преобразование должно также случиться и на индивидуальном уровне, на личной основе, в жизни самого человека, и при этом гораздо менее драматично.

Стены каньона здесь стали совершенно вертикальны. Во многих

местах путь для дороги пришлось проделывать взрывом. Здесь нет объездных путей. Только вдоль реки. Может быть это только игра моего воображения, но река здесь кажется меньше, чем была час назад.

Такое личное переосмысление конфликта с техникой не обязательно должно быть связано с мотоциклом. Оно может случиться на таком простом уровне как, скажем, заточка кухонного ножа, шитьё платья или починка сломанного стула. В каждом из этих случаев есть способ сделать дело красиво и сделать его безобразно, а для того, чтобы добиться высококачественного, прекрасного способа исполнения дела, необходима способность видеть, что такое “красота” и способность понять подспудные пути достижения этой красоты. Нужно объединить классическое и романтическое понимание качества.

Природа нашей культуры такова, что если заглянуть в инструкцию о том, как выполнять любую из этих работ, то всегда найдёшь только одно понимание качества, классическое. В ней говорится, как держать лезвие при заточке ножа, как пользоваться швейной машиной или как готовить и применять клей, при этом подразумевается, что если использовать эти основополагающие методы, то естественно, получится хороший результат. Но тут же игнорируется способность непосредственно видеть, что же такое “красота”.

В результате, довольно типичном для современной техники, получаем такую всеобщую серость и скукоту, что для её восприятия требуется лакировка “стилизацией”. А для того, кто чувствует романтическое качество, это лишь усугубляет всё. Теперь это становится не только невыносимо серым, но ещё и показушным. Сложите всё это вместе и получите довольно точное описание современной американской техники: стильные автомашины и стилизованные навесные моторы, стилизованные пишущие машинки и стильная одежда. Модные холодильники, наполненные модными продуктами в стильных кухнях стилизованных домов. Модные пластмассовые игрушки для форсистых детей, которые на Рождество и день рождения соблюдают форс под стать своим стильным родителям. И самому надо быть чертовски стильным, чтобы время от времени самого не стошнило от этого. Мода вас доконает; техническое безобразие, спрыснутое романтическим флёром, в попытке произвести красоту и получить выгоду со стороны людей, которые, будучи стильными, не знают, с чего начать, ибо никто никогда не говорил им, что в этом мире существует такая вещь, как качество, и что именно оно реально, а не мода. Качество — это не то, что можно добавить к субъекту или объекту сверх прочего, как мишуру на рождественскую ёлку. Настоящее качество должно

быть источником субъекта и объекта, той шишкой, из которой должно вырасти дерево. Чтобы добиться такого качества, нужно применять процедуру, несколько отличающуюся от инструкций с “1 этапом”, “2 этапом”, “3 этапом”, которые сопровождают дуалистическую технологию, и вот этим я теперь и собираюсь заняться.

После многочисленных поворотов вдоль стенки каньона мы останавливаемся передохнуть под сенью купы чахлых деревьев и нависшими скалами. Бурая трава под деревьями выжжена и усыпана мусором побывавших здесь прежде.

Я в изнеможении падаю где-то в тень, и чуть погодя, прищурясь, смотрю на небо, на которое не обращал внимания с тех пор, как мы въехали в каньон. Там вверху, над стенами каньона, небо темно синее, оно очень высоко и прохладно.

Крис, вопреки обыкновению, даже не пошёл посмотреть на речку. Он устал как и я, и теперь довольствуется тем, что просто сидит и отдыхает под скудной тенью деревьев.

Чуть погодя он говорит, что между нами и рекой, кажется, есть старая чугунная водоразборная колонка. Он показывает туда, и я тоже замечаю её. Он спускается к ней, я смотрю, как он качает воду себе в руку и затем плещет её себе в лицо. Я спускаюсь к нему, качаю ему воду, чтобы он мог помыться обеими руками. Затем делаю то же самое сам. Вода леденит руки и лицо. Закончив это, мы возвращаемся к мотоциклу, садимся на него и выезжаем на дорогу в каньоне.

Теперь об этом решении. В течение всей шатокуа до сих пор проблема технического уродства рассматривалась в негативном свете. Говорилось, что само по себе романтическое отношение к качеству, как это было у Сазэрлэндов, безнадежно. Нельзя жить только на эфемерных эмоциях. Нужно также работать с подспудной формой вселенной, с законами природы, которые, будучи поняты, облегчают работу, снижают заболеваемость и почти исключают голод. С другой стороны, техника, основанная на чистом дуалистическом мышлении, также осуждается, ибо предоставляя такие материальные блага, она превращает мир в стилизованную мусорную свалку. Пора прекратить простое осуждение сложившегося положения и перейти к конкретным решениям.

Ответ заключается в утверждении Федра, что на классическое понимание не следует накладывать романтический флёр, классическое и романтическое понимание надо объединить в основе. В прошлом наша общая вселенная разумения находилась в процессе ухода от романтического иррационального мира доисторического человека, в его

отрицании. Ещё с досократовских времён было необходимо отрицать страсти, эмоции, чтобы высвободить рациональный ум для понимания законов природы, которые тогда ещё не были известны. Теперь настала пора расширить понимание порядка природы путём восстановления тех страстей, от которых мы вначале бежали. Страсти, эмоции, чувства, как сфера человеческого сознания, также являются частью порядка природы. Центральной частью.

В настоящее время мы просто утопаем в иррациональном, слепом потоке сбора данных в области наук, ибо нет никакого рационального формата для понимания научного творчества. Сейчас мы также утопаем в волне стилизации в искусстве, поверхностном искусстве, ибо подспудная форма при этом затрагивается и ассимилируется совсем незначительно. Есть художники, не имеющие научных знаний, и учёные без артистических чувств, у тех и других совсем нет духовного чувства тяготения, и результат получается не просто плохим, он отвратителен. Давно настало время подлинного воссоединения искусства и техники.

У Ди-Визов я заговорил было о спокойствии духа в связи с технической работой, но меня засмеяли, так как я затронул тему вне того контекста, в котором она впервые возникла у меня. Теперь же мне кажется уместным вернуться к спокойствию духа и рассмотреть то, о чём я говорил раньше.

Спокойствие духа — вовсе не излишество в технической работе. Это — сама суть её. То, что вызывает его, — хорошая работа, то, что нарушает — плохая работа. Спецификации, измерительные приборы, управление качеством, выходной контроль — всё это средства, направленные на то, чтобы сохранить спокойствие духа тех, кто ответственен за выполнение работы. В конечном итоге всё дело в их спокойствии духа, и ни в чём ином. А причина этого в том, что спокойствие духа — предпосылка такого восприятия качества, которое выше классического или романтического качества, которое объединяет их оба и должно сопровождать работу по мере её выполнения. Видеть, что смотрится хорошо и понимать причины, отчего это так, а также быть заодно с этим благом по мере исполнения работы — значит культивировать внутренний покой, такое спокойствие духа, сквозь которое это благо просвечивает.

Я говорю внутреннее спокойствие духа. Оно не имеет непосредственного отношения к внешним обстоятельствам. Оно может возникнуть у монаха во время молитвы, у воина во время тяжкой битвы или у токаря, снимающего последнюю стружку толщиной в одну десятитысячную дюйма. Тут требуется такая самоотдача, при которой

полностью сливаешься с обстоятельствами, существует множество уровней такого слияния и масса уровней покоя, которых так же трудно достичь, как и в более знакомых видах деятельности. Горы достижений — это качество, обнаруженное только в одном направлении, они относительно бессмысленны и нередко недостижимы, если их не рассматривать совместно с океанскими безднами углублённости в себя, настолько отличной от самосознания, что возникает только при внутреннем спокойствии духа.

Такое внутреннее спокойствие духа возникает на трёх уровнях. Физического спокойствия, кажется, добиться легче всего, хотя и здесь существует очень много уровней, о чём свидетельствует способность индуистских мистиков оставаться живыми после нескольких дней захоронения. Умственное спокойствие, при котором совсем нет посторонних мыслей, представляется более трудным, но его также можно добиться. А труднее всего оказывается покой ценности, при котором совсем нет блуждающих мыслей, и все жизненные действия выполняются просто безо всяких желаний.

Иногда я думал, что внутреннее спокойствие духа сродни тому покою, когда отправляешься на рыбалку, что в значительной мере объясняет популярность этого увлечения. Просто сидеть с удочкой у воды, не двигаясь, ни о чём практически не думая, вовсе ни о чём не заботясь, при этом как бы исходит всё внутреннее напряжение, любые расстройства, которые мешали прежде решить какие-то проблемы и приводили к уродству и неуклюжести в действиях и мыслях.

Для того, чтобы починить мотоцикл, разумеется, не нужно ходить на рыбалку. Достаточно выпить чашку кофе, прогуляться вокруг квартала или просто отложить работу на пять минут и посидеть молча. Поступив так, почти начинаешь ощущать, как нарастает внутренний покой души, который вытесняет все. При плохом же уходе к этому внутреннему спокойствию и качеству, порождаемому им, поворачиваешься спиной. То, что побуждает повернуться к нему лицом, — хорошо. Существует бесчисленное количество форм поворота в ту или иную сторону, но цель всегда остается одной и той же.

Полагаю, что при внесении этой концепции спокойствия духа и постановке ее в центр акта технической работы может произойти слияние классического и романтического качества на исходном уровне в практическом контексте работы. Я уже говорил, что такое слияние можно заметить у некоторых опытных механиков и токарей, это видно по работе, которую они выполняют. Если сказать, что они не художники, значит не

понимать природу искусства. Они обладают выдержкой, любовью и вниманием к тому, что делают, более того, у них есть такого рода внутреннее спокойствие духа, которое не навязывается. а возникает при определенной гармонии в работе, где нет ни ведущего, ни ведомого. Материал и мысли мастера изменяются совместно по ходу плавных ровных стадий до тех пор, пока его ум не обретет покой именно в тот момент, когда материал достигнет требуемого состояния.

Все мы испытывали состояние такого рода, когда занимались именно тем, что нам действительно хочется делать. Дело в том, что, к несчастью, мы как-то разделяем такие моменты и саму работу. Механик же, о котором я толкую, такого разделения не делает. О таком говорят, что он “заинтересован” в том, что делает, что он “увлечен” своей работой. Приводит к такому увлечению, на самом острие сознания, отсутствие ощущения разделения субъекта и объекта. “Уйти с головой в работу”, “дело мастера боится”, “золотые руки” — есть много выражений для обозначения того, что я подразумеваю под отсутствием двойственности субъекта-объекта, ибо все это хорошо известно как народная мудрость, здравый смысл, повседневное понимание своего дела. А в научном мире слов, обозначающих это отсутствие двойственности субъекта-объекта, немного, ибо ученые умы отгородились от осознания такого рода понимания в пользу формально дуалистического научного мировоззрения.

Дзэн-буддисты говорят о том, чтобы “просто посидеть”, о практике размышления, при которой двойственность самого себя и объекта не довлеет над сознанием. То же самое я говорю здесь и об уходе за мотоциклом, “просто починить”, при этом мысль о двойственности самого себя и объекта не довлеет над сознанием. если у вас нет ощущения раздельности с тем, чем вы заняты, то можно сказать, что вы “любите” вашу работу. Небезразличность в этом и состоит, в ощущении единения с тем, что делаешь. если у вас есть такое чувство, то тогда видишь и обратную сторону такой любви, само качество.

Итак, при работе с мотоциклом. как и в любом другом занятии, надо культивировать спокойствие духа, при котором нет отделения самого себя от окружающей Среды. Если преуспеешь в этом, то все остальное следует само собой. Спокойствие духа производит настоящие ценности, настоящие ценности порождают правильные мысли. Правильные мысли приводят к верным действиям, а верные действия дают такую работу, которая является материальным отражением безмятежности в самой ее основе. Вот в чем был смысл той стены в Корее. Это материальное выражение духовной реальности.

Думается, если мы хотим преобразовать мир и сделать так, чтобы жить в нем было лучше, то надо вести речь не об отношениях политического характера, которые неизбежно дуалистичны, наполнены субъектами, объектами и их взаимоотношениями, и не о программах, которые должны выполняться кем-то. Считаю, что такой подход делается с конца, хотя предполагается, что это начало. Программы политического характера являются важным конечным продуктом социального качества, которое может быть эффективным только тогда, когда подспудная структура социальных ценностей верна. А социальные ценности верны лишь тогда, когда верны индивидуальные ценности. Начинать преобразование мира нужно прежде всего в своем собственном сердце, своим умом и своими руками, и только затем оттуда идти дальше. Кое-кто может толковать, как улучшить судьбу человечества. Я же просто хочу поговорить о том, как починить мотоцикл. И мне кажется, то, что я хочу сказать, имеет значительно большую ценность.

Появляется город под названием Риггинз со множеством мотелей, затем дорога отходит от каньона и вьется вдоль меньшей речки. Кажется, она ведет вверх к лесу.

Так оно и есть, и вскоре дорога оказывается в тени высоких прохладных елей. Появились вывески курортов. Мы петляем, подымаясь все выше и выше, и вдруг оказываемся на приятных, прохладных, зеленых лугах в окружении соснового леса. В городе Нью-Медоуз мы снова заправляемся, покупаем две банки масла и не перестаем удивляться переменам.

Но на выезде из Нью-Медоуз я замечаю, что солнце уже пошло вниз, и наступает послеполуденная истома. В другое время дня эти горные луга освежили бы меня гораздо больше, но мы проехали слишком много. Проезжаем Тамарак, и дорога снова спускается с зеленых лугов в сухую песчаную местность.

Ну вот, пожалуй, и все. что я хотел сказать в шатокуа на сегодня. Она была довольно долгая и, пожалуй, наиболее важная. Завтра же я хочу поговорить о том, что поворачивает человека к качеству, что отворачивает его от него, о некоторых ловушках и проблемах, которые возникают при этом.

Странные чувства возникают при виде оранжевого солнца в этой сухой песчаной местности так далеко от дома. Интересно, чувствует ли это Крис? Какая-то необъяснимая грусть наступает каждый вечер, когда день уже канул в вечность, а впереди нет ничего, кроме надвигающейся темноты.

Оранжевый свет переходит в тусклый бронзовый и продолжает

освещать то, что освещал весь день, но теперь уже как-то устало. За иссушенными холмами вдалеке в домиках находятся люди, пробывшие здесь целый день, занимаясь своими делами. Они не находят ничего необычного или странного в отличие от нас в этом таинственно темнеющем пейзаже. Если бы мы встретились с ними поутру, они могли бы поинтересоваться нами, зачем мы здесь появились. Но теперь, вечером, им просто неприятно наше присутствие. Рабочий день кончился. Пора ужинать, заняться семейными делами, отдохнуть, а там и на покой. И мы едем сами по себе по пустому шоссе по этой странной местности, где я раньше никогда не бывал. теперь на меня находит тяжелое чувство изоляции и одиночества, и с заходом солнца я совсем падаю духом.

Мы останавливаемся на заброшенном школьном дворе, и под огромным пирамидальным тополем я меняю масло в мотоцикле. Крис раздражен оттого, что мы задерживаемся так долго, он, пожалуй, не знает о том, что сердиться надо только из-за времени дня. Я даю ему посмотреть карту, пока буду менять масло, а затем мы вместе изучаем карту и решаем поужинать в первом же попавшемся хорошем ресторане и остановиться на ночлег в первом же приличном месте для отдыха. настроение у него улучшается.

В городе Кембридже мы ужинаем, а когда закончили, на улице стало совсем темно. Мы следуем за лучом фары по второстепенной дороге в направлении Орегона, пока не замечаем табличку с надписью “Кемпинг Браунли”, который находится в расщелине гор. И темноте трудно определить, что тут за местность, Мы едем по грунтовой дороге под деревьями мимо кустарников и въезжаем на стоянку. Никого тут, кажется, нет. Когда я заглушил мотор и мы стали распаковывать вещи, невдалеке послышалось журчание ручейка. Кроме него и чириканья какой-то птички все вокруг безмолвно.

— Мне нравится здесь, — говорит Крис.

— Да, здесь очень тихо. — откликаюсь я.

— А куда мы поедем завтра?

— По Орегону. — Я подаю ему фонарик, чтобы он осветил мне при распаковке.

— Я тут бывал когда-либо?

— Не знаю, вряд ли.

Я раскладываю спальные мешки и стелю его мешок на пикниковом столе. Такая новинка ему очень нравится. Сегодня заснуть уж будет нетрудно. Вскоре я слышу глубокое дыхание и понимаю, что он уже спит.

Жаль, что я не знаю, что ему сказать. Или что спросить. Иногда он так

близок ко мне, но эта близость не имеет ничего общего с тем, что говорится или спрашивается. А в другое время он мне кажется очень отдаленным и как бы наблюдает за мной из какого-то укромного места, которого мне не видеть. А иногда это просто ребячество, и тогда нет никаких отношений.

Временами, размышляя об этом, я полагал, что мысль о том, что можно проникнуть в мысли другого — просто дежурная иллюзия, расхожая фраза, предположение. что возможен некий обмен между чужими существами, и что в самом деле отношение одного человека к другому совершенно непознаваемо. Попытка постичь, что у другого на уме, искажает то, что видишь. А я все же пытаюсь нащупать такую ситуацию, когда появится нечто неискаженное. Может быть это оттого, как он задает свои вопросы?

Просыпаюсь от ощущения холода. Из своего спального мешка вижу, что небо — тёмно-серое. Втягиваю голову внутрь и снова закрываю глаза.

Позже вижу, что серое небо стало светлей, но по-прежнему холодно. Видно, как парит моё дыхание. Тревожная мысль, что собираются дождевые облака, пробуждает меня, но тщательно осмотревшись, отмечаю, что это просто такой серый рассвет. Мне кажется, что сейчас слишком холодно и слишком рано ехать дальше, и я не вылезая из мешка. Но сон уже пропал.

Сквозь спицы колеса мотоцикла я вижу, что Крис совсем свернулся в спальном мешке на пикниковом столе, но не шевелится. Мотоцикл маячит надо мной, готовый двинуться, как если бы он был часовым, молча ждавшим нас всю ночь...

Светло-серый и чёрный, покрытый хромом... и запylённый. Грязь из Айдахо и Монтаны, из Дакот и Миннесоты. С земли он выглядит очень впечатляющим. Ничего лишнего. Всё у него с определенной целью.

Вряд ли я когда-либо продам его. Да и к чему? Он ведь не машина, у которой корпус ржавеет за несколько лет. Содержи его в порядке, ухаживай за ним, и он прослужит тебе всю жизнь. А может и дольше. Качество. До сих пор оно служило нам безо всяких проблем.

Солнце лишь коснулось вершины утёса высоко над расселиной, где мы остановились. Над речкой появилось лёгкое облачко тумана. Это значит, что вскоре потеплеет.

Выбираюсь из спального мешка, надеваю ботинки, упаковываю всё, что можно не будя Криса, затем подхожу к пикниковому столу и начинаю трясти его.

Он не отвечает. Я осматриваюсь, не осталось ли ещё чего-нибудь, что можно сделать, прежде чем будить его, и медлю. Но меня охватывает озноб от свежего утреннего воздуха, мне не терпится и я кричу: "ВСТАВАЙ!" Он сразу же садится, широко раскрыв глаза.

Я же изо всех сил стараюсь привести его в чувство начальным четверостишием из "Рубай" Омара Хайяма. Утёс над нами похож на скалу в пустыне где-нибудь в Персии. Но Крис совсем не понимает, какого чёрта я тут горожу. Он просто смотрит на вершину гребня, затем косит на меня глаза. Чтобы воспринимать плохую декламацию поэзии, надо быть в определённом настроении. В особенности такую.

Вскоре мы снова оказываемся на дороге, которая по-прежнему кружит и петляет. Въезжаем в громадный каньон, высокие белые стены которого вздымаются по обе стороны. Ветер просто ледяной. Дорога выходит на солнечную сторону, оно прогревает меня сквозь куртку и свитер, но затем снова въезжаем в тень, и ветер морозит нас. Воздух пустыни совсем не держит тепла. Губы у меня стали сухими, обветрились и стали трескаться.

Дальше мы едем по дамбе и выезжаем из каньона на высокое полупустынное нагорье. Это уже Орегон. Дорога кружит по местности, напоминающей мне северный Раджастан в Индии, где ещё не совсем пустыня, а поросшая сосняком, можжевельником и травой земля, но и сельскохозяйственных угодий почти нет, кроме как там, где в балке или долине бывает побольше влаги.

Эти буйные рубай Хайяма всё время вертятся у меня на уме.

...нечто, нечто, разбросанное по полоске трав,
То, что разделяет пустыню и посевы,
Где почти неизвестны названия раб и султан,
Сжался над султаном Махмудом на троне...

При этом возникает видение руин древнего дворца Моголов на краю пустыни, где краем глаза он видел дикий розовый куст...

...И первый летний месяц, приносящий розу... Как там дальше? Не помню. Мне даже не нравится это стихотворение. С начала поездки, а в особенности после Бозмена, я заметил, что эти воспоминания всё меньше и меньше становятся его памятью, и всё больше и больше частью моей. Что бы это могло значить... думаю... нет, не знаю.

Помнится, у такой полупустыни есть какое-то особое название, но оно не приходит на ум. На дороге кроме нас никого не видеть.

Крис кричит, что у него снова понос. Мы едем до тех пор, пока я не замечаю внизу речку, сворачиваем с дороги и останавливаемся. У него снова виноватое лицо, но я говорю ему, что торопиться некуда, достаю смену белья, ролик туалетной бумаги, кусок мыла и велю ему хорошенько вымыть руки после всего.

Присаживаюсь на камень как у Омара Хайяма, разглядываю полупустыню и чувствую себя совсем неплохо.

...И первый летний месяц, приносящий розу...

ОХ... ВОТ ОПЯТЬ...

Ты говоришь, что каждое утро приносит тысячи роз,
Да, но куда пропадает вчерашняя роза?
И первый летний месяц, приносящий розу,
Уносит прочь Джамшид и Хайкобад.

... И так далее, и тому подобное...

Давайте же перейдём от Омара к шатокуа. Позиция Омара состоит в том, чтобы просто сидеть, хлестать вино и сожалеть, что проходит время, так что в сравнении с этим шатокуа мне кажется лучше. В особенности сегодняшняя шатокуа, которая будет о вдохновении.

Видно, как Крис поднимается вверх по склону. У него теперь довольное выражение лица.

Мне нравится слово “вдохновение”, оно такое домашнее, такое заброшенное, такое немодное, как если бы ему нужен был друг, и оно не отвергнет никого, кто ему встретится. Это старое шотландское словечко, которым часто пользовались первопроходцы, но оно как и слово “родня” почти совсем вышло из употребления. Оно мне также нравится потому, что точно описывает то, что происходит с кем-либо, кто имеет отношение к качеству. Тогда он исполнен вдохновения.

Греки называли это enthousiasmos, корень “энтузиазм”, что буквально означает “наполненный theos’ом” или Богом, или качеством. Видите, как всё сходится?

Человек, обладающий вдохновением, не болтается без толку, рассусоливая о том да о сём. Он находится в кабине паровоза своего сознания, следя за колеей впереди, готовый к действию. Вот это и есть вдохновение.

Подходит Крис и говорит: “Теперь я чувствую себя лучше”.

— Хорошо, — отвечаю я. Мы упаковываем мыло, туалетную бумагу, кладём полотенце и бельё так, чтобы другие вещи не стали влажными, садимся на мотоцикл и снова трогаемся в путь.

Процесс наполнения вдохновением происходит тогда, когда достаточно долго находишься в покое, чтобы слышать и чувствовать подлинную вселенную, а не только собственные сухие впечатления о ней. Но в этом нет ничего экзотического. Вот почему я люблю это слово.

Его часто замечаешь у людей, возвращающихся с долгой спокойной рыбалки. Нередко они несколько смущены тем, что потратили столько

времени “впустую”, ибо нет никакого вразумительного оправдания тому, чем они занимались. Но такой рыболов обычно обладает удивительным вдохновением, как правило в отношении тех самых вещей, которые ему так надоели всего лишь несколько недель назад. Он не тратил время попусту. Только с нашей ограниченной культурной точки зрения это кажется так.

Если собираетесь чинить мотоцикл, то самым важным и непеременимым инструментом является вдохновение. Если его нет, то можно с таким же успехом отложить все остальные инструменты, ибо от них вам не будет никакой пользы.

Вдохновение — это психологическое горючее, которое движет всем. Коль его нет, так никоим образом починить мотоцикл не удастся. Но если оно есть, и ты умеешь сохранить его, то во всём мире нет ничего такого, что смогло бы помешать починить этот мотоцикл. Так оно непременно и произойдёт. Поэтому прежде всего и всегда надо следить за вдохновением, стараться сохранять его постоянно.

Первостепеннейшая важность вдохновения и решает проблему рамок данной шатокуа. Проблема состоит в том, как избежать общих мест. Если сбиться на конкретные детали ремонта какой-то отдельной машины, то очень легко может оказаться, что у вас не та марка или модель, и такие сведения будут не только бесполезными, но и вредными, ибо данные по ремонту одной модели могут повредить другой. Для подробной объективной информации надо пользоваться специальным пособием по ремонту, предназначенным для конкретной марки и модели машины. Кроме того, помогает руководство общего плана вроде “Автомобильного пособия” Одеда.

Но есть ещё одна особенность другого рода, которую не затрагивает ни одно пособие. Она общая для всех механизмов, и её следует привести здесь. Это особенность отношения качества, отношения вдохновения, взаимоотношений машины и механика, которые так же сложны, как и сам механизм. В процессе ремонта всегда возникают низкокачественные вещи, такие как засорившийся шарнир или случайно испорченный “незаменимый” узел. Из-за них падает вдохновение, пропадает энтузиазм, портится настроение и хочется забросить всё это дело. Я называю такие моменты “ловушками для вдохновения”.

Бывают сотни различного рода ловушек для вдохновения, возможно тысячи, а может и миллионы. Понятия даже не имею, сколько их может быть. Я только знаю, что вроде бы попадал в любые ловушки, какие только можно себе представить. Но я все-таки ещё сомневаюсь, что знаю их все, ибо при каждой работе выявляются новые. И тогда ремонт мотоцикла

приводит к отчаянию. Раздражению. Бешенству. Вот это-то и интересно.

По карте передо мной видно, что впереди у нас скоро будет город Бейкер. Сельскохозяйственные угодья здесь гораздо лучше. Здесь выпадает больше дождей.

Теперь же я думаю о каталоге “Ловушек для вдохновения, которые мне известны”. Мне хочется раскрыть совершенно новую академическую сферу, вдохновлённость, в которой эти ловушки рассортированы, классифицированы, структурированы в иерархии и взаимосвязаны для поучения будущих поколений на пользу всего человечества.

Вдохновлённость 101 — Исследование влияющих, познавательных и психомоторных затруднений в восприятии взаимоотношений качества — 3 зачёта. VII, Пн. Ср. Пт. Хотелось бы мне как-нибудь увидеть такое в программе какого-либо колледжа.

При традиционном уходе вдохновение считается чем-то прирождённым или приобретённым в результате соответствующего воспитания. Это неизменное свойство. При отсутствии сведений о том, как приобретается вдохновение, можно предположить, что человек без вдохновения — просто безнадежный случай.

При недуалистическом уходе вдохновение не является неизменным свойством. Оно изменчиво, это резервуар хорошего настроения, из которого можно черпать и который можно пополнять. Поскольку это результат восприятия качества, то следовательно, ловушку для вдохновения можно определить как всё, что приводит к утрате видения качества, а также к утрате энтузиазма в том, что делаешь. По такому широкому определению можно догадаться, что сфера эта огромна, и здесь мы попытаемся дать только начальный набросок.

Насколько я представляю себе, бывают два основных вида ловушек для вдохновения. К первому виду относятся те, при которых с колеи качества вас сбивают обстоятельства, вызванные внешними условиями, я их называю “неудачами”. Ко второму виду относятся ловушки, когда с пути вас сбивают обстоятельства, заключённые преимущественно в самом себе. У таких ловушек нет какого-либо родового названия — может быть, “заскоки”. Вначале рассмотрим неудачи, вызванные внешними обстоятельствами.

Когда впервые приступаешь к любой крупной работе, то кажется, что самой большой трудностью будет неудача с непоследовательностью при обратной сборке. Чаще всего это бывает, когда считаешь, что работа почти закончена. После нескольких дней работы всё практически собрано, за исключением: “А это что такое?”. Сухарь подшипника соединительной

[illegible]

Я пользуюсь двумя процедурами, чтобы не допустить неудачи при неправильной сборке механизма. Я применяю их главным образом тогда, когда приступаю к сложной сборке, о которой у меня нет никакого понятия.

В скобках здесь надо отметить, одно из правил механики гласит, что не следует браться за сложную сборку, о которой не имеешь никакого понятия. Надо либо иметь соответствующую подготовку, либо поручить работу специалисту. В сфере механики существует довольно замкнутая система элиты, которую мне хотелось бы разрушить. Нашёлся ведь такой “специалист”, который поломал ребра моей машине. Мне приходилось редактировать руководства, написанные для специалистов фирмы IBM, и то, что усваивается из них, не так уж впечатляюще. Столкнувшись впервые с этим, вы проигрываете из-за расходов на запчасти, которые ненароком испортите, и конечно потратите гораздо больше времени, но в следующий раз вы уже будете далеко впереди такого специалиста. Вы, при вашем вдохновении, познали сборку наиболее трудным путём, и у вас гораздо больше интереса к этому делу, чем может быть у него.

Во всяком случае, лучшим способом предотвращения непоследовательности при сборке и попадания в ловушку для вдохновения является записная книжка, куда я заносу порядок сборки и помечаю любые особенности, которые могут вызвать трудности позднее. Эта книжка становится измазанной маслом и уродливой. Но было несколько случаев, когда одно или два словечка, которые казались незначительными при записи, помогли избежать поломки и сэкономили мне много часов работы. В записях следует обращать особое внимание на положение деталей по ориентации: правая, левая сторона, верх, низ, а также на цвет и расположение проводов. Если соответствующие детали выглядят изношенными или повреждёнными, то тут же надо сделать пометку, чтобы своевременно купить запасные части.

Второй способ предотвращения попадания в ловушку при сборке состоит в том, чтобы расстелить на полу гаража газеты и на них укладывать детали слева направо и сверху вниз в том порядке, как читаешь газету. Таким образом винтики, шайбы и шпонки, которые очень легко упустить при сборке, обращают на себя внимание тогда, когда нужно.

Но даже при таких мерах предосторожности иногда случается

непоследовательность при сборке, и тогда надо следить за вдохновением. Старайтесь не растратить вдохновение, когда предпринимаете отчаянные попытки восстановить его и при этом торопитесь, чтобы наверстать упущенное время. При этом лишь делаешь ещё больше ошибок. Когда впервые обнаруживаешь, что надо вернуться и снова всё разбирать, — самое время сделать большой перерыв в работе.

При этом важно делать различие от тех неправильных сборок, когда у вас не было определённых сведений о них. Частенько весь процесс обратной сборки превращается в метод проб и ошибок, когда разбираешь узел, вносишь туда какие-то изменения, затем собираешь его снова и проверяешь, действуют ли эти перемены. Если не срабатывают, то это вовсе не значит, что у вас неудача, так как полученные сведения продвинули вас вперед.

И если всё-таки вы сделали при сборке самую нелепую глупую и досадную ошибку, всё равно можно сохранить некоторое вдохновение, усвоив, что при следующих сборках и разборках всё будет сделано гораздо быстрее. Бессознательно запоминаются разного рода вещи, которые вновь не надо будет выучивать.

За Бейкером мотоцикл везёт нас по лесам. По лесной дороге мы проезжаем перевал и затем едем вниз, а лес простирается при этом во все стороны.

Спускаясь по склону горы, замечаем, что леса становятся реже, и вот мы уже опять в пустыне.

Следующей трудностью является перемежающиеся неполадки. При этом неисправность вдруг ни с того, ни с сего исчезает, как только приступаешь к починке. К этому роду часто относятся электрические замыкания. Замыкание происходит, когда машину трясёт. Как только остановишься, всё вроде бы в порядке. Тогда устранить неисправность почти невозможно. И тут можно лишь попробовать вызвать неисправность самому, а если не получится, то надо просто оставить её в покое.

Перемежающиеся неполадки могут стать ловушками для вдохновения именно тогда, когда начинаешь считать, что вот теперь-то починка закончена. После любой починки следует проехать несколько сот миль, прежде чем делать такой вывод. Они расстраивают, когда возникают снова и снова, но при их появлении вы ничуть не в худшем положении, чем тот, кто обращается к платному механику. По существу, даже в лучшем. Ловушка для вдохновения гораздо больше у того владельца, которому без толку приходится раз за разом возить машину в мастерскую. На своей собственной машине их можно исследовать в течение долгого времени,

чего не может сделать платный механик, с собой можно возить те инструменты, которые могут пригодиться при починке, и когда сбой произойдет, остановись и поработай над ним.

Когда происходят перемежающиеся неполадки, постарайтесь соотнести их с другими действиями мотоцикла. Например, глохнет ли двигатель только на ухабах, на поворотах, или только при ускорении? Только в жаркий день? Такие соответствия являются ключом к гипотезам причин и следствий. При некоторых из таких неисправностей возможно придётся отправиться надолго на рыбалку, но как бы ужасно это не было, нет ничего ужаснее, чем тащиться к платному механику пять раз. У меня бывает искушение пуститься в подробное описание “Известных мне перемежающихся неисправностей” с детальным изложением того, как мне удалось их устранить. Но это уже больше похоже на рыбацкие истории, которые интересны только заядлому рыбаку, который недоумевает, почему все при этом зевают. Ему-то ведь так понравилось.

Следующим наиболее часто встречающимся видом неполадок после неправильной сборки и перемежающихся сбоев является выход из строя деталей. Здесь человека, самого делающего работу, можно расстроить самыми различными способами. Когда впервые приобретаешь машину, вовсе не думаешь о том, что надо будет покупать запчасти. В мастерских не любят держать большой ассортимент. Оптовики слишком медлительны, у них всегда не хватает работников именно по весне, когда все приобретают запчасти к мотоциклу.

Вторая часть ловушки для вдохновения — это цены на запчасти. В промышленности распространена тенденция не слишком загибать цену на готовые изделия, ибо всегда можно обратиться к конкуренту, а уж на запчастях можно отыгаться. Цену на детали поднимают гораздо выше исходной цены также и потому, что вы не профессиональный механик. При таком лукавом сговоре платный механик наживается, заменяя детали, которые не требуют ремонта.

И ещё одна трудность. Возможно, деталь не подойдёт. В каталогах на запчасти всегда бывают ошибки. Много путаницы с марками и моделями. Допуски на детали иногда проходят отдел технического контроля, так как их не проверяют в работе. Некоторые из деталей изготавливают субподрядчики, у которых нет достаточных технических сведений, чтобы изготовить их как следует. Иногда они сами путаются в марках и моделях. Иногда продавец, с которым имеешь дело, спутает номер детали. Иногда сам неточно обозначишь её. Но при этом всегда испытываешь огромное разочарование, когда приходишь домой и выясняется, что новая деталь не

подходит.

Ловушек с запчастями можно избежать посредством комбинации целого ряда приёмов. Во-первых, если в городе больше одного торговца запчастями, то выбирайте из них самого дружелюбного. Постарайтесь быть с ним на дружеской ноге. Нередко он бывает бывшим механиком, и у него можно получить массу очень полезных сведений.

Следите за скидками на цены и попробуйте воспользоваться ими. Иногда попадаются очень удачные предложения. В автомагазинах наиболее ходовые запчасти часто бывают гораздо дешевле, чем в техно-торговых центрах. Например, цепь можно купить в хозяйственном магазине намного дешевле, чем в специализированном.

Всегда берите с собой старую деталь, чтобы сравнить её с той, что приобретаете. Прихватите с собой штангенциркуль, чтобы сделать сравнительные замеры.

И наконец, если вас так же сильно выводит из себя проблема с запчастями, как и меня, и у вас есть некоторые средства, то можно увлечься совершенно пленительным занятием по изготовлению деталей самому. У меня для таких работ есть небольшой токарный станок 6 на 18 дюймов с фрезерной приставкой и полный набор сварочного оборудования, электросварка, дуговая сварка в среде гелия, газовая и минигазовая горелки. Имея сварочное оборудование можно наварить изношенные детали лучшим металлом, чем исходный, а затем карбидными резцами обработать их с требуемым допуском. Пока не привыкнешь к ним, даже трудно представить себе, насколько универсальным оказывается такой набор токарного и сварочного оборудования. Если нельзя непосредственно изготовить какую-то деталь, то всегда можно придумать что-нибудь ей в замену. Вытачивать детали — работа очень медленная, а некоторые детали, такие как подшипники, сам никогда не изготовишь, но удивительно, насколько можно изменять конструкцию детали, чтобы её можно было сделать на своём станке, к тому же это оказывается всё-таки быстрее и менее томительно, чем ждать, пока угрюмый торговец запчастями получит их с завода. И при такой работе вдохновение нарастает, а не растрачивается. Езда на мотоцикле с деталями, которые сделал сам, вызывает особое чувство, которого никогда не испытаешь, если купил запчасти в магазине.

Мы добрались до песчаной пустыни, поросшей полынью, и двигатель начал чихать. Я переключаюсь на запасной топливный бак и изучаю карту. Заправимся в городке под названием Юнити и поедem дальше по горячей черной дороге среди зарослей полыни.

Ну что ж, вот самые часто встречающиеся неполадки, которые приходят на ум: непоследовательная сборка, перемежающиеся отказы и трудности с запчастями. Но хотя это и самые частые случаи, они всего лишь внешняя причина утраты вдохновения. Теперь пора рассмотреть некоторые из внутренних причин ловушек для вдохновения, которые действуют одновременно с ними.

В вышеуказанном описании курса вдохновлённости эту внутреннюю часть предмета можно разбить на три основных типа внутренних ловушек для вдохновения: те, что мешают эмоциональному пониманию, называемые “ловушки ценностей”, те, что мешают познавательному пониманию, это — “ловушки истинности”, и те, что блокируют психомоторное поведение, — “мышечные ловушки”. Самую большую и наиболее опасную группу представляют “ловушки ценностей”.

Из ловушек ценностей наиболее широко распространённой и вредной является косность ценностей. Это выражается в неспособности сделать переоценку того, что видишь, из-за приверженности к прежним ценностям. При уходе за мотоциклом обязательно нужно вновь раскрыть то, что делаешь по ходу работы. Косность ценностей делает это невозможным.

Самая типичная ситуация: мотоцикл не работает. Все факты налицо, но ты не видишь их. Ты смотришь прямо на них, но они ещё не обрели достаточной ценности. Вот об этом и говорил Федр. Качество, ценность создаёт субъект и объект в этом мире. Факты не существуют до тех пор, пока ценность не воплотит их. Если ваши ценности косны, то практически невозможно познавать новые факты.

Это часто проявляется в поспешной диагностике, когда ты уверен, в чем состоит неполадка, а когда это оказывается не так, тут-то и попадаешь впросак. Теперь нужно найти какие-то новые мотивы, но прежде чем делать это, надо очистить ум от старых представлений. Если вас одолевает косность ценностей, то не сможете найти правильный ответ, даже если он смотрит вам прямо в лицо, ибо вы не в состоянии осмыслить важность нового ответа.

При рождении нового факта всегда получаешь огромное впечатление. Дуалистически это называют “открытием”, ибо считается, что он существует независимо от чьего-либо сознания. При появлении у него всегда вначале низкая ценность. Затем, в зависимости от умонастроения наблюдателя или потенциального качества факта, его ценность возрастает, то медленно, то быстро, или же его ценность пропадает, и тогда факт исчезает.

Подавляющее количество фактов, то, что мы ежесекундно видим и

слышим вокруг, их взаимосвязь и всё, что имеется в нашей памяти, — не имеет качества, даже обладает отрицательным качеством. Если бы они все воспринимались одновременно, то наш мозг был бы переполнен бессмысленными сведениями, мы не могли бы ни думать, ни действовать. Тогда мы на основе качества предварительно отбираем, или по Феду, колея качества предварительно отбирает, какие данные нам следует осознать, и отбор этот происходит таким образом, чтобы лучше согласовать то, чем мы являемся теперь и то, чем мы станем.

Если попал в такую ловушку косности ценностей, то надо сбавить ход, сбавить его придётся в любом случае, хочешь ли того или нет, но надо преднамеренно сбавить ход и пройти там, где уже был, посмотреть, действительно ли важны вещи, которые считал важными до этого, и... ну... просто поразглядывать машину. Ничего плохого в этом нет. Прочувствуй всё, что случилось. Смотри на неё так, как смотрят на поплавок на рыбалке, и не пройдёт и какого-то времени, как наверняка что-то клюнет, какой-нибудь фактик тихим и робким голоском спросит, а не интересуется ли он тебя. Вот так всё в мире и происходит. Заинтересуйся им.

Вначале попробуй понять этот новый факт не столько в плане своей большой проблемы, сколько ради него самого. И проблема может предстать не такой уж большой, как она кажется. А факт может оказаться не столь уж незначительным, как представляется. Может быть это и не тот факт, который тебе нужен, но надо удостовериться в этом, прежде чем его отбросить. Нередко прежде чем отбросишь его, выясняется, что у него рядом есть друзья, которые внимательно следят за твоей реакцией. И среди этих друзей может оказаться именно тот факт, который ищешь.

Немного погодя может оказаться, что эти поклёвки интереснее первоначального намерения починить машину. И когда это случится, ты попал в конечную точку. Тогда ты уже больше не просто механик по мотоциклам, ты уже и учёный по мотоциклам и полностью выбрался из ловушки косности ценностей.

Дорога снова пошла среди сосен, но по карте видно, что это продлится недолго. Появляются щиты с рекламой курортов вдоль дороги, а под ними, чуть ли не как часть рекламы, какие-то ребята собирают сосновые шишки. Они машут нам руками, и при этом самый маленький из них рассыпает все свои шишки.

Мне всё время хочется вернуться к аналогии выуживания фактов. Могу даже себе представить, как кто-то в отчаянии спрашивает: “Да, но какие факты выуживать? Здесь что-то не совсем так”.

Ответ же состоит в том, что если вам известно, какие факты надо

ловить, то это уже не рыбалка. Вы уже поймали их. Я стараюсь придумать какой-нибудь конкретный пример...

Можно привести случаи любого рода из области ухода за мотоциклом, но наиболее ярким примером косности ценностей мне кажется старая южноиндийская ловушка на обезьян, эффективность которой напрямую связана с косностью ценностей. Ловушка представляет собой вычищенный кокосовый орех, привязанный к столбу. В скорлупе кокоса насыпан рис, который можно взять в горсть, просунув лапу в небольшое отверстие. Отверстие достаточно большое для того, чтобы просунуть туда кисть, но и достаточно малое, чтобы горсть, зажатая в кулак, оттуда не выходила. Обезьяна суёт туда лапу и вдруг оказывается в ловушке в результате своей собственной косности ценностей. Она не в состоянии сделать переоценку риса. Она не понимает, что свобода без риса более ценна, чем неволя с рисом. Селяне приходят, хватают обезьяну и уводят с собой. Они подходят все ближе... ближе!.. вот! Какой совет общего характера, не конкретный совет, а именно общего характера вы бы дали бедной обезьянке в таких обстоятельствах?

Думается, вы бы сказали ей именно то, что говорил я о косности ценностей, возможно при этом несколько эмфатичнее. Есть факт, о котором обезьяна должна знать, если разжать кулак, то будешь свободной. Но как она может обнаружить этот факт? Ну, надо преднамеренно не суетиться и вернуться к тому положению, что было раньше, проверить, действительно ли те вещи, которые казались важными прежде, так уж важны, перестать дёргаться и просто спокойно посмотреть некоторое время на этот кокос. Не пройдёт и некоторого времени, как начнётся поклёвка небольшого фактика, не интересуется ли он её. Ей следует попробовать осмыслить этот факт не с точки зрения своей большой проблемы (голода), а ради самой себя. И тогда эта проблема окажется не такой уж важной. И факт может оказаться не таким уж незначительным, как представлялся. Вот и всё о сведениях общего характера, которые можно ей предоставить.

У Преэри-Сити мы опять выезжаем из горных лесов и попадаем в иссушенный город с широкой главной улицей, рассекающей его ровно пополам и уходящей далеко в прерию. Мы суёмся в какой-то ресторан, но он закрыт. Переходим улицу и идём к другому. Дверь открыта, мы садимся и заказываем молочный коктейль. Пока мы ждём заказ, я достаю набросок письма, которое Крис начал писать матери, и отдаю его ему. К удивлению, он стал работать над ним, не задавая слишком много вопросов. Я откинулся на спинку сиденья и не беспокою его.

Я всё время чувствую, что факты, которые я пытаюсь выудить

относительно Криса, также находятся прямо передо мной, но какая-то косность ценностей мешает мне разглядеть их. Иногда мы как бы движемся параллельно, а не вместе, и время от времени сталкиваемся.

Дома все беды у него начинаются, когда он пытается подражать мне и командовать другими так, как я команду им, в особенности своим младшим братом. Естественно, никто и не собирается подчиняться ему, а он не сознаёт их права на это, и вот тут-то всё и идёт кувырком.

Ему как бы всё равно, нравится ли он другим. Ему просто хочется нравиться мне. С учётом всего прочего, это не очень-то полезно. Пора бы наступить времени, когда начнётся долгий процесс отчуждения. Этот разрыв надо сделать как можно мягче, но его следует сделать. Пора ставить его на ноги. И чем скорее, тем лучше.

И вот теперь, обдумав всё, я больше не верю в это. Не знаю, в чём тут беда. Меня всё время преследует этот повторяющийся сон, я не могу отвязаться от его смысла: я навсегда останусь за стеклянной дверью, которую не открываю сам. Он хочет, чтобы я открыл её, а я постоянно до сих пор отворачивался от него. А теперь появилась новая фигура, которая мешает мне. Странно.

Чуть погодя Крис говорит, что ему надоело писать. Мы встаем, я иду к прилавку, чтобы расплатиться, и мы уходим.

Мы снова в пути, и опять разговор о ловушках.

Следующая из них очень важна. Это внутренняя ловушка собственного эго. Эго не совсем отделено от косности ценностей и является одной из многих причин его проявления.

Если у вас большое сомнение, то способность распознавать новые факты у вас ослаблена. Эго изолирует вас от действительности качества. Когда факты свидетельствуют, что вы только что сделали промашку, вам не так просто сознаться в этом. Если в результате ложных сведений о вас создаётся хорошее впечатление, то вы склонны верить им. При каждом механическом ремонте эго подвергается суровым испытаниям. Вы постоянно впадаете в заблуждение, всё время делаете ошибки, и механик с большим сомнением оказывается в очень невыгодном положении. Если у вас много знакомых механиков и вы можете представить их себе как группу, если ваши наблюдения совпадают с моими, то согласитесь со мной, что механики в целом довольно скромные и спокойные люди. Бывают и исключения, но как правило, если они не были спокойными и скромными вначале, то работа делает их такими. И скептическими. Внимательными, но скептическими. И совсем не эгоистичными. Корчить из себя хорошего механика по ремонту невозможно, если только не имеешь дело с тем, кто

совсем ничего не соотносает в этом.

... Я хотел было сказать, что машина не реагирует на вашу личность, но ведь она в действительности реагирует на личность. Только личность, на которую она реагирует, это ваша истинная личность, та, которая по-настоящему чувствует, рассуждает и действует, а не какой-либо ложный, раздутый образ личности, придуманный вашим эго. И этот ложный раздутый образ мгновенно лопается, так что очень быстро впадаешь в отчаяние, если черпаешь вдохновение в своём эго, а не в качестве.

И если вам не присуща естественная скромность, если она не проявляется сама собой, то одним из способов выбраться из ловушки будет наигранная скромность. Если преднамеренно предположить, что ты не так уж хорош, то вдохновение получает мощный прилив, когда факты свидетельствуют, что эта посылка верна. И таким образом можно действовать до тех пор, пока не наступит время и факты докажут, что эта посылка неверна.

Следующей ловушкой для вдохновения, в некотором роде противоположной эго, является робость. Ты уверен, что что бы ты ни сделал, будет не так, и боишься вообще что-либо делать. И нередко именно это, а не “лень” являются подлинной причиной того, что так трудно приняться за дело. Ловушка робости, вызванная излишней мотивацией, может привести ко всякого рода ошибкам, чрезмерной суетливости. Начинаешь чинить то, что не требует починки, и изыскиваешь воображаемые неполадки. Из-за своей нервозности делаешь всяческие невероятные выводы и приписываешь машине всевозможные неисправности. И ошибки, которые при этом совершаешь, лишь подтверждают исходную недооценку самого себя. А это приводит к новым ошибкам, вызывающим ещё большую недооценку в самовозбуждающемся цикле.

Мне кажется, что лучшим способом разрушить это цикл, будет изложение своих сомнений на бумаге. Почитай книги и журналы по данному предмету. Робость при этом не помеха, и чем больше читаешь, тем больше обретаешь спокойствия. Следует помнить, что прежде всего ты стремишься к спокойствию духа, а не только к тому, чтобы починить машину.

Начиная ремонт, можно записать всё, что собираешься сделать, на листочках, которые затем надо разложить в должной последовательности. Потом выяснится, что эту последовательность приходится изменять и перестраивать по мере того, как у тебя возникают новые идеи. Время, потраченное таким образом, обычно более чем вознаграждается при самом

ремонте и не даёт вам совершать поспешные действия, которые создают проблемы позже.

Свою робость можно несколько ослабить, подумав о том, что нет на свете такого механика, который когда-нибудь чего-либо не напортачил. Основная разница между тобой и платным механиком состоит в том, что когда такое случается, ты просто ничего не знаешь, а только платишь дополнительную сумму, которая пропорционально распределена по всем счетам. Когда же сам делаешь ошибки, по крайней мере, чему-то учишься при этом.

Следующая ловушка для вдохновения, которая приходит на ум, это скука. Она противоположна робости и нередко связана с проблемами эго. Скука означает, что вы сбились с колеи качества, утратили свежий взгляд на вещи, “разум новичка” и тогда ваш мотоцикл в большой опасности. Скука означает, что запас вдохновения почти иссяк, и его следует пополнить тогда в самую первую очередь.

Если обрыдло, остановись! Пойди на концерт. Включи телевизор. Объяви конец рабочего дня. Займись чем угодно, только не мотоциклом. Если не остановишься, то тогда может случиться Грубая ошибка, вся накопившаяся скука в сочетании с грубой ошибкой одним мощнейшим ударом вышибет из тебя всё вдохновение, и вот тогда-то ты действительно пропал.

Моё любимое лекарство от скуки — сон. При скуке очень легко уснуть, а после длительного отдыха очень трудно скучать. Следующее средство — это кофе. Работая с машиной, я обычно включаю кофейник. Если это не помогает, то вас возможно тревожат более глубокие проблемы качества, они отвлекают вас от того, что под руками. Скука — это сигнал, что следует обратить внимание на эти проблемы, ведь этим же ты так или иначе занят, и уладить их до того, как продолжишь работать с машиной.

Для меня самая скучная работа — чистить машину. Кажется, что попусту тратишь время. И как только снова проедешься на ней, она сразу же пачкается. Джон же всегда содержит свой БМВ как с иголочки. Он всегда у него смотрится прекрасно, а мой же выглядит каким-то замызганным. В этом проявляется классический подход, внутри всё отлично работает, а снаружи выглядит неважно.

Одно из решений проблемы скуки при некоторых видах работы, таких как шприцевание, смена масла или настройка, состоит в том, чтобы превратить их в некоторого рода ритуал. При выполнении незнакомых работ проявляется одна эстетика, при работе с знакомыми вещами — другая. Говорят, что бывают два рода сварщиков: заводские сварщики,

которые не любят сложных конструкций и любят делать одну и ту же операцию снова и снова, и сварщики по ремонту, которые терпеть не могут делать одну и ту же работу дважды. При этом советуют, прежде чем обращаться к сварщику, выяснить, к какому роду он относится, ибо они не взаимозаменяемы. Я отношусь к последнему виду, и возможно поэтому мне больше других нравится отыскивать неполадки и больше других не нравится чистить машину. Но когда приходится, я могу делать и то, и другое, наравне со всеми. При чистке машины я поступаю так, как ходят в церковь, не для того, чтобы открыть что-либо новое, хоть я и готов воспринять нечто новое, но главным образом, чтобы вновь пообщаться с уже знакомым. Иногда приятно пройти по знакомым тропам.

У дзэна также есть кое-что сказать по поводу скуки. Его основное занятие, просто посидеть, должно быть, самое скучное занятие в мире, если не считать индуистской практики захоронения живьём. При этом ничем особенным не занимаешься, не двигаешься, не думаешь, не беспокоишься. Что может быть скучнее? И всё же в центре всей этой скуки и находится то самое, что стремится проповедовать дзэн-буддизм. Что же это? Чего ищете вы в самой гуще скуки?

Нетерпеливость сродни скуке, но всегда вызвана одной причиной: недооценкой количества времени, которое потребуется на данную работу. В действительности никогда не знаешь, что может всплыть, и очень немногие работы выполняются в запланированные сроки. Нетерпеливость — первая реакция при неудаче, и если не проявить осторожности, она может перейти в ярость.

С нетерпеливостью лучше всего справляться, выделяя для работы неопределённое время, в особенности для новой работы, связанной с незнакомой технологией, если обстоятельства требуют планирования, удвойте время, сократите масштабы того, что хотите сделать. Следует приуменьшить важность масштаба глобальных целей, а масштаб непосредственных задач нужно увеличить. Это требует гибкости в определении ценностей, что обычно приводит к некоторой утрате вдохновения, но на такую жертву приходится идти. Это ничуть не похоже на утрату вдохновения, которое вызвано Грубой ошибкой в результате нетерпеливости.

Моё любимое занятие при снижении масштаба — это чистка гаек, винтов, штифтов и заглушенных отверстий. Терпеть не могу, когда резьба перекошена, сбита, покрыта грязью или ржавчиной, при этом винты отворачиваются с трудом и медленно. Когда мне попадается такая, я снимаю её размеры штангенциркулем и резьбомером, достаю метчики и

лерки, вновь нарезаю резьбу, обследую её, смазываю, и тогда у меня появляется новое видение выдержки. Другое занятие — чистка инструмента, которым пользовался, но до сих пор не убрал на место, и который разбросан повсюду. Это полезное занятие, ибо первым признаком нетерпеливости является раздражение, когда сразу под руку не попадает тот предмет, который нужен. Если задержаться и аккуратно разложить инструменты, то тогда найдёшь нужный из них и сбавишь своё раздражение, не тратя на это времени и не ставя работу под угрозу.

Вот мы въезжаем в Дейвилл, и я чувствую, что сиденье у меня стало бетонным.

На этом можно и ограничиться ловушками для ценностей. Их, конечно же, гораздо больше. Я ведь лишь мимоходом затронул эту тему, чтобы показать, что за ней кроется. Почти любой механик может часами рассказывать вам о ловушках для ценностей, которые он открыл, но о которых мне ничего не известно. И в каждой работе вы обязательно столкнётесь со многими из них. Лучшим уроком здесь будет распознать ловушку для ценностей, когда попадёшь в неё, и выбраться из неё, прежде чем продолжать работу с машиной.

У бензоколонки в Дейвилле, где мы ждем появления заправщика, растут большие тенистые деревья. Никто не подходит, и мы разминаем ноги под сенью деревьев, ибо всё у нас затекло и садиться на мотоцикл не хочется. Огромные деревья почти полностью скрывают дорогу. Странно как-то в этой почти пустынной местности.

Заправщика по-прежнему нет, его конкурент через дорогу наблюдает за нами и вскоре подходит, чтобы налить нам бак.

— Не знаю, куда подевался Джон, — говорит он.

Когда же появляется Джон, то он благодарит второго заправщика и с гордостью говорит: “Мы всегда помогаем друг другу в таких случаях”.

Я спрашиваю его, где бы тут отдохнуть, и он отвечает: “Можете воспользоваться лужайкой у моего дома” и указывает через дорогу на свой дом, стоящий позади пирамидальных тополей диаметром в три-четыре фута.

Мы так и делаем, растягиваемся на высокой зелёной траве, и я замечая, что лужайка и деревья орошаются из придорожной канавы, в которой течёт чистая проточная вода.

Мы проспали должно быть с полчаса, когда обнаружили, что Джон сидит в кресле-качалке рядом с нами на зелёной траве и беседует с пожарником в соседнем кресле. Я прислушиваюсь. Темп их беседы увлекает меня. Беседа не имеет никакой определенной цели, она ведётся

так, для времяпровождения. Я не слышал такого степенного мерного разговора с тридцатых годов, когда мой дедушка и прадедушка, дяди и другие старики беседовали таким образом: долгая, бесконечная беседа, без какой-либо конкретной цели и предмета. Лишь бы провести время, как и покачивание в кресле.

Джон замечает, что я проснулся, и мы заводим разговор. Он говорит, что вода для орошения поступает из “Китайского рва”.

— Белого человека не заставишь выкопать такой ров, — сообщает он. — Они прокопали его восемьдесят лет тому назад, думали, что тут есть золото. Теперь такого рва больше не сыскать”. Он говорит, что и деревья поэтому такие большие.

Затем беседа переходит на то, откуда мы и куда направляемся, а когда мы уезжаем, Джон говорит, что рад был познакомиться и надеется, что мы хорошо отдохнули. Когда мы выезжаем из-под громадных деревьев, Крис машет ему рукой, улыбается и снова машет.

Пустынная дорога кружит среди скалистых проходов и холмов. Здесь самая засушливая местность за весь наш путь.

Теперь мне хочется поговорить о ловушках истины и мышечных ловушках, и на этом закончить шатокуа на сегодня.

Ловушки истины относятся к сведениям, с которыми сталкиваешься в работе, и которые находятся в вагонах товарного поезда. Большей частью такие данные хорошо обрабатываются с помощью дуалистической логики беседы и научного метода, о котором говорилось выше, когда мы проезжали Майлс-Сити. Но есть одна ловушка, которая не вписывается сюда, ловушка логики “да-нет”.

Да и нет... то и это... единица или ноль. Всё знание человечества построено на основе этого элементарного двоичного разграничения. Свидетельством этому является память компьютера, которая хранит все знания в форме бинарной информации. И она состоит только из единиц и нулей, ничего больше.

Поскольку мы не привыкли к такому, мы обычно не замечаем, что возможно имеется третий логический член, равный да и нет, который в состоянии расширить наше понимание в ещё неизвестном направлении. У нас даже нет названия ему, поэтому мне придётся воспользоваться японским обозначением мю.

Мю означает “ни чего”. Подобно “Качеству” оно указывает вне процесса дуалистического распознавания. Мю просто гласит: “Нет класса, ни единица, ни ноль, ни да, ни нет.” Оно гласит, что контекст вопроса таков, что ответ типа “да” или “нет ответа” является ошибочным, и его не

следует давать. Оно гласит: “Переформулируйте вопрос”.

Мю становится уместным тогда, когда контекст вопроса слишком узок для истинного ответа. Когда монаха религии дзэн Джошу спросили, имеет ли собака природу Будды, он ответил “Мю”, что значило, если он ответит на вопрос любым из способов, ответ будет неверным. Природу Будды нельзя охватить вопросами типа да или нет.

Очевидно, что мю существует в нашем естественном мире, который исследует наука. Только дело в том, что обычно мы не приучены различать его. Например, неоднократно утверждалось, что цепи ЭВМ показывают только два состояния, одно напряжение для “единицы” и другое напряжение для “ноля”. Но ведь это же глупость!

Любому технику-электронщику известно, что это не так. Попробуйте найти напряжение, представляющее единицу или ноль, когда питание выключено! Цепи находятся в состоянии мю. Они не в единице, они не в ноле, они находятся в неопределённом состоянии, которое не имеет смысла с точки зрения единиц или нолей. Во многих случаях показания вольтметра будут “плавающая земля”, при которых вольтметр показывает вовсе не характеристики цепей ЭВМ, а характеристики самого вольтметра. случилось то, что при отключенном питании наступает такое состояние, контекст которого шире считавшихся универсальными состояний единицы и ноля. Требуется “переформулировка” вопроса о единице и ноле. И помимо состояния с отключенным питанием в компьютере бывает множество других состояний, при которых дается ответ мю, ибо существуют контексты более широкого плана в сравнении с универсальностью типа единица-ноль.

Дуалистический разум склонен считать случаи проявления мю в природе некими контекстуальными недоразумениями или неуместностями, но мю проявляется в любых научных исследованиях, а природа не обманывает, и ответы природы всегда уместны. И большую ошибку делают те, кто отмахивается от мю ответов природы, это как-то не совсем честно. Признание и оценка таких ответов намного приблизили бы логическую теорию к экспериментальной практике. Любому лабораторному учёному известно, что очень часто в экспериментах получаются ответы мю на вопросы типа да-нет, на которых строится опыт. В таких случаях он считает организацию эксперимента слабой, корит себя за глупость, и в лучшем случае считает “неудачный” эксперимент, который дал ему ответ мю, некоторого рода веретеном, которое поможет ему избежать ошибок при организации будущих опытов по схеме да-нет.

Неоправданна низкая оценка эксперимента, который привёл к ответу

мю. Ответ мю важен. Он сообщает учёному, что контекст его вопроса слишком узок для ответа природы, и что ему следует расширить этот контекст. И это очень важный ответ! Его понимание природы при этом значительно улучшилось, в чём прежде всего и состояла цель эксперимента. Можно привести очень убедительные доказательства в пользу того, что наука больше развивается в результате ответов мю, чем в результате ответов да-нет. Да или нет лишь подтверждают или отвергают гипотезу. Мю сообщает, что ответ находится за рамками гипотезы. Мю — это такое “явление”, которое прежде всего вдохновляет на научные поиски! В нём нет ничего таинственного или изотерического. Наша культура лишь ложно воспитала нас так, что мы судим о нём поверхностно.

При ремонте мотоцикла ответ мю, который даёт машина на многие вопросы диагностики, — основная причина утраты вдохновения. Но этого не должно быть! Если ответ на опыт получается неопределённым, это означает одно из двух: либо процедура опыта не выполняет того, что было задумано, либо ваше понимание контекста вопроса требуется расширить. Проверьте опыты и вновь изучите вопрос. Не отбрасывайте ответы мю! Они ведь настолько же важны, как и ответы да или нет. Более того. Именно на них и растёшь!

... Кажется мотоцикл начинает слегка перегреваться... но, пожалуй, это из-за того, что мы проезжаем по жаркой засушливой местности... Ответ на этот вопрос я оставляю в состоянии мю... пока не станет хуже или лучше...

Останавливаемся, чтобы не торопясь попить кофе-гляссе в городе Митчелле, уместившимся среди засушливых холмов, которые видны нам сквозь зеркальную витрину окна. На грузовике приезжает целая ватага ребят, они слезают с машины и запруживают ресторан. Они ведут себя относительно хорошо, немного шумноваты и подвижны, но заметно, что дама, которая ими руководит, несколько нервничает.

Снова пустыня, песчаная местность. В неё мы и направляемся. Теперь уже день идёт на убыль, и мы действительно проехали много миль. Я чувствую себя по настоящему разбитым от долгого сидения на мотоцикле. Очень устал. Крис тоже показался мне таким в ресторане. И несколько отрешённым. Может быть он... ну... да ладно уж...

На данном этапе единственное, чего я хотел коснуться в плане ловушек для истины, так это расширение мю. Теперь пора переключиться на психомоторные ловушки. Это такая область понимания, которая самым непосредственным образом связана с тем, что происходит с машиной.

Здесь к наибольшей утрате вдохновения приводит неподходящий

инструмент. Нет ничего более деморализующего, чем отсутствие нужного инструмента. Если есть возможность, купи себе хороший инструмент, и никогда об этом не пожалеешь. Если хочешь сэкономить, не пренебрегай объявлениями в газетах. Хороший инструмент, как правило, не изнашивается, и хороший бывший в пользовании инструмент лучше нового более низкого качества. Полистай каталоги инструментов. В них можно найти очень много поучительного.

Помимо инструмента, крупной ловушкой для вдохновения бывают плохие условия работы. Обрати внимание на соответствующее освещение. Просто удивительно, скольких ошибок можно избежать при правильном освещении.

Некоторых физических неудобств избежать не удастся, но многие из них, такие как чрезмерная жара или излишний холод, могут в значительной мере повлиять на суждения, если не принимать их во внимание. Если, к примеру, холодно, то станешь торопиться и можно наделать ошибок. Если слишком жарко, то порог раздражения значительно снижается. Избегайте работы в неудобной позе. Небольшая скамеечка с каждой стороны мотоцикла намного повысит вашу выдержку, при этом гораздо меньше вероятности повредить узлы, над которыми работаешь.

Есть ещё одна психомоторная ловушка для вдохновения, мышечная нечувствительность, которая приводит к настоящей порче. Частично это вызвано нехваткой кинестезии, неспособности осознать, что хоть внешние детали мотоцикла довольно прочны, в моторе есть части настолько точные и нежные, что их можно легко повредить в результате мышечной нечувствительности. Существует так называемое “чувство механика”, которое так очевидно для тех, кто знаком с ним, но которое так трудно объяснить тому, кто им не обладает. Когда видишь, как такой человек работает с машиной, то страдаешь ничуть не меньше машины.

Чувство механика приходит от внутреннего кинестетического ощущения эластичности материалов. У некоторых материалов, таких как керамика, она очень невелика, так что при ввертывании детали по керамической резьбе надо быть очень осторожным и не прилагать больших усилий. У других материалов, как у стали, эластичность громадна, больше чем у резины, но в таком диапазоне, который не совсем очевиден, если только не работаешь с большими механическими усилиями.

В случае с винтами и гайками находишься в диапазоне больших механических усилий, и следует понимать, что в этих пределах металлы эластичны. Когда берёшься за гайку, есть такая точка, называемая “усилие от руки”, когда есть контакт, но нет схватывания эластичности. Затем есть

точка “схватывания”, при которой происходит зацепление поверхностной эластичности. Есть предел, называемый “стронуться”, при которой израсходована вся эластичность. Усилие, требуемое для достижения каждой из этих трёх точек, различно для каждого размера болта и гайки, различно для смазанных винтов и болтов крепления. Эти усилия различны у стали и чугуна, меди и алюминия, пластмасс и керамики. Человек, обладающий чувством механика, знает, когда “заело”, и останавливается. Человек, не имеющий его, пропускает этот момент, срывает резьбу или портит узел.

“Чувство механика” подразумевает не только понимание эластичности металла, но также и его мягкость. Внутри мотоцикла есть поверхности, которые обработаны иногда с точностью до одной десятитысячной доли дюйма. Если их уронить или поцарапать, если на них попадёт грязь или стукнуть по ним молотком, они утратят эту точность. Важно понимать, что металл под поверхностью может как правило выдерживать большое напряжение и удары, а сама поверхность этого не может. При работе с высокоточными деталями, которые заело или неудобны в работе, человек с чувством механика постарается не повредить поверхностей и будет накладывать инструмент на те поверхности, которые таковыми не являются. Если же всё-таки приходится иметь с ними дело, то при этом он постарается работать с более мягкими поверхностями. Для таких работ существуют латунные молотки, пластмассовые кувалды, деревянные киянки, резиновые и свинцовые молотки. Пользуйтесь ими. Щёки тисков можно обложить пластмассовыми, медными и свинцовыми прокладками. Используйте и их. Обращайтесь с высокоточными деталями аккуратно, и никогда об этом не пожалеете. Если у вас есть привычка швырять детали как попало, то не пожалейте времени и постарайтесь проявить побольше уважения работе с высокоточными деталями.

Длинные тени в той пустынной местности, где мы проезжали, оставили после себя несколько подавленное настроение...

Может быть, сказывается обычная послеобеденная хандра, но после того, что я наговорил сегодня за весь день, у меня возникло ощущение, что всё время хожу вокруг да около. Кое-кто может спросить: “Ну хорошо, если мне удалось избежать всех этих ловушек для вдохновения, то можно ли считать, что дело в шляпе?”

Ответ, конечно же, нет, ничего ещё не в шляпе. Надо ещё жить должным образом. Это такой образ жизни, который предрасполагает вас к тому, чтобы избегать таких ловушек и видеть нужные факты. Хотите знать, как надо красить в совершенстве? Стань сам совершенным и тогда крась

себе естественно. Именно так делают все специалисты. Покраска или ремонт мотоцикла неотделимы от остального вашего существования. Если вы мыслите неряшливо шесть дней в неделю, пока не заняты своей машиной, то какие уловки и ухищрения по избавлению от ловушек могут вдруг сделать вас смышлёным на седьмой день? Всё на свете взаимосвязано.

Но если ты неряшливо мыслил всю неделю, и вдруг постараться встряхнуться на седьмой, то, возможно, следующую неделю уж не будешь столь же неряшливым, как в предыдущую. Мне думается, что толкуя обо всех этих ловушках для вдохновения, я пытаюсь найти кратчайшие пути к правильной жизни.

Настоящий мотоцикл, с которым работаешь, называется ты сам. Машина, которая якобы находится “вон там” и личность, которая вроде бы существует “вот тут” — это не две различные вещи. Они либо вместе растут в направлении Качества, либо вместе отпадают от него.

Когда мы приезжаем на перекрёсток у Прайнвилла, остаётся всего лишь несколько часов светового дня. Мы на пересечении с шоссе № 97, здесь повернём на юг. Я заправляю бак на углу, затем чувствую себя настолько усталым, что захожу за бензоколонку и присаживаюсь на окрашенный жёлтой краской поребрик, опустив ноги на гравий, а последние лучи солнца слепят мне глаза сквозь листву деревьев. Крис тоже подходит и садится, мы ничего не говорим, и в этом проявляется настоящая тоска. Столько разговоров о ловушках для вдохновения, и вот я очутился в одной из них сам. Наверное просто усталость. Надо бы поспать.

Некоторое время я наблюдаю за машинами, проезжающими по шоссе. Что-то в них есть одинокое. Даже не одинокое, а хуже. Ничего. Как выражение заправщика, обслуживавшего нас. Ничего. Никакой поребрик с никаким гравием у никакого перекрёстка, ведущего в никуда.

И что-то такое в водителях машин. У них точно такой же вид, как и у заправщика, они просто уставились вперёд в каком-то своём трансе. Я такого не видел... с тех пор, как Сильвия обратила на это внимание в первый же день. Вид у них такой, как будто бы они в похоронной процессии.

Время от времени кое-кто из них бросит быстрый взгляд и затем с безразличием отворачивается, как бы занятый своими делами, как бы смущаясь, что обратили внимание на то, что он посмотрел на нас. Я теперь замечаю это, потому что такого уже не было довольно давно. И стиль езды теперь не тот. Машины идут как бы на максимальной скорости, направляясь к городу, как будто бы они хотят куда-то добраться, как если

бы им надо проскочить то, что находится вот здесь. Водители, кажется, задумались о том, куда они хотят попасть, а не о том, где они находятся.

Знаю, что это такое! Мы уже на западном побережье. Мы снова все чужие! Люди, я же забыл о самой главной ловушке для вдохновения. Похоронная процессия! Та, в которой находится каждый из нас, дутый, выкобенивающийся, суперсовременный, эгоистический стиль жизни, который возомнил, что ему принадлежит вся страна. Мы отошли от него так давно, что я совсем позабыл про него.

Мы вливаемся в поток транспорта, направляющегося на юг, и я чувствую, как приближается дутая опасность. В зеркало я вижу, как какой-то ублюдок преследует меня и не хочет обгонять. Я увеличиваю скорость до семидесяти пяти миль, а он по-прежнему висит. Девяносто пять, и мы отрываемся от него. Мне совсем не нравится всё это.

В Бенде мы делаем остановку и ужинаем в современном ресторане, куда люди приходят и откуда уходят не глядя друг на друга. Обслуживание великолепно, но обезличенно.

Дальше на юг мы находим лесок из чахлах деревьев, размежованных на смехотворные клочки. Очевидно, задумка какого-то предпринимателя. На одном из участков вдали от главной дороги мы расстилаем спальные мешки и обнаруживаем, что хвоя лишь слегка покрывает многофутовый слой мягкой губчатой пыли. Ничего подобного я до сих пор не встречал. Надо быть осторожным и не тревожить хвою, ибо тогда пыль взлетает и покрывает собой всё вокруг.

Мы расстилаем брезент и раскладываем на нём спальные мешки. Так вроде бы лучше. Мы с Крисом ненадолго заводим разговор о том, где находимся и куда поедет дальше. Я рассматриваю карту в сумерках, затем недолго продолжаю то же самое с фонариком. Сегодня мы проехали 325 миль. Это много. Крис вроде бы устал так же сильно, как и я, и готов тут же уснуть.

ЧАСТЬ IV

Почему ты не выходишь из тени? Как ты выглядишь в самом деле? Ты ведь чего-то боишься, да? Чего же ты боишься?

Позади фигуры в тени находится стеклянная дверь. За ней стоит Крис и делает мне знаки открыть её. Он теперь уже старше, но лицо у него по-прежнему умоляющее. — “Что мне делать теперь?” — вопрошает оно. — “Что мне делать дальше?” — Он ждёт указаний.

Пора действовать.

Я изучаю фигуру в тени. Она не такая уж всемогущая, как когда-то казалась. “Кто ты?” — спрашиваю я.

Ответа нет.

“По какому праву закрыта дверь?”

По-прежнему нет ответа. Фигура молчит, но выражает своё недовольство. Она боится. Меня.

“Есть вещи похуже, чем прятаться в тени. Не так ли? Не потому ли ты молчишь?”

Она как будто дрожит, отходит, как бы чувствуя, что я собираюсь сделать.

Я выжидаю, затем придвигаюсь ближе к ней. Одинокое, тёмное, злое существо. Ближе, но глядя не на неё, а на стеклянную дверь, чтобы не спугнуть её, я снова выжидаю, собираюсь с духом и бросаюсь вперёд!

Руки мои погружаются во что-то мягкое там, где должна быть её шея. Она извивается, но я сжимаю всё крепче, так, как держат змею. А теперь, сжимая всё крепче и крепче, мы выведем её на свет. Ну вот она! СЕЙЧАС МЫ УВИДИМ ЕЁ ЛИЦО!

“Папа!” “Папа!” — я слышу как Крис кричит через дверь?

Да! Впервые! “Папа! Папа!”

— Папа! Папа! — Крис дёргает меня за рубаху. — Папа! Проснись, папа!

Он плачет и всхлипывает. — Перестань, пап! Проснись!

— Всё в порядке, Крис.

— Пап! Проснись!

Я проснулся. — С трудом различаю его лицо в предрассветной мгле. Мы находимся где-то среди деревьев. Вот стоит мотоцикл. Мы наверное где-то в Орегоне.

— Всё в порядке, просто приснился кошмар.

Он всё ещё плачет, и я тихо сижу рядом с ним некоторое время. — Ну, всё в порядке, — говорю я, но он не перестаёт. Он страшно напуган.

Я тоже.

— Что тебе приснилось?

— Я пытался рассмотреть чье-то лицо?

— Ты кричал, что убьёшь меня.

— Нет, не тебя.

— Кого же.

— Человека во сне.

— И кто же он?

— Я не уверен.

Крис перестаёт плакать, но продолжает вздрагивать от холода. — Ты видел его лицо?

— Да.

— Как оно выглядит?

— Это было моё собственное лицо, Крис, то есть, когда я кричал... Просто дурной сон. — Я говорю ему, что он дрожит и чтобы залезал обратно в мешок.

Он так и делает. — Так холодно, — говорит он.

— Да. — При утреннем свете я вижу, как изо рта у нас идёт пар. Затем он забирается в мешок с головой, и я вижу только собственное дыхание.

Не спится.

Тот, кто приснился мне, вовсе не я.

Это Федр.

Он просыпается.

Раздвоившееся сознание... я... Это я злая фигура в тени. Это я та отвратительная фигура...

Я так и знал, что он вернётся...

Теперь надо только подготовиться к этому...

Небо под деревьями выглядит таким серым и безнадежным.

Бедный Крис.

Отчаяние нарастает.

Так растворяется кино, когда осознаёшь, что ты не в настоящем мире, но всё равно кажется, что это так.

Холодный бесснежный ноябрьский день. Ветер задувает пыль в щели окон старой машины с сажей на стекле. Крис, которому шесть лет, сидит рядом с ним. На нём несколько свитеров, так как печка не работает, сквозь грязные окна обдуваемой ветром машины они видят, что едут вперёд к серому бесснежному небу между стенами серых и серовато-бурых зданий с кирпичными фронтонами по усыпанным битым стеклом и мусором улицам.

— Где мы? — спрашивает Крис, а Федр отвечает, — Не знаю, — и он действительно не знает, он почти лишён рассудка, и его просто несёт по улицам.

— Куда мы едем? — спрашивает Федр.

— К ночлежникам, — отвечает Крис.

— А где они? — говорит Федр.

— Не знаю, — отвечает Крис. — Может быть, если поедem дальше, то увидим их.

Итак, они всё едут и едут вдвоём по бесконечным улицам в поисках ночлежников. Федру хочется остановиться, положить голову на рулевое колесо и просто отдохнуть. Сажа и серость набились ему в глаза и почти затмили ему сознание. Одна улица похожа на другую. Одно серо-бурое здание подобно другому. Так они и едут всё дальше и дальше, разыскивая ночлежников. Но Федр знает, что ночлежников ему не найти.

Крис начинает медленно, постепенно сознавать, что что-то не так, что человек, правящий машиной, вовсе не управляет ею, что капитан погиб, и машина осталась без руля. Он ещё не знает этого, а только чувствует, просит остановиться, и Федр останавливается.

Сзади сигналист какая-то машина, но Федр не двигается. Сигналят другие машины, ещё и ещё, Крис в панике говорит: “Езжай!” Федр медленно как в агонии выжимает сцепление и включает скорость. Медленно, как во сне, машина едет по улицам на низкой передаче.

— Где мы живём? — спрашивает Федр у перепуганного Криса.

Крис помнит адрес, но не знает, как проехать туда, затем соображает, что если расспросить людей, то они найдут дорогу. Он просит остановить

машину, выходит и спрашивает, как проехать, затем направляет спятившего Федра по бесконечным улицам, среди бесконечных кирпичных стен и битого стекла.

Они приезжают домой много часов спустя, и мать просто в бешенстве, что они так припозднились. Она не может понять, почему они не нашли ночлежников. Крис говорит: “Мы искали везде”, - быстро глянув на Федра испуганным взглядом, полным ужаса перед чем-то неизвестным. Вот тут-то у Криса всё и началось.

Этого больше не будет...

Я думаю, что, как только приедем в Сан-Франциско, я посажу Криса на автобус домой, затем продам мотоцикл и лягу в больницу... или всё это без толку... не знаю, что сделаю...

Всё-таки поездка будет не совсем зря. По крайней мере, пока он растёт, у него останутся от меня хорошие воспоминания. Я при этом несколько успокаиваюсь. Неплохая мысль, надо держаться за неё. Так я и сделаю.

А тем временем просто продолжим поездку как обычно и будем надеяться, что всё пойдёт на лад. Ничего не надо отбрасывать. Никогда, никогда ничего не выбрасывайте.

Как холодно! Совсем как зимой! Где же мы находимся, что так холодно? Должно быть, на большой высоте. Я выглядываю из спального мешка и на этот раз вижу иней на мотоцикле. Он так и сверкает на хромированном бензобаке в лучах утреннего солнца. На черной раме под лучами солнца он превратился в капельки воды, которые скоро начнут стекать на колесо. Нет, так лежать слишком холодно.

Я вспоминаю про пыль под хвоей и осторожно обуваюсь, чтобы не поднимать её. Распаковываю всё на мотоцикле, достаю теплое бельё и надеваю его, затем остальную одежду, потом свитер, затем куртку. Но всё равно холодно.

Выхожу на мягкую пыль просёлочной дороги, по которой мы въехали сюда и бросаюсь бегом мимо сосен на расстояние около сотни футов, затем перехожу на ровный бег и наконец останавливаюсь. Так-то лучше. Нигде ни звука. На дороге небольшими пятнами также лежит иней, но под ранними лучами солнца он начинает таять и образует тёмные бурые островки. Он такой белый, кружевной и совсем нетронутый. На деревьях тоже лежит иней. Я мягко иду назад по дороге, чтобы не потревожить восход солнца. Ощущение ранней осени.

Крис всё ещё спит, и мы не сможем никуда ехать, пока воздух не прогреется. Самое время настраивать мотоцикл. Я отвинчиваю барашек на

боковой крышке над воздушным фильтром и из-под него достаю поношенный грязный сверток с походным инструментом. Руки у меня не гнутся от холода, а тыльная сторона их покрылась морщинами. Хотя эти морщины вовсе не от холода. В сорок лет наступает старость. Я кладу сверток на сиденье и разворачиваю его... вот они... как встреча со старыми друзьями.

Слышу, как шевелится Крис, бросаю на него взгляд через сиденье и вижу, что он ещё не встаёт. Очевидно, он просто ворочается во сне. Чуть погода солнце начинает пригревать, и руки не так уж коченеют, как раньше.

Я хотел было рассказать кое-что из баек о ремонте мотоцикла, сотни мелких вещей, которые познаёшь по ходу дела, они обогащают вас не только в практическом плане, но и в эстетическом. Но сейчас это кажется слишком банальным, хоть и не следовало говорить такого.

Теперь же я двинусь в другом направлении, которое завершает его историю. Я по сути дела так и не завершил её, ибо не считал, что это необходимо. Но теперь мне кажется, наступило подходящее время для этого.

Металл ключей настолько холоден, что обжигает руки. Но это хороший ожог. Он настоящий, а не воображаемый, и он вот тут, прямо у меня в руках.

...Когда идёшь по тропе и замечаешь, что с одной стороны отходит тропинка под углом, скажем, в 30 градусов, а затем другая тропа отходит на той же стороне под более крутым углом, скажем, 45 градусов, позже ещё одна тропа под 90 градусов, то начинаешь понимать, что где-то там есть такая точка, куда ведут все эти тропы, и что множество народа считает уместным идти таким путём, и тогда начинаешь задумываться, возможно просто из любопытства, а не стоит ли и тебе следовать этим путём.

В поисках концепции качества Федр постоянно замечал снова и снова тропинки, которые вели к какой-то точке с одной стороны его пути. Ему казалось, что он уже знает в общем тот район, куда они ведут, Древняя Греция, но теперь он задумался, а не проглядел ли он чего-нибудь там.

Он как-то спросил Сару, которая проходила с лейкой по его кабинету и заронила в нём идею качества, в каком разделе английской литературы изучается качество, как предмет.

— Боже мой, не знаю, я же не специалист по английской литературе, — ответила она. — Я же занимаюсь классикой. Моя специализация — греческий.

— Является ли качество частью греческого мышления? — спросил он.

— Любая часть греческого мышления состоит из качества, — ответила

она, и он задумался над этим. Иногда ему казалось, что в её несколько старомодном способе выражаться он улавливает скрытое лукавство, как если бы подобно дельфийскому оракулу она говорила вещи со скрытым смыслом, но уверенности в этом у него не было.

Древняя Греция. Как странно, что для них качество было всем, а сегодня даже как-то неудобно говорить, что качество реально. Какие невидимые перемены произошли с тех пор?

На вторую тропу к Древней Греции указывала та внезапность, с которой сам вопрос “Что такое качество?” ворвался в систематическую философию. Он ведь считал, что с этой областью уже покончено. Но “Качество” вновь вскрыло всё. Грекам принадлежит систематическая философия. Древние греки изобрели её и тем самым наложили на неё неизгладимую печать. Можно хорошо обосновать утверждение Уайтхеда о том, что вся философия — ничто иное, как “примечания к Платону”. Поэтому неразбериха с реальностью качества должна была начаться ещё где-то там.

Третья тропа появилась тогда, когда он решил уехать из Бозмена и работать над докторской диссертацией, которая нужна была ему, чтобы продолжать преподавать в университете. Он хотел продолжить исследование смысла качества, которое начал, преподавая английский язык. Но где? И в какой дисциплине? Очевидно, что термин “Качество” не входит ни в одну из дисциплин, если только это не философия. А по опыту философии он знал, что дальнейшее исследование вряд ли приведёт к открытию чего-либо, имеющего отношение к таинственному термину в сочинениях по английской литературе.

Он всё отчетливее стал понимать, что вряд ли есть такая программа, по которой можно изучать качество в том, плане, в каком он его понимает. Качество не только выходит за рамки какой-либо академической дисциплины, оно находится вне пределов методологии всего Храма Разума. Это какой же университет согласится принять докторскую диссертацию, соискатель которой отказывается даже определить свой основной термин.

Он долго рылся в каталогах и кажется нашёл то, что искал. Есть всё-таки один университет, Университет Чикаго, где была междисциплинарная программа “Анализ идей и изучение методов”. В экзаменационную комиссию входил профессор английского языка, профессор философии, профессор китайского языка, а председателем был профессор древнегреческого! Вот тут и грянул гром.

Я сделал всё, что хотел с машиной, кроме смены масла. Бужу Криса, и мы пакуем вещи. Он всё ещё сонный, но вскоре просыпается окончательно

от холодного ветра на дороге.

Сосновая дорога подымается вверх, и сегодня утром не так уж и много на ней машин. Среди сосен возвышаются тёмные вулканические скалы. Интересно, а не на вулканической ли пыли мы ночевали? Да и существует ли такая вещь как вулканическая пыль? Крис говорит, что проголодался, и мне тоже хочется есть. Мы останавливаемся в Лапайне. Я велю Крису заказать мне на завтрак яичницу с ветчиной, а сам остаюсь на улице, чтобы сменить масло.

На бензоколонке рядом с рестораном я покупаю кварту масла, на гравийной площадке позади ресторана вывинчиваю пробку картера, сливаю масло, завинчиваю пробку и заливаю масло. Закончив, проверяю его щупом, и свежее масло на щупе сверкает на солнце, чистое и почти прозрачное как вода. А-а-а-а-а!

Собираю инструмент, вхожу в ресторан, вижу Криса и мой завтрак на столе. Направляюсь в умывальню, привожу себя в порядок и возвращаюсь.

— Как же я проголодался! — восклицает он.

— Да, ночью было холодно, — отвечаю я. — Чтобы сохранить себе жизнь, потребовалось истратить много калорий.

Отличная яичница. Ветчина тоже. Крис рассказывает о сне, как он напугался, и на этом заканчивает. У него такой вид, как если бы он хотел спросить что-то, но затем отворачивается, смотрит в окно на сосны и снова заводит разговор.

— Пап?

— Да?

— А зачем мы это делаем?

— Что?

— Всё едем и едем.

— Просто посмотреть страну... каникулы ведь.

Ответ вроде бы не удовлетворяет его, но он никак не может выразить то, что его не устраивает.

Внезапно ударяет волна отчаяния, как тогда на рассвете. Я же ведь лгу ему. Вот в чём дело.

— Всё едем и едем..., - повторяет он.

— Ну да, а ты чего бы хотел?

У него нет ответа.

У меня тоже.

В пути у меня появляется ответ, что мы делаем самое качественное дело, какое только я смог придумать, только вряд ли такой ответ устроит его. Рано или поздно, прежде чем мы расстанемся, если на то пошло, нам

надо будет как следует поговорить. Такое огораживание от прошлого может нанести ему больше вреда, чем пользы. Ему придётся узнать о Федре, хотя многого он так и не сможет понять. В особенности конец.

В Чикагский университет Федр приехал в состоянии мышления, настолько отличавшимся от вашего или моего понимания, что его трудно передать, даже если бы я всё помнил. Мне известно, что исполнявший обязанности председателя принял его в отсутствие самого председателя на основании его преподавательского стажа и способности разумно вести беседу. Утрачено то, что он фактически говорил. Затем ему пришлось ждать несколько недель возвращения председателя в надежде получить стипендию, но когда председатель вернулся, то прошло собеседование, которое по существу выразилось в одном вопросе, на который не было ответа.

Председатель спросил: “Какова же ваша тема по существу?”

Федр ответил: “Стилистика английского языка”.

Председатель взревел: “Ведь это же методологическая область!” На этом собеседование практически и закончилось. После нескольких несущественных фраз, которые Федр нерешительно, заикаясь, произнёс, он извинился и уехал обратно в горы. Именно из-за этой черты характера ещё раньше ему пришлось уйти из университета. Он заикливался на каком-то вопросе и не мог думать ни о чём другом, а уроки шли своим чередом без него. На этот раз, однако, в его распоряжении было всё лето, чтобы обдумать, почему его тема должна быть существенной или методологической, и всё лето он только этим и занимался.

В лесу, на границе альпийских лугов, он питался швейцарским сыром, спал на постели из лапника, пил горную родниковую воду и думал о Качестве, о существенной и методологической тематике.

Сущность не меняется. В методологии нет постоянства. Сущность имеет отношение к форме атома. Методика же касается того, что этот атом делает. В техническом описании подобное же различие имеется между физическим и функциональным изложением. Сложный механизм лучше всего сначала описывать в плане существа: его составные части и детали. Затем уже даётся описание в плане методики: его функции в порядке следования. Если смешать физическое и функциональное описание, сущность и методику, то всё тогда запутывается, в том числе и читатель.

Но применять такую классификацию ко всей области знания, такой как стилистика английского языка, кажется произвольным и непрактичным. Нет такой академической дисциплины, которая не имела бы существенных и методологических аспектов. А он не видел, какую связь может иметь

качество с любым из них. Качество — это не сущность. Но и не методика. Оно вне их обеих. Если строить дом по методике отвеса и уровня, то делается это потому, что строго вертикальная стена обладает меньшей вероятностью рухнуть и поэтому обладает высшим качеством по сравнению с наклонной. Качество — это не метод. Это цель, на которую направлен данный метод.

“Сущность” и “существенный” в действительности соответствуют “объекту” и “объективности”, которые он отверг при подходе к недуалистической концепции качества. Когда всё разделено на сущность и методику, так же как если всё поделить на субъект и объект, то в действительности качеству уж совсем не остаётся места. Его диссертация не может быть частью существенной сферы, ибо согласиться на отрыв существенного от методологического значит отрицать наличие Качества. Если же оставить качество, то надо отказаться от существа и методики. Это означает ссору с комиссией, к чему у него не было никакого желания. Но его сердило то, что они разрушили весь смысл того, что он говорил, с самого первого вопроса. Область по существу? В какое прокрустово ложе они собираются затолкать его?

Он решил тщательнее изучить научный багаж членов комиссии и с этой целью порылся в библиотеке. Он чувствовал, что эта комиссия витает в совершенно чуждой структуре мышления. Он не видел точек соприкосновения этой структуры со своей более широкой структурой мышления.

Особенно его беспокоило качество объяснений по поводу целей комиссии. Они были чрезвычайно запутаны. Всё описание работы комиссии представляло собой странное сочетание достаточно обычных слов, составленных самым необычным образом, так что объяснение представлялось гораздо более сложным, чем то, что пытаются объяснить. Это вовсе не походило на тот гром, который он слышал раньше.

Он изучил всё, что сумел найти, из написанного председателем, и снова столкнулся с таким же витиеватым стилем, каким было написано положение о комиссии. Это его весьма озадачило, потому что никак не вязалось с впечатлением от личного общения с председателем. Председатель, во время их короткого собеседования, поразил его большой живостью ума и ярким темпераментом. И вот вам самый туманный и непроницаемый стиль из тех, с которыми Федру приходилось сталкиваться. Здесь были такие энциклопедические предложения, в которых от субъекта к предикату совершенно нельзя докричаться. Побочные элементы необъяснимым образом заключались в другие скобки, которые так же

непостижимо включались в предложения, чью связь с предыдущими предложениями читатель уже давно похоронил, и останки сгнили задолго до того, как поставлена точка.

Но ещё более примечательным было удивительное необъяснимое созвездие абстрактных категорий, якобы чреватых особым смыслом, который нигде не фигурировал и о котором можно было только догадываться. Всё это нагромождалось друг на друга так быстро и так тесно, что Федр понял, нет никакой возможности в этом разобраться, а тем более спорить с ним.

Вначале Федр предположил, что причина в том, что это всё выше его головы. Статьи предполагали некоторое предварительное обучение, которого у него не было. Затем, однако, он заметил, что некоторые из статей обращены к читателям, которые никак не могли иметь такой подготовки, и это несколько ослабило его гипотезу.

Вторая гипотеза у него была о том, что председатель — “технар”, термин, который он применял для характеристики авторов, которые настолько увлеклись предметом, что утратили способность общения с посторонними людьми. Но если так, то почему комиссия получила такое общее, нетехническое название как “Анализ идей и исследование методов”? И председатель совсем не походил на технаря. Так что и эта гипотеза оказалась слабоватой.

Со временем Федр отказался от того, чтобы биться головой об стенку председательской риторики и попробовал разобраться поглубже в багаже членов комиссии в надежде, что это разъяснит ему, в чём дело. И оказалось, что это правильный подход. Он начал понимать, в чём же трудность.

Утверждения председателя были осторожными, огороженными громадными укреплениями в виде лабиринта, которые были настолько сложными и массивными, что почти невозможно было докопаться до того, что же в действительности он там скрывает. Непроницаемость этого была похоже на то, когда вы входите в комнату, где только что закончился жестокий спор. Всё спокойно. Все молчат.

У меня сохранился небольшой отрывок воспоминаний, как Федр стоит в каменном коридоре здания, очевидно в Чикагском университете, обращается к помощнику председателя комиссии с видом детектива в конце кино и говорит: “В описании вашей комиссии вы упустили одно важное имя.”

— Да? — поинтересовался помощник председателя.

— Да, — многозначительно отвечает Федр. — ... Аристотель...

Помощник председателя на мгновение ошарашен, затем, как

преступник, которого обнаружили, но который не чувствует себя виновным, заливается громким долгим смехом.

— Ах да, понятно, — говорит он. — Вы же ничего не... знаете о... Затем он спохватывается и решает ничего больше не говорить.

Подъезжаем к повороту на озеро Крейтер и едем дальше по гладкой дороге к Национальному парку, чистому, аккуратному и ухоженному. Он таким вообще-то и должен быть, но при этом не заслуживает никаких лавров по качеству. Он просто превращён в музей. Таким он и был до появления здесь белого человека, прекрасные потоки лавы, чахлые деревца, нигде нет ни одной банки из-под пива, но теперь с появлением белого человека всё это выглядит искусственным. Может быть Службе национальных парков следует устроить хоть одну кучу пивных банок среди этого нагромождения лавы, и тогда всё оживёт. Отсутствие пивных банок вызывает какое-то беспокойство.

У озера мы останавливаемся, разминаемся и дружески общаемся с небольшой толпой туристов с камерами и детьми, которым всё время кричат: “Не подходи близко!” Видим машины и дачные прицепы с номерными знаками из разных штатов, осматриваем озеро с чувством “ну вот оно”, совсем как на картинках. Я оглядываю других туристов, и у всех у них такой вид, что им тут не место. Меня это вовсе не огорчает, только появляется ощущение нереальности, качество озера смазывается тем, что на него так явно таращатся. Только покажи на качество пальцем, и оно стремится исчезнуть. Качество — это то, что замечаешь краем глаза, я так и смотрю на озеро подо мной, но чувствую какое-то особенное качество от холодящего, почти жесткого солнечного света позади себя и еле слышно веющего ветерка.

— И зачем мы только приехали сюда? — спрашивает Крис.

— Посмотреть озеро.

Ему оно не нравится. Он чувствует неестественность и сильно хмурится, пытаюсь подобрать правильный вопрос, чтобы вскрыть её. — Противно даже, — говорит он.

Какая-то туристка сначала посмотрела на него удивленно, затем сердито.

— Ну что поделаешь, Крис? — говорю я. — Придётся просто ехать дальше, пока не выясним, что тут не так, или не поймём, почему мы не знаем, что что-то не так. Как ты думаешь?

Он не отвечает. Туристка делает вид, что не слушает, но то, как она замерла, говорит об обратном. Мы идём назад к мотоциклу, я стараюсь что-нибудь придумать, но ничего не выходит. Я вижу, что он потихоньку плачет

и отвернулся, чтобы я этого не заметил.

Из парка мы выезжаем в южном направлении.

Я говорил, что помощник председателя Комиссии анализа идей и исследования методов был ошеломлён. Ошеломило его то, что Федр не знает, что попал в точку того, что возможно является самым знаменитым академическим диспутом века, того, что президент калифорнийского университета назвал последней попыткой в истории изменить курс всего университета. Федр вкратце читал историю знаменитого бунта против эмпирического образования, который произошёл в начале тридцатых годов. Комиссия анализа идей и исследования методов была осколком этой попытки. Руководителями бунта были Роберт Майнард Хатчинз, который стал президентом чикагского университета, Мортимер Эдлер, работа которого о психологической основе закона свидетельства была сходна с работой, которую делал Хатчинз в Йельском университете, Скот Бьюкэнэн, философ и математик, и что было важнее всего для Федра, нынешний председатель комиссии, который в то время был специалистом по Спинозе и средним векам в Колумбийском университете.

Изучение Эдлером свидетельств при перекрёстном оплодотворении чтением классиков западного мира привело его к убеждению, что в последнее время человеческая мудрость продвинулась сравнительно недалеко. Он постоянно возвращался к Фоме Аквинскому, который взял Платона и Аристотеля и сделал из них средневековый синтез греческой философии и христианской веры. Для Эдлера работы Фомы Аквинского и греков в его же истолковании были краеугольным камнем западного интеллектуального наследия. Поэтому они служили мерилom для любого, кто ищет хороших книг.

По аристотелевой традиции, толкуемой средневековыми схоластами, человек считается рациональным животным, способным стремиться к хорошей жизни, определять её и добиваться её. Когда президент чикагского университета усвоил этот “первый принцип” природы человека, стало очевидно, что у него будут последствия в области образования. Некоторыми из этих результатов была знаменитая Программа великих книг чикагского университета, реорганизация структуры университета по аристотелевым направлениям и образование “колледжа”, в котором пятнадцатилетние студенты начинали читать классиков.

Хатчинз отверг мысль о том, что эмпирическое научное обучение может автоматически привести к “хорошему” образованию. Наука “не имеет цены”. Неспособность науки ухватить Качество как объект изучения делает невозможным для неё предоставить шкалу ценностей.

Эдлера и Хатчинза главным образом интересовали “обязанности” жизни, с ценностями, с качеством и основами Качества в теоретической философии. Таким образом они очевидно шли в том же направлении, что и Федр, но как-то добрались до Аристотеля и там остановились.

Произошло столкновение.

Даже те, кто готов был согласиться с озабоченностью Хатчинза Качеством, не могли окончательно уступить авторитету аристотелевой традиции по определению качества. Они утверждали, что нельзя установить ценности, и что современной философии совсем не обязательно считаться с идеями, изложенными в древних и средневековых книгах. Многим из них всё это представлялось лишь новым претенциозным жаргоном двусмысленных концепций.

Федр не очень-то представлял себе, что делать с таким столкновением. Но оно, конечно, было близко к той области, в которой он хотел работать. Он также чувствовал, что никаких ценностей зафиксировать нельзя, но это вовсе не было основанием считать, что их можно игнорировать и что в действительности они не существуют. Он также выступал против аристотелевской традиции как определителя ценностей, но полагал, что с ней стоит считаться. Ответ на всё это был некоторым образом глубоко замешан на этой традиции, и ему хотелось узнать о ней больше.

Из четверых, поднявших тот фурор, остался только один, нынешний председатель комиссии. Возможно из-за такого снижения ранга, возможно в силу других причин, репутация его среди тех, с кем он разговаривал, была не очень лестной. Никто не высказывался о нем благожелательно, а двое отозвались о нём довольно резко. Декан одного из основных факультетов университета, который назвал его “святым ужасом”, а второй, выпускник философского факультета чикагского университета, сказал, что председатель способен только готовить себе подобных под копирку. Ни один из них по природе не был злонамеренным, и Федр посчитал, что они говорят правду. Это также подтвердилось открытием, которое сделали в деканате факультета. Он хотел поговорить с теми, кто получил степень по тематике комиссии, чтобы выяснить больше о её деятельности, и ему сообщили, что за всю историю комиссии только два человека защитили докторскую диссертацию. Стало очевидно, чтобы найти место под солнцем для реальности Качества, ему придётся воевать с самим председателем комиссии и победить его. Его аристотелевское мировоззрение не давало возможности даже приступить к делу, а из-за своего темперамента он был совершенно нетерпим к идеям оппонентов. Всё вместе это складывалось в довольно мрачную картину.

Тогда он сел и составил на имя председателя Комиссии по анализу идей и исследованию методов чикагского университета письмо, которое можно охарактеризовать только как провокацию к увольнению, в котором автор отказывается незаметно выскользнуть через заднюю дверь, а устраивает такую сцену, что его противники вынуждены будут с треском вышвырнуть его через парадную, придавая таким образом провокации такой вес, какого у неё раньше не было. Позже он встаёт на улице и, убедившись, что дверь наглухо закрыта, грозит ей кулаком, отряхивается и говорит: “Ну что ж, я хоть попробовал”, очищая тем самым свою совесть.

В провокации Федра сообщалось, что его темой по существу теперь была философия, а не стилистика английского языка. Однако, отмечал он, разделение исследования на существенную и методологическую сферы является проявлением аристотелевой дихотомии формы и существа, которое недуалистам ни к чему, ибо они идентичны.

Он сообщал, что не совсем уверен, но диссертация по Качеству вроде бы оборачивается в антиаристотелевскую диссертацию. Если это так, то он выбрал подходящее место для её представления. Крупные университеты действуют в гегелевских традициях, и любая школа, которая не может принять диссертацию, противоречащую своим основополагающим догмам, оказывается в этой колее. Таким образом, утверждал Федр, именно такой диссертации и ждал чикагский университет.

Он соглашался, что его претензии грандиозны и что он практически не может дать суждение о ценности этой работы, так как никто не может быть беспристрастным к самому себе. Но если бы кто-нибудь другой представил диссертацию, претендующую на крупный прорыв в отношениях восточной и западной философии, между религиозной мистикой и научным позитивизмом, то он посчитал бы её крупным историческим достижением. Такая диссертация выдвинула бы университет далеко вперёд. В любом случае, писал он, никто ещё не был принят чикагским университетом до тех пор, пока не отщёл кого-либо в сторону. Настала очередь Аристотеля.

Просто возмутительно.

И не просто провокация к увольнению. Тут ещё сильнее проглядывает мегаломания, потуги на величие, полная неспособность понять, какое впечатление это произведёт на остальных. Он настолько захвачен своим миром метафизики Качества, что не видит ничего, кроме неё, а так как никто больше не понимает этот мир, то его песенка спета.

Думается, в то время он считал, что сказанное им верно, и неважно, возмутительна или нет форма его представления. Она настолько грандиозна, что у него нет времени приукрасить её. Если чикагский

университет интересуется эстетика того, о чем он пишет, а не его рациональное содержание, то тогда он не удовлетворяет фундаментальным целям Университета.

Вот в чём дело. Он действительно так считал. Это была не просто ещё одна интересная идея, которую надо проверить существующими рациональными методами. Это видоизменение самих наличных рациональных методов. Обычно, если представляешь новую идею в академической среде, то должен вроде бы быть объективным и беспристрастным. Но сама идея Качества противоречит такой посылке: объективности и беспристрастности. Это маньеризм, уместный только при дуалистическом мышлении. Дуалистическое великолепие достигается объективностью, а творческое великолепие — нет.

У него была вера, что он разрешил одну из величайших загадок вселенной, разрубил гордиев узел дуалистического мышления одним словом, Качество, и он не собирался позволить кому-либо снова завязать это слово в узел. Обладая такой верой, он не замечал, насколько возмутительно звучит мегаломания его слов. Или же, если и замечал, то не обращал внимания. Пусть это звучит, как мегаломания, а что, если это верно? Если неверно, то кому тогда какое дело? А если всё-таки он прав? Быть правым и бросить всё в угоду предрасположенности своих учителей, вот это было бы чудовищно!

Поэтому он просто не обращал внимания на то, как это воспримут другие. Это было совершенно фанатическое дело. В те дни он жил в одинокой вселенной рассуждений. Никто его не понимал. И чем больше люди показывали ему, что не могут понять его, тем фанатичнее и несимпатичнее он становился.

Его провокация на увольнение получила ожидаемый ответ. Поскольку темой его по существу была философия, ему следует и подавать её на факультет философии, а не в комиссию.

Федр должным образом и проделал это, затем он с семьёй загрузил все свои пожитки в машину с прицепом, попрощался с друзьями и был готов к отъезду. В то время, как он запирает дверь дома, появился почтальон с письмом. Оно было из чикагского университета. В нем сообщалось, что его туда не берут. Ничего больше.

Очевидно, председатель Комиссии по анализу идей и изучению методов повлиял на это решение.

Федр раздобыл у соседей почтовой бумаги и конверт и написал председателю, что раз он уже принят в Комиссию по анализу идей и изучению методов, то ему придётся остаться в ней. Это был весьма

формальный манёвр, но Федр к тому времени выработал в себе некую боевую хитрость. Такая уловка, то, что его так быстро выставили за дверь философии, вроде бы указывала на то, что председатель в силу каких-то там причин не мог выставить его через парадную дверь комиссии, даже имея на руках такое возмутительное письмо, и это вселяло в Федре некоторую уверенность. Никаких боковых лазеек, пожалуйста. Им придётся либо вышвырнуть его через парадную дверь, либо оставить у себя. А может им это не удастся. Вот и хорошо. Он хотел, чтобы эта диссертация не была обязана никому и ничем.

Мы едем по восточному берегу озера Клатмат по трехполосному шоссе, и у нас возникает ощущение, что мы попали в двадцатые годы. Именно тогда строились такие шоссе. На обед мы останавливаемся в придорожном трактире, который также принадлежит той эпохе. Деревянное сооружение, которое давно пора красить, неоновая реклама пива в витрине, гравий и потёки из автомашин на передней площадке.

Внутри, крышка унитаза потрескалась, умывальная раковина вся в жирных пятнах, на обратном пути в свою кабину я ещё раз бросаю взгляд на хозяина, стоящего за стойкой. Лицо двадцатых годов. Безо всяких затей, без особых любезностей и добродушия. Это его замок. Мы его гости. И если нам не нравятся его гамбургеры, то лучше помалкивать.

Когда же их всё-таки подали с огромными луковицами, то они оказались довольно вкусными, а пиво в бутылке было просто отменное. И весь обед обошёлся нам гораздо дешевле, чем пришлось бы заплатить у какой-либо старушки с пластмассовыми цветами на окнах. Пока мы едим, я замечая по карте, что мы свернули не туда, и что к океану мы добрались бы гораздо быстрее другим путём. Теперь стало жарко, липкая жара западного побережья после жары западной пустыни очень удручает. Действительно, мы как бы попали снова на восток, вся местность так похожа, и мне хочется как можно скорее добраться до океана, где так прохладно.

Об этом я думаю, пока мы объезжаем озеро Клатмат по южному берегу. Липкая жара и дух двадцатых годов... Вот такое же чувство было в то лето в Чикаго.

Когда Федр с семьёй прибыл в Чикаго, то поселился неподалеку от университета, и поскольку у него не было стипендии, устроился на полную ставку преподавателем риторики в Иллинойский университет, который тогда находился в центре города рядом с причалом ВМФ, выступавшим далеко в озеро. Там было жарко и душно.

Студенческий состав отличался от того, что был в Монтане. Самые

хорошие студенты были собраны в студгородках Шампейн и Урбана, а ему довелось преподавать серой монотонной массе середняков. Когда их работы обсуждались в классе с точки зрения качества, то их трудно было отличить друг от друга. При других обстоятельствах Федр придумал бы что-нибудь, чтобы исправить положение, но теперь он зарабатывал себе этим на хлеб, и у него не оставалось творческой энергии. Его интересы были устремлены на юг, к другому университету.

Он подал документы на приём, сообщил свою фамилию профессору философии, который вёл регистрацию, и заметил, что на него глянули с некоторым удивлением. Тот ответил, да, конечно, председатель просил зачислить его на курс по идеям и методам, где он сам и преподаёт, и выдал ему программу курса. Федр выяснил, что расписание совпадает с его расписанием по основному месту работы, и поэтому выбрал другой курс, “Идеи и методы, 251, Риторика”. Поскольку риторика была его специальностью, здесь он чувствовал себя немного увереннее. А ведущим преподавателем здесь был не председатель. Им был тот профессор философии, который принял у него документы. Профессор, который вначале смотрел на него с прищуром, теперь широко раскрыл глаза.

Федр занялся преподаванием у причала ВМФ и стал готовиться к собственным занятиям в докторантуре. Теперь ему совершенно необходимо было как следует поучиться, ибо раньше ему не приходилось изучать философию Древней Греции в общем и одного грека-классика в частности: Аристотеля.

Из тысяч студентов Чикагского университета, изучавших древних классиков, вряд ли был кто-либо прилежней его. Основная борьба Программы великих книг университета была направлена против расхожих веяний о том, что классики не имеют никакого отношения к современности или хотя бы реальной важности в современном обществе двадцатого века. Ну и конечно, большинство студентов, занимавшихся на этом курсе, играли с преподавателями в хорошие манеры, и чтобы понять его, соглашались с посылкой, что классики всё-таки говорили нечто осмысленное. Но Федр, который ни в какие игры не играл, не просто воспринимал эту мысль. Он страстно и фанатично верил в неё. Он жутко возненавидел их, и нападал на них с немыслимыми придирками, но не потому, что они стали никчёмными, а как раз наоборот. И чем больше он изучал их, тем больше убеждался в том, что ещё никто не говорил миру, какой вред наносится в результате неосознанного восприятия их мышления.

На южном берегу озера Клатат мы проезжаем мимо пригородных новостроек, затем едем от озера в западном направлении к побережью.

Теперь дорога проходит по лесам из огромных деревьев, которые ничуть не похожи на изголодавшиеся по влаге леса, что мы проезжали раньше. По обе стороны дороги растут громадные ели Дугласа. С мотоцикла их огромные стволы видны на сотни футов вверх, когда мы проезжаем под ними. Крису хочется остановиться и погулять среди них. Мы так и делаем.

Пока он ходит по лесу, я осторожно приваливаюсь спиной к могучему стволу ели, смотрю вверх и стараюсь припомнить...

Подробности того, что он выучил, теперь уже утрачены, но из происшедших позже событий я знаю, что он подобрал в себя огромное количество информации. Он мог сделать это, обладая почти фотографической памятью. Чтобы понять, как он пришёл к проклятию классических греков, надо вкратце рассмотреть аргумент “миф над логосом”, который хорошо известен грековедам и часто вызывает восхищение тех, кто занимается этой темой.

Термин “логос”, от которого происходит “логика”, обозначает сумму всего нашего рационального понимания мира. “Миф” — сумма всех исторических и доисторических преданий, предшествовавших логосу. Мифы включали в себя не только греческие мифы, но также и Ветхий Завет, ведические гимны и ранние легенды всех культур, которые внесли свой вклад в современное понимание мира. Аргумент “миф над логосом” гласит, что наша рациональность сформирована этими легендами, что наше современное знание состоит с этими легендами в таких же отношениях, как и дерево с кустиком, которым оно некогда было. Можно хорошо понять сложную структуру дерева, изучая гораздо более простую форму кустика. Нет никакой разницы в виде или даже в роде, единственная разница состоит в размерах.

Таким образом, в тех культурах, чьё наследие включает в себя древнюю Грецию, прослеживается строгое разграничение субъекта-объекта, ибо грамматика древних греческих мифов предполагала чёткое естественное разделение субъекта и предиката. В таких культурах как китайская, где отношения субъекта-предиката грамматикой жестко не регулируются, обнаруживается соответствующее отсутствие субъектно-объектной философии. Выясняется, что в иудейско-христианской культуре, где ветхозаветное “Слово” имеет собственную исходную сакральность, люди готовы приносить жертвы, жить и умирать ради слов. В этой культуре суд может потребовать у свидетеля говорить “правду, только правду и ничего, кроме правды, и да поможет мне Бог”, и при этом ожидает, что будет сказана правда. Но можно перенести суд в Индию, как это сделали англичане, и настоящего успеха в делах о лжесвидетельстве не вышло, ибо

индийские мифы отличаются от европейских и сакральность слов не ощущается таким же образом. Такие же проблемы возникали и в нашей стране среди национальных меньшинств с различным культурным достоянием. Можно привести массу примеров того, как мифические различия влияют на поведение, и они просто изумительны.

Аргумент миф над логосом указывает на тот факт, что каждый ребёнок рождается таким же невежественным, как и любой пещерный человек. От возврата человечества к неандертальцу при каждом новом поколении его удерживают постоянные, непрерывные мифы, преобразованные в логос, но всё же остающиеся мифами, огромная масса общих знаний, объединяющих наши умы так же, как клетки соединены в теле человека. Чувствовать, что ты не объединён, что можно принимать или отвергать эти мифы по своему усмотрению, — значит не понимать, что такое миф.

Есть только один тип человека, говорил Федр, который принимает или отвергает мифы, в которых он живёт. И определение человека, который отверг мифы, говорил Федр, — это “сумасшедший”. Выйти за пределы мифа — значит стать сумасшедшим...

Боже мой, только сейчас это дошло до меня. Я ведь этого не знал раньше.

А он знал! Он должен был знать, что может случиться. Вот теперь это начинает раскрываться.

Все эти обрывки похожи на кусочки разрезной картинки, их можно собрать в большие группы, но сами группы не стыкуются, как бы вы их не вертели. Затем вдруг находится один кусочек, который подходит к двум разным группам, и обе группы становятся одним целым. Отношение мифа к безумию. Это ключевой элемент. Вряд ли кто-либо говорил об этом раньше. Безумие — это терра инкогнита, окружающая миф. И он знал об этом! Он знал, что Качество, о котором он говорил, находится вне пределов мифа.

Так вот оно где! Потому что Качество — генератор мифа. Вот именно. Именно это он имел в виду, когда говорил: “Качество — непрерывный стимул, побуждающий нас создавать мир, в котором мы живём. Весь мир целиком, до последней капли”. Не человек изобрёл религию. Религия изобрела человека. Люди изобретают реакцию на Качество, и среди этой реакции есть и понимание того, что они сами представляют собой. Вы знаете нечто, затем вдруг возникает импульс Качества, и тогда вы пробуете дать определение этого стимула качества, но чтобы определить его целиком, надо работать с тем, что вы уже знаете. Так что ваше определение состоит из того, что вы уже знаете. Это аналог того, что вам уже известно.

Так оно и должно быть. И не может быть ничем иным. И таким образом вырастает миф. По аналогии с тем, что уже известно прежде. Мифы — это нагромождение аналогии на аналогию и ещё на аналогию. Они заполняют вагоны поезда сознания. Мифы — это целый состав коллективного сознания взаимодействующего человечества. До последней капли. И качество является той колеёй, по которой идёт состав. То, что находится вне поезда по обе стороны, — это терра инкогнита сумасшествия. Он знал, чтобы понять Качество, ему придётся оставить мифы. Вот почему он и почувствовал это скользкое место. Он знал, что что-то такое должно вот-вот случиться.

Вижу, что Крис возвращается между деревьев. У него спокойный и счастливый вид. Он показывает мне кусок коры и спрашивает, можно ли оставить его себе на память. Мне не очень-то нравится перегружать мотоцикл его всевозможными находками, которые он вероятнее всего выбросит по приезде домой, но в этот раз я разрешаю ему это.

Несколько минут спустя дорога выходит на гребень и затем круто спускается вниз в долину, которая становится с каждым метром всё прелестнее. Никогда не думал, что назову долину... прелестной... но вся эта прибрежная местность настолько отличается от горной области Америки, что на ум пришло именно такое слово. Вот тут, чуть южнее, находится местность, где делается всё наше хорошее вино. Холмы как-то по иному скроены и сгруппированы, ну просто прелесть. Дорога кружит и петляет, извивается и спускается, и мы вместе с мотоциклом также плавно плывём вместе с ней, не лишённые собственной грациозности, почти касаясь восковых листьев кустов и нависающих ветвей деревьев. Ели и скалы высокогорья остались позади, и вокруг видны мягкие очертания холмов, виноградной лозы, красных и пурпурных листьев, аромат, смешанный с древесным дымком от расстилающегося по дну долины тумана. А за всем этим, невидимый, слабый запах океана...

... Ну разве можно так сильно любить всё это и быть безумным?...

... Не верю я этому!

Миф. Безумен миф. Вот как он думал. Миф, гласящий, что формы этого мира реальны, а качество мира нереально, вот в чём безумие.

Он считал, что в Аристотеле и древних греках он нашёл тех злодеев, которые сформировали мифы таким образом, что мы стали воспринимать это безумие как реальность.

Вот. Вот оно. Этим всё увязывается вместе. И когда это происходит, наступает облегчение. Иногда бывает так трудно представить себе всё это, наступает какое-то странное утомление. Иногда мне кажется, что я сам всё

это выдумываю. Иногда я не уверен в этом. А иногда знаю, что не выдумываю. Но мифы и безумие, и то что это главное, я уверен, это от него.

Проехав по складкам холмов, мы выезжаем к Медфорду и магистральной дороге, ведущей к Грантс-Пассу. Уже почти вечер. Сильный встречный ветер удерживает нас в потоке транспорта при подъёме в гору даже при полностью открытом газе. Подъезжая к Грантс-Пассу, слышим устрашающий дребезжащий звук, останавливаемся и выясняем, что защитная крышка цепи каким-то образом цепляется за цепь и стала совсем изломанной. Ничего серьезного, но всё-таки это задержит нас на некоторое время, чтобы заменить её. Может быть, глупо менять её сейчас, раз уж решено продать мотоцикл через несколько дней.

Похоже, Грантс-Пасс достаточно большой город, где поутру можно будет найти мастерскую по мотоциклам, так что по прибытии я высматриваю мотель.

Мы не спали в постели с самого Бозмена в Монтане.

Находим мотель с цветным телевизором, бассейном с подогревом, кофеваркой для следующего утра, мылом, чистыми полотенцами, душем, облицованным кафелем и чистыми постелями.

Мы ложимся в чистые постели, Крис некоторое время прыгает на ней. Как мне помнится с детства, попрыгать на постели — очень помогает развеяться.

Ну завтра как-нибудь со всем этим управимся. Только не сейчас. Крис идёт искупаться в подогретый бассейн, а я спокойно лежу на чистой постели и стараюсь ни о чём больше не думать.

За то время, что прошло с Бозмена, мы много раз вынимали вещи из поклажи и запихивали их туда обратно. Теперь всё это скомкано и измято. Когда мы поутру разложили всё на полу, получилась довольно большая куча как у старьевщика. Пластмассовый пакет с чем-то маслянистым порвался, и туалетная бумага пропиталась чем-то пахучим. Одежда настолько скомкана, что складки на ней стали как врождённые. Тюбик с кремом от загара тоже лопнул, и белая паста размазалась по чехлу топорика, а запах от него теперь чувствуется во всём. Потёк и тюбик с жидкостью для улучшения зажигания. Какой беспорядок. Я помечаю в записной книжке: “Купить коробку для тюбиков”, затем добавляю: “Устроить стирку”. Ещё: “Купить ножницы для ногтей, крем от загара, жидкость для зажигания, щиток для цепи, туалетную бумагу.” Всё это надо успеть до того, как выпишемся из мотеля, так что я бужу Крису и велю ему вставать. Надо устроить стирку.

В прачечной самообслуживания я объясняю Крису, как работать с сушилкой, запускаю стиральные машины и ухожу по другим делам.

Я достал всё, кроме щитка для цепи. Продавец сказал, что у них её нет и вряд ли будет. Я уж подумал было ехать дальше без щитка, но ведь цепь будет разбрасывать грязь, да к тому же и опасно. И мне не хочется оставлять её в таком виде. Так что я решил всё-таки как-то поправить дело.

Немного дальше по улице нахожу вывеску сварщика и захожу туда.

Ещё нигде я не видал такой чистенькой сварочной мастерской. Позади неё большие деревья и лужайка с высокой травой, вид как у сельской кузни. Все инструменты аккуратно развешены на стенах, всё кругом аккуратно, но на месте никого нет. Зайду сюда попозже.

Я качу обратно к Крису, проверяю бельё, что он загрузил в сушилку, и весело еду дальше по улицам в поисках ресторана. Везде много машин, большинство из них хорошо ухожены. Западное побережье. Чистый воздух с лёгкой дымкой залитого солнцем городка, где не торгуют углем.

На окраине находим какой-то ресторан, садимся за стол, покрытый красной с белым скатертью и ждем официанта. Крис разворачивает газету “Мотоциклетные новости”, которую я купил в мастерской, и читает вслух о победителях гонок и статью о езде по пересечённой местности. Официантка с некоторым любопытством смотрит на него, затем на меня, на мои дорожные сапожки и записывает заказ. Она уходит на кухню, затем

возвращается и снова смотрит на нас. Она вероятно уделяет нам так много внимания потому, что кроме нас других посетителей нет. Пока мы ждём, она бросает несколько монет в музыкальный автомат, и когда поспевает завтрак: вафли, сироп и сосиски, ах, мы едим его под музыку. Мы с Крисом обсуждаем написанное в газете, говорим под музыку со спокойным видом людей, пробывших вместе в дороге много дней, и краем глаза я замечаю, что за нами следят. Чуть погодя Крису приходится переспрашивать меня о чём-то, так как этот настойчивый взгляд сбивает меня с толку и трудно сосредоточиться на том, что он спрашивает. Музыка на пластинке о водителе грузовика на западе... Я заканчиваю разговор с Крисом.

Пока мы выходим, пока я завожу мотоцикл, она опять стоит в дверях и смотрит на нас. Ей одиноко. Она, возможно, ещё не понимает, что с таким взглядом ей недолго быть одинокой. Я пинаю стартер и слишком резко газую, раздражённый чем-то, и пока мы едем снова к сварщику, раздражение понемногу проходит.

Сварщик на месте, старик лет шестидесяти-семидесяти, он отрешенно смотрит на меня, полная противоположность официантке. Я объясняю ему про щиток для цепи, немного спустя он отвечает мне: “Снимать щиток я вам не буду. Вам придётся сделать это самому”.

Я так и делаю и показываю ему его, а он говорит: “Он у вас весь в масле”.

Под развесистым каштаном я нахожу палочку и соскребаю маслянистую грязь в мусорное ведро. Не подходя ко мне, он говорит: “Вон в той банке есть растворитель.” Я вижу плоскую банку и стираю остатки масла пучком листьев, смоченных растворителем.

Когда я показываю ему щиток, он кивает, медленно идёт к рабочему месту и регулирует пламя газовой горелки. Затем разглядывает сопло и подбирает другое. Никакой спешки. Он подбирает стальной прут, и я удивляюсь, он что, действительно собирается варить такой тонкий лист металла. Я никогда не свариваю листовой металл. Я залуживаю его латунным прутком. Если пытаюсь варить тонкий лист, то обязательно прожгу в нём дырки, которые приходится потом заваривать прутком и получаются большие шишки. “Вы не будете его залуживать? — спрашиваю я.

Нет. — Разговорчивый малый.

Он зажигает горелку, устанавливает маленькое тоненькое голубое пламя и, трудно даже описать, начинает танец горелки и прутка короткими плавными ритмичными движениями по тонкому листу металла. Всё место становится равномерным светящимся оранжево-жёлтым пятном, он

подносит пламя и наполнительный пруток к нужному месту точно в нужный миг и затем отводит их как раз вовремя. Никаких дыр. Шов еле заметен. “Великолепно!” — восклицаю я.

Безо всякой улыбки он произносит: “Один доллар”. Я замечаю какой-то странный вопросительный оттенок в его взгляде. Он что, думает, что запросил слишком много? Нет, что-то другое... то же одиночество, что и у официантки. Может он посчитал, что я насмехаюсь над ним. Кто теперь ценит такую работу?

Мы упаковались и выехали из мотеля почти в расчётный час, вскоре оказались в приморском лесу, пересекли границу Орегона и въехали в Калифорнию. На дороге так много машин, что зевать не приходится. Всё вокруг стало серым, похолодало, мы останавливаемся, надеваем свитера и куртки. Но по-прежнему холодно, градусов около десяти, и мысли наплывают зимние.

Одиноко живётся людям в том городке. Я заметил это в большом магазине, в прачечной самообслуживания и когда мы выписывались из мотеля. Дачные прицепы среди леса, в которых много пенсионеров. Они разглядывают красноватый лес по пути к океану. Это замечаешь при первом же мимолётном взгляде на новое лицо, такой настороженный взгляд, затем он пропадает.

Мы ещё больше замечаем это одиночество теперь. Как это ни парадоксально, в самых густонаселённых местах, в больших приморских городах на западе и востоке, одиночество проявляется больше всего. Казалось бы, что в тех местах, где народу живёт немного, в западном Орегоне, Айдахо, Монтане и Дакотах, одиночество должно быть острее, но мы там этого не замечали.

Полагаю, объяснение состоит в том, что физические расстояния между людьми не имеют ничего общего с одиночеством. Всё дело в психической удалённости, в Монтане и Айдахо физические расстояния велики, а психическая удалённость людей невелика, а здесь всё наоборот.

Мы сейчас в первичной Америке. Это случилось позапрошлой ночью у развилки на Прайнвилл, и с тех пор это ощущение не покидает нас. Это первичная Америка с автомобильными магистралями, реактивными самолётами, грандиозными представлениями в кино и на ТВ. И люди, очутившиеся в этой первичной Америке, как бы живут большую часть своей жизни не очень-то сознавая, что происходит непосредственно вокруг них. Средства массовой информации убедили их в том, что происходящее вокруг них — неважно. Вот почему они одиноки. Это видно по их лицам. Вначале слабый проблеск поиска, а затем, когда уже смотрят на вас, вы

просто в некотором роде объект. Вы не в счёт. Вы — не то, чего они ищут. Вы не из телевизора.

А во вторичной Америке, что мы проезжали, на просёлочных дорогах, где китайские рвы и лошади аппалоза, где раскинулись горные хребты, наводящие на размышления, где живут дети с сосновыми шишками и шмелями, где небо раскинулось над нами на многие, многие мили вокруг, там преобладает то, что пронизывает всё, то, что реально, то, что окружает нас. Поэтому там и не было так одиноко. И так оно было лет сто, а то и двести лет тому назад. Было мало людей, и почти не было одиночества. Я тут, конечно, делаю слишком широкие обобщения, но при определённых оговорках всё будет верно.

В значительной степени в вину одиночеству ставят технику, ибо техника конечно ассоциируется с новейшими её достижениями, ТВ, ракетами, автомагистралями и т. д. Но надеюсь, что уже достаточно ясно дано понять, что настоящее зло не в объектах техники, а в тенденции техники изолировать людей, создавать в них чувство одиночества от объективности. Зло создаёт объективность, дуалистическое мировоззрение, лежащее в основе понимания техники. Поэтому я потратил столько сил, чтобы показать, как можно воспользоваться техникой, чтобы разрушить это зло. Человек, который умеет качественно ремонтировать мотоциклы, вряд ли останется без друзей, в отличие от того, кто этого не умеет. И на него уже больше не будут смотреть как на какой-то предмет. Качество постоянно разрушает объективность.

Или если он возьмётся за какую бы то ни было скучную работу, коль уж придётся, а рано или поздно все они становятся такими, и когда просто ради удовольствия начнёт выискивать возможности Качества, и втайне будет продолжать так работать, просто ради самой работы, тем самым превратив то, что делает в искусство, вполне возможно он обнаружит, что стал гораздо более интересным человеком и меньше просто предметом для окружающих его людей, ибо решения по качеству изменили его самого. Не только его работу и его самого, но и других, ибо у качества есть свойство расходиться волнами. Качественная работа, которую он и не думал, что заметят, в действительности обращает на себя внимание, и тот, кто замечает это, чувствует себя при этом лучше, такое чувство передаётся другим, и таким образом Качество набирает вес.

Я лично считаю, что именно так можно добиться дальнейшего улучшения мира: каждый в отдельности будет принимать качественные решения, и больше ничего. Боже мой, не надо больше энтузиазма громадных программ, наполненных социальным планированием для

больших масс народа, которые упускают индивидуальное качество. Их можно на время оставить в покое. Для них тоже есть место, но их надо строить на основе качества отдельных индивидов. В прошлом у нас было это индивидуальное качество, которое мы сами того не зная эксплуатировали как природное богатство, и теперь оно почти исчерпано. Почти у всех иссякло вдохновение. Думаю, что пора вернуться к восстановлению этого ресурса Америки — индивидуальной ценности. Некоторые политические реакционеры говорили что-то в этом роде многие годы. Я не из их числа, но в той мере, что они говорят об индивидуальной ценности и не используют её лишь как уловку для дальнейшего обогащения богатых, они правы. Нам действительно надо вернуться к индивидуальной целостности, опоре на свои собственные силы и старомодному вдохновению. Это уж точно. Надеюсь, что в данной шатокуа указаны к этому некоторые направления.

От идеи индивидуальных, персональных качественных решений Фред пошёл другим путём. Мне кажется, что это неверный путь, но возможно, окажись я на его месте, тоже пошёл бы по нему. Он чувствовал, что решение исходит из новой философии, он даже рассматривал это шире, как новую духовную рациональность, при которой уродство и одиночество, духовная серость дуалистического технического мышления станут нелогичными. Разум не будет больше “свободен от ценности”. Логически разум должен подчиняться Качеству, и он был уверен, что найдёт причину того, что оно не было в загоне у древних греков, чьи мифы оставили в наследство нашей культуре тенденцию, лежащую в основе всего зла нашей техники, тенденцию делать то, что «разумно», даже если в этом нет ничего хорошего. В этом корень всего вопроса. Вот тут. Я давно уже говорил, что он гоняется за призраком разума. Вот это я и имел в виду. Разум и качество оказались разделёнными и противопоставленными друг другу, и уже тогда качество оказалось внизу, а разум стал преобладать.

Начал накрапывать дождь. Но не настолько сильно, чтобы стоило останавливаться. Просто потихоньку стало моросить. Дорога выходит из высоких лесов на простор серых небес. Вдоль дороги много рекламных щитов. Везде и всюду видны теплые краски причёски Шенли, и складывается впечатление, что перманент у Ирмы выглядит несколько усталым и посредственным, ибо на её афишах краска потрескалась.

Я снова перечитал Аристотеля, выискивая там массу зла, которое проявляется в воспоминаниях Федра, но не нашёл. Я нашёл у него только довольно скучную коллекцию обобщений, многие из которых невозможно обосновать в свете современных знаний, организация которых

представляется чрезвычайно неудачной, она кажется примитивной, так же как и древнегреческая керамика в музеях выглядит примитивной. Уверен, что если бы я знал об этом больше, то понял бы всё гораздо лучше, и оно вовсе не казалось бы мне таким примитивным. Но не зная всего этого, не могу считать, что оно соответствует запросам программы Великих книг или заслуживает гнева Федра. Я конечно же, не считаю работы Аристотеля основным источником как положительных, так и отрицательных ценностей. Но дифирамбы группы великих книг хорошо известны, они опубликованы. А гнев Федра никому не известен, и я чувствую себя обязанным остановиться на нём. Аристотель начинал так: "Риторика — искусство, ибо его можно свести к рациональной системе порядка".

Это просто приводило Федра в ярость. Он оказался в тупике. Он был готов расшифровать исключительно тонкие по смыслу сообщения, чрезвычайно сложные системы, чтобы глубже понять внутренний смысл Аристотеля, о котором многие говорят, что он величайший философ всех времён. И вдруг получить удар по лицу наотмашь таким идиотским утверждением! Это его просто потрясло.

Он стал читать дальше:

Риторику можно подразделить на частные доказательства и темы с одной стороны и общие доказательства с другой. Частные доказательства можно подразделить на методы доказательств и виды доказательств. Методы доказательств бывают искусственными и безыскусными. Среди искусственных доказательств бывают этические, эмоциональные и логические свидетельства. В число этических входят практическая мудрость, добродетель и добрая воля. Частные методы, использующие искусственные доказательства этического плана при доброй воле требуют знания эмоций, а для тех, кто забыл, что это такое, Аристотель составил их список. Это гнев, пренебрежение (подразделяющееся на презрение, вызов и высокомерие), мягкость, любовь или дружба, страх, уверенность, стыд, бесстыдство, снисходительность, благосклонность, жалость, благородное негодование, зависть, соревновательность и презрение.

Помните описание мотоцикла, которое давалось ещё в Южной Дакоте? То, где скрупулёзно перечислялись все части и функции мотоцикла? Федр был убеждён, что именно отсюда происходит такой стиль рассуждений. Аристотель это делает страница за страницей. Подобно третьеразрядному инструктору в технике он перечисляет всё, показывает взаимосвязь перечисленных вещей, ловко устанавливая новые случайные отношения среди них, а затем дожидается звонка с тем, чтобы повторить всё это следующему классу.

Федр не усмотрел между строк никаких сомнений, никакого ощущения ужаса, только извечное самодовольство профессионального академика. Действительно ли Аристотель считал, что его студенты станут лучшими риториками, если выучат все эти бесконечные названия и взаимосвязи? А если нет, то считал ли он в самом деле, что преподаёт риторiku? Федр полагал, что он так и считал. В его манере не было ничего такого, что указывало бы на то, что Аристотель может сомневаться в Аристотеле. Федр понял, что Аристотеля совершенно удовлетворяет такая уловка, как обозначение и классификация всего и вся. Его мир начинается с этой уловки и ею кончается. Если бы Аристотель не умер более двух тысяч лет тому назад, он с удовольствием стер бы его в порошок, ибо он видел в нём прототип многих миллионов самодовольных, но по настоящему невежественных учителей в истории человечества, которые небрежно и ловко убивали в своих студентах творческий дух посредством этого тупого ритуала анализа, этого слепого, бездумного, вечного перечисления вещей. Зайдите сегодня в любую из сотен тысяч аудиторий и послушайте, как учителя разделяют, подразделяют, взаимосвязывают и устанавливают “принципы” и исследуют “методы”, и вы услышите призрак Аристотеля, вещающего сквозь века, расчленяющий безжизненный голос дуалистического мышления.

Занятия по Аристотелю проходили за огромным круглым столом в мрачной аудитории через дорогу от больницы. К вечеру солнце едва выглядывало из-за крыши больницы, с трудом проникало сквозь грязные окна аудитории и высвечивало пыльный воздух за окном. Тускло, бледно и тоскливо. К середине урока он заметил большую трещину прямо посередине огромного стола. Похоже она была там уже многие годы, но никто и не подумал, чтобы починить стол. Все, несомненно, слишком заняты более важными вещами. В конце урока он всё-таки спросил: “Можно ли задавать вопросы по риторике Аристотеля?”

— Если вы прочли материал, — ответили ему. Он заметил во взгляде профессора философии ту же напряжённость, которая была у него в первый день при регистрации. Он воспринял это как предупреждение, что ему надо очень тщательно подготовиться. Он так и поступил.

Дождь усилился и мы останавливаемся, чтобы надеть защитные щитки на шлемы. Затем продолжаем путь с умеренной скоростью. Я смотрю, как бы не попасть в ухабы, на участки с песком и масляные пятна.

На следующей неделе Федр прочитал весь нужный материал и был готов разгромить утверждение, что риторика является искусством, ибо её можно свести к рациональной системе порядка. По данному критерию

продукция фирмы “Дженерал Моторз” представляет собой чистое искусство, а работы Пикассо таковыми не являются. Если Аристотель подразумевает нечто большее, чем видно на первый взгляд, то здесь было бы уместно прояснить эту мысль.

Но вопрос так и не удалось задать. Федр поднял было руку, уловил мгновенную ярость во взгляде профессора, но тут другой студент, почти перебив его, сказал: “Мне кажется, что тут есть ряд весьма сомнительных утверждений”.

И вот что он получил в ответ.

— Сэр, мы собрались здесь не для того, чтобы узнать, что вы думаете по этому поводу, — прошипел профессор философии. Очень ядовито. — Мы пришли сюда, чтобы выяснить, что думает об этом Аристотель! — Прямо в лицо. — Когда нам понадобится выяснить ваше мнение, мы назначим специальный курс на эту тему!

Молчание. Студент просто ошарашен. Все остальные тоже.

Но профессор на этом не успокоился. Он указывает пальцем на студента и вопрошает: “По Аристотелю, каковы три вида частной риторики в соответствии с изучаемой темой?”

Снова тишина. Студент не знает этого. — Так вы не читали материала, не так ли?

Затем с блеском в глазах, свидетельствующим, что он давно ждал этого, профессор снова поднимает палец и указывает на Федра.

— Вы, сэр, каковы три вида частной риторики в соответствии с изучаемым предметом?

Но Федр уже подготовлен. — Судебная, совещательная и эпидиктическая, — спокойно отвечает он.

— Каковы эпидиктические приёмы?

— Приём выявления подобия, приём восхваления, панегирика и усиления.

— Да-а-а-с... — медленно произносит профессор философии.

Затем наступает всеобщая тишина.

Остальные студенты в смятении. Что же такое произошло? Это известно только Федру, и возможно, профессору философии. Несчастному студенту достался удар, предназначавшийся Федру.

Теперь все лица насторожены, все приготовились к новым вопросам такого рода. Профессор сделал ошибку. Он очень сурово обошёлся с невинным студентом, а Федр, виновник всего этого, бросивший ему вызов, всё ещё на свободе. И становится всё смелей и смелей. Поскольку раньше он не задавал вопросов, теперь его уже никак нельзя срезать. Отныне,

поняв, как будут отвечать на вопросы, он конечно же, не будет задавать их.

Несчастный студент устался в стол, лицо у него красное, он закрывает руками глаза. Его стыд вызывает у Федре гнев. За всю свою преподавательскую работу он никогда так не обращался со студентами. Так вот как преподают классику в чикагском университете! Теперь Федр понял профессора философии. Но профессор ещё не знает Федре.

Уставленная рекламными щитами дорога спускается к городу Кресент-Сити, штат Калифорния, под блёклыми дождливыми небесами сам город выглядит серым, холодным и мокрым. Мы с Крисом видим воду, океан позади пирсов и серых строений, и я вспоминаю, что вот к этой великой цели мы и стремились все эти дни. Мы заходим в ресторан с шикарным красным ковром на полу и шикарным меню с чрезвычайно высокими ценами. Кроме нас тут больше никого нет. Мы молча едим, расплачиваемся и снова выезжаем на дорогу, ведущую на юг. Холодно и туманно.

На следующие занятия посрамлённый студент больше не является. Ничего удивительного. Класс просто оцепенел, что неизбежно, когда происходят такие случаи. На каждом занятии всю беседу ведёт только один человек, профессор философии, он говорит, и говорит, и говорит, а лица студентов превратились в совершенно бесстрастные маски.

Профессор вроде бы сознаёт, что же произошло. Злоба в его взгляде на Федре теперь перешла в испуг. Он кажется понимает, что при сложившейся в классе обстановке с ним в своё время могут поступить так же, и он не встретит сочувствия ни у кого из присутствующих. Он уже отбросил своё право на любезность. Теперь возмездия больше не избежать, надо только как следует защищаться.

Но чтобы правильно защищаться, надо усердно работать и говорить всё исключительно точно. Федр тоже понимает это. Храня молчание, он теперь может учиться при очень выгодных условиях.

В то время Федр очень усердно занимался, он моментально всё усваивал, но помалкивал, и было бы неверно считать его хорошим студентом. Хороший студент стремится к знаниям честно и беспристрастно. Но только не Федр. Ему нужно было наточить топор, он стремился только к тому, что могло помочь ему точить его. Он крушил всё, что мешало ему наточить топор. У него не было ни времени, ни интереса читать Великие книги других людей. Он здесь для того, чтобы написать свою собственную Великую книгу. Он исключительно нетерпимо относился к Аристотелю именно потому, что тот был несправедлив к его предшественникам. Они испоганили всё, что он хотел сказать.

Аристотель испоганил то, что хотел сказать Федр, поместив риторику

на безобразно низкое место в иерархическом порядке вещей. Он считал её ветвью Практической науки, которая была как бы на побегушках у другой категории, Теоретической науки, которой Аристотель и занимался главным образом. Как ветвь Практической науки, она оказалась изолированной от Истины, Добра и Красоты, которые лишь служили инструментом для ведения споров. Таким образом, Качество в системе Аристотеля полностью отделено от риторики. Такое пренебрежение риторикой вкупе с собственно Аристотелевым безобразным качеством риторики, настолько возмущало Федра, что он не мог больше читать его труды без того, чтобы не изыскивать способов нападок на них и выражения презрения к ним.

Но проблема состояла не только в этом. В течение всей истории Аристотель постоянно подвергался нападкам, и осмеяние наиболее абсурдных мест в его работах, как и ловля рыбы в бочке с водой, не давало настоящего удовлетворения. Не будь Федр так пристрастен, он возможно, познал бы кое-что в ценной технологии Аристотеля вовлечения себя в новые отрасли знания, для каковой цели по сути дела и была создана эта комиссия. Но не будь он так пристрастен в поисках места запуска своей работы по Качеству, его вообще бы здесь не было, так что шансов на успех у него практически не было.

Профессор философии читал лекции, а Федр обращал внимание как на классическую форму, так и романтическую поверхность того, что говорилось. Особенно неуютно чувствовал себя профессор по теме “диалектика”. Хотя Федр и не мог постичь, почему это так происходит в плане классической формы, его всё возрастающее романтическое чутьё подсказывало ему, что он попал на какой-то след, добычу.

Диалектика, а?

Книга Аристотеля начиналась с неё самым таинственным образом. Там говорилось, что риторика стоит в одном ряду с диалектикой, как будто бы это исключительно важно, однако не давалось никакого объяснения этой важности. За этим следовал ряд других разрозненных сообщений, от которых оставалось впечатление, что многое там пропущено, либо материал собран воедино неправильно, либо печатник что-то выпустил, ибо сколько бы он ни читал материал, ничего у него не вырисовывалось. Было ясно только одно, Аристотеля очень занимало взаимоотношение риторики и диалектики. На взгляд Федре здесь чувствовалась та же неловкость, которая была и у профессора философии.

Профессор дал определение диалектики, Федр внимательно слушал его, но всё влетало в одно ухо и вылетало в другое, что весьма характерно для философских утверждений, когда в них что-либо пропущено. В другом

классе один из студентов, у которого вроде бы были такие же трудности, попросил профессора ещё раз дать определение диалектики, и профессор при этом снова глянул на Федре испуганным взглядом и как-то занервничал. Федр стал задумываться, а нет ли у “диалектики” какого-либо особого смысла, делающего его ключевым словом, которым можно изменить весь ход спора в зависимости от того, как его разместить. Так оно и есть.

В общем плане диалектика означает “в природе диалога”, то есть беседу двух людей. Сейчас это значит логическая аргументация. Она включает в себя технику перекрёстного вопроса, при которой постигается истина. Это способ рассуждений Сократа в “Диалогах” Платона. Платон считал, что диалектика — единственный способ постижения истины. Ничего другого нет.

Вот почему оно является решающим словом. Аристотель критиковал этот подход, утверждая, что диалектика пригодна только для каких-то определённых целей, для выявления убеждений людей, для выяснения истины о вечных формах вещей, известных как Идеи, которые по Платону фиксированы и неизменны и поэтому представляют собой реальность. Аристотель говорил, что есть также научный метод или “физический” метод, при котором наблюдают физические факты и выявляют истину о сущности, которая претерпевает изменения. Центральными в философии Аристотеля были двойственность формы и сущности и научный метод выявления фактов сущности. Поэтому развенчание диалектики в понимании Сократа и Платона было исключительно необходимо для Аристотеля, и посему “диалектика” была и остаётся ключевым словом.

Федр догадывался, что принижение Аристотелем диалектики, от платоновского единственного метода постижения истины до “постановки её в один ряд с риторикой”, должно быть так же нетерпимо для современных последователей Платона, как это было для самого Платона. Поскольку профессор философии не знал, какую “позицию” занимает Федр, это и вызывало у него раздражение. Он мог бы опасаться, что платонист Федр нападёт на него здесь. Если так, то ему совершенно не о чем было беспокоиться. Федре вовсе не оскорбляло то, что диалектику низводят до уровня риторики. Его возмущало то, что риторику низводят до уровня диалектики. Вот такое недоразумение было в то время.

И тем, кто должен был прояснить всё это, был, несомненно, Платон. К счастью, он был следующим участником круглого стола с трещиной посередине в тусклой сумрачной комнате через дорогу от здания больницы в южной части города Чикаго.

Теперь мы едем по холодному, мокрому и тоскливому побережью. Дождь временно перестал, но на небе не видать проблесков надежды. В одном месте я замечаю пляж и каких-то людей, гуляющих там по мокрому песку. Я устал и поэтому останавливаюсь.

Крис, слезая, интересуется: “И зачем это мы остановились?”

— Устал, — отвечаю. С океана дует холодный ветер, в одном месте, где образовались дюны, мокрые и холодные от только что кончившегося дождя, я нахожу, где можно полежать, и при этом немного согреваюсь.

Однако я не сплю. На гребне дюны появляется девчушка с таким видом, как будто ей хочется поиграть со мной. Некоторое время спустя она уходит.

Немного погода возвращается Крис и хочет ехать дальше. Он говорит, что нашёл на камнях какие-то забавные растения со щупальцами, которые втягиваются, когда трогаешь их. Я иду с ним туда и между накатами волн на камни вижу морские анемоны, которые являются не растениями а животными. Я говорю ему, что щупальца могут парализовать мелкую рыбу. Говорю, что сейчас отлив, иначе он не увидел бы их. Краем глаза замечаю, что та девчушка на другой стороне камней нашла морскую звезду. Её родители тоже несут несколько морских звёзд.

Мы садимся на мотоцикл и двигаем на юг. Иногда дождь усиливается, и я пристёгиваю щиток к шлему, чтобы он не хлестал мне в лицо, но в нём мне неудобно, и как только дождь стихает, я снова снимаю его. До наступления темноты нам надо добраться до Аркаты, и мне не хочется ехать слишком быстро по такой мокрой дороге.

Кажется, Кольридж говорил, что каждый из нас либо последователь Платона, либо Аристотеля. Те, кто терпеть не могут бесконечную конкретизацию деталей, естественно склоняются к возвышенным обобщениям Платона. Тем, кому не по нутру парящий идеализм Платона, приветствуют приземлённые факты Аристотеля. Платон по существу склоняется к Будде, который вновь и вновь появляется в каждом поколении, устремляясь вперёд и выше к “единственному”. Аристотель же извечный механик по мотоциклам, предпочитающий “множество”. В этом смысле я сам в значительной мере приверженец Аристотеля и предпочитаю находить Будду в качестве фактов вокруг меня, но Федр был явно платонист по темпераменту, и ему стало гораздо уютнее, когда в классе перешли к изучению Платона. Его Качество и Благо Платона настолько схожи, что если бы не записи, оставшиеся от Федра, можно было подумать, что они идентичны. Но он отрицал это, и со временем я стал понимать, насколько важным было это отрицание.

Однако, Курс анализа идей и исследования методов не интересовало платоновское понятие Блага, его интересовало платоновское понимание риторики. Платон очень ясно даёт понять, что риторика не имеет никакого отношения к Благу, риторика — это “Зло”. После тиранов Платон больше всего ненавидит риториков.

Первой работой из платоновских “Диалогов” по плану была “Горгий”, и у Федра появилось ощущение, что он добрался. По крайней мере, он хочет, чтобы это было так.

У него всё время было ощущение, что его несут вперёд непонятные силы, мессианские силы. Наступил и прошёл октябрь. Дни стали какими-то нереальными и несвязными, кроме как в плане Качества. Ничто больше в мире не имеет значения, кроме того, что у него вот-вот родится новая, потрясающая, переворачивающая весь мир правда, и хотите вы того или нет, но мир морально обязан принять её.

В этом диалоге, Сократ прекрасно знает, чем и как Горгий зарабатывает себе на жизнь, а Горгием звали одного из софистов, которого он допрашивает, но начинает он свою диалектику Двадцати вопросов, спрашивая, какой риторикой тот интересуется. Горгий отвечает, что его интересуют рассуждения. В ответ на другой вопрос, он говорит, что конечная цель его рассуждений в том, чтобы убедить. Отвечая ещё на один вопрос, он говорит, что уместны они в судебных органах и других собраниях. И в ответ ещё на один вопрос он сообщает, что предметом рассуждений являются справедливость и несправедливость. Всё это, представлявшее собой простое описание Горгием того, чем были склонны заниматься софисты, теперь искусно поданное в сократовской диалектике, становится чем-то иным. Риторика стала объектом, а объект состоит из частей. А эти части соотносятся друг с другом, и отношения эти непреложны. В этом диалоге ясно показано, как аналитический скальпель Сократа рассекает искусство Горгия на куски. И что ещё более важно, видно, что эти куски представляют собой основу аристотелева искусства риторики.

Сократ с самого детства Федра был одним из его героев, и этот диалог его потряс и рассердил. Он исписал все поля текста своими собственными ответами. Это должно быть сильно расстроило его, ибо никак нельзя узнать, как бы пошёл тогда диалог, если бы были даны такие ответы. В одном месте Сократ спрашивает, к какому классу вещей относятся те слова, которыми пользуется риторика. Горгий отвечает: “К величайшим и лучшим”. Федр, несомненно, распознав качество в этом ответе, написал на полях “Верно!” Но Сократ отвечает, что такой ответ сомнителен. Он всё

ещё в потёмках. “Враки!”, - пишет Федр на полях, и даёт ссылку на страницу, где ясно видно, что он не мог быть “в потёмках”.

Сократ не пользуется диалектикой, чтобы понять риторику, он использует её, чтобы разрушить, или хотя бы оспорить её. Поэтому его вопросы — совсем не настоящие вопросы, а просто словесные ловушки, в которые попадают Горгий и его друзья риторики. Федре это просто бесит, жаль, что его там не было.

На уроках же профессор философии, обратив внимание на очевидно хорошее поведение и прилежание Федре, посчитал, что он пожалуй не такой уж плохой студент. И это была вторая ошибка. Он решил поиграть с Федром и спросил того, что он думает о кулинарии. Сократ продемонстрировал Горгию, что и риторика, и кулинария — ветви угодливости, изнеженности, ибо обе они вызывают к эмоциям, а не к подлинному знанию.

В ответ на вопрос профессора Федр даёт сократовский ответ, что кулинария — ветвь угодливости.

В классе раздался женский смешок, и это рассердило Федре, так как он знает, что профессор хочет взять его в диалектические тиски, подобные тем, что были у Сократа для его оппонентов, и его ответ вовсе не был рассчитан на то, чтобы рассмешить кого-то, а просто отбросить те диалектические тиски, в которые профессор хотел зажать его. И Федр вполне готов детально процитировать именно те аргументы, которые использует Сократ для обоснования этой точки зрения.

Но профессору хочется не этого. Ему хочется организовать в классе диалектическую дискуссию, в которой Федр был бы риториком, и который был бы повержен силой диалектики. Профессор хмурится и пробует снова. “Нет, я хочу узнать, действительно ли вы считаете, что следует отказываться от хорошо приготовленного блюда, поданного в отличном ресторане.”

Федр спрашивает: “Вы имеете в виду моё личное мнение?”

Вот уже несколько месяцев, с тех пор, как исчез тот несчастный студент, никаких личных мнений в классе не высказывалось.

— Ага-а-а, — отвечает профессор.

Федр молчит и пытается сформулировать ответ. Все ждут. Его мысли мелькают с быстротой молнии, провеивая диалектику, разыгрывая в аргументах одно шахматное начало за другим, он выясняет, что в любом из них он проигрывает, и всё быстрее переходит к следующему, а весь класс напряжённо ждёт. Наконец, разочаровавшись, профессор отступает и продолжает лекцию.

Но Федр не слышит лекции. Его мысли устремляются всё дальше и дальше сквозь дебри диалектики, дальше и дальше, наталкиваясь на препятствия, находя всё новые ответвления и разветвления, с гневом взрываясь при каждом новом открытии злобности, порочности и низости этого “искусства”, называемого диалектикой. Профессор, заметив его выражение, тревожится и продолжает лекцию в спешке, как бы паникуя. Мысли Федра уносятся всё дальше вперёд, ещё дальше, и наконец он замечает нечто дурное, зло, укоренившееся глубоко в нём самом, которое делает вид, что пытается понять любовь, красоту, истину и мудрость, но настоящая цель его вовсе не состоит в том, чтобы понять их, его истинная цель всегда в том, чтобы узурпировать их и воцариться на троне самому. Диалектика — узурпатор. Вот это он понял. Высочка, попирающая всё, что есть Хорошего, стремящаяся ограничить его и подчинить себе. Зло. Профессор раньше времени заканчивает лекцию и поспешно уходит из аудитории.

После того, как студенты молча вышли из комнаты, Федр остается один, он молча сидит за громадным круглым столом до тех пор, пока солнце за пыльным окном не исчезает совсем, и в комнате всё становится серым, а затем темным.

На следующий день он приходит в библиотеку ещё до открытия и сразу же начинает яростно читать, впервые отложив Платона в сторону, всё то небольшое, что известно о риториках, которых он так презирал. И то, что он обнаружил, начинает подтверждать то, о чём он уже интуитивно догадывался раздумывая накануне.

Многие учёные ещё раньше с большими сомнениями относились к осуждению Платоном софистов.

Сам председатель комиссии высказался в том плане, что те критики, которые не совсем уверены в том, что имел в виду Платон, должны с равным сомнением относиться к тому, что имели в виду его соперники по диалогам. Раз уж известно, что Платон вложил свои слова в рот Сократу (об этом свидетельствует Аристотель), то почему бы тогда не предположить, что он это делал и с другими.

Отрывки из работ других древних учёных вроде бы вели к иным оценкам софистов. Многие из старших софистов были выбраны “послами” своих городов, что весьма почётно. Название Софист употреблялось даже в отношении самих Сократа и Платона безо всякого уничижительного смысла. Кое-кто из более поздних историков предположил, что Платон потому так ненавидел софистов, что они не шли ни в какое сравнение с его учителем, Сократом, который фактически был величайшим из всех

софистов. Последнее объяснение, думает Федр, довольно интересно, но неудовлетворительно. Нельзя ненавидеть школу, членом которой был твой учитель. Какова же была истинная цель Платона при этом? Федр читает всё больше и больше трудов досократовских греческих мыслителей и в конце концов приходит к выводу, что ненависть Платона к риторикам — часть ещё более крупной битвы, где реальность Блага, представляемого софистами, и реальность Правды, представляемой диалектиками, находятся в жестокой схватке за будущий разум человека. Правда победила, Благо проиграло, вот почему сегодня мы с такой лёгкостью воспринимаем реальность правды, и с таким трудом воспринимаем реальность Качества, хотя ни в одной из этих областей нет полного согласия до сих пор.

Чтобы понять, как Федр пришёл к этому, требуются кое-какие разъяснения.

Прежде всего следует отрешиться от мысли, что период времени от последнего пещерного человека до первого из греческих философов был краток. К такому заблуждению иногда приводит отсутствие каких-либо исторических сведений об этом периоде. Но прежде чем на сцене появились греческие философы, был период в пять раз больший всей нашей письменной истории со времен греческих философов, когда существовали цивилизации в довольно развитой стадии. У них были города и сёла, транспортные средства, дома, базары, огороженные поля, земледельческие орудия и домашние животные. Люди жили ничуть не менее богатой и разнообразной жизнью, чем в большей части сельской местности современного мира. Как и люди в этих регионах в настоящее время они не видели смысла в том, чтобы описывать всё это, а если и занимались этим, то таких материалов не сохранились. Поэтому мы о них ничего не знаем. “Мрачное средневековье” было возобновлением естественного хода жизни, который лишь на мгновение был прерван греками.

Ранняя греческая философия представляла собой первую сознательную попытку поиска того, что есть нетленного в делах людей. До того всё нетленное было в сфере богов, сфере мифов. А теперь в результате всё возрастающей беспристрастности греков к окружающему миру, выросла и степень абстракции, которая дала им возможность рассматривать старые греческие мифы не как откровения, а как воображаемые творения искусства. Такое осознание, которого в мире раньше никогда не бывало, выявило совершенно новый уровень преобразования в греческой цивилизации.

Но мифы сохраняются, то, что разрушает старый миф, становится

новым мифом, и новые мифы при первых ионических философах превратились в философию, которая по-новому воплотила в себе постоянство. Постоянство перестало быть исключительной прерогативой Бессмертных Богов. Его можно также обнаружить среди Бессмертных Принципов, одним из которых стал наш современный закон тяготения.

Вначале Бессмертный принцип был назван Фалесом водой. Анаксимен называл его воздухом. Пифагорейцы называли его числом, и были первыми, кто рассматривал Бессмертный принцип как нечто нематериальное. Гераклит называл его огнём и ввёл понятие изменчивости как части Принципа. Он говорил, что мир существует как противоречие и борьба противоположностей. Он говорил, что существует Единство и существует Множество, и Единство — это универсальный закон, присущий всему. Анаксагор первым определил Единство как *nous*, что означает “разум”.

Парменид впервые уяснил, что Бессмертный принцип, Единство, Истина, Бог отделены от видимости и от суждения, и важность такого отделения для последующей истории нельзя переоценить. Вот тут впервые классический разум распрощался с романтическими истоками и провозгласил: “Благо и Истина не обязательно одно и то же”. И пошёл дальше своим путём. У Анаксагора и Парменида был слушатель по имени Сократ, который полностью развил их идеи.

В данном случае необходимо понять, что до сих пор не было таких категорий как дух и материя, субъект и объект, форма и сущность. Такое подразделение всего лишь изобретение диалектики, которое появилось позже. Современный разум иногда просто не может себе представить, что такие дихотомии изобретены и говорит: “Ну так такое разделение существовало, раз уж греки открыли его”, а вы вынуждены спросить: “Где оно было? Укажите!” И современный разум оказывается в смятении, что бы всё это значило, и по-прежнему полагает, что разделение всё-таки было.

Но как утверждал Федр, его не было. Это просто призраки, бессмертные боги современных мифов, которые представляются нам реальными, ибо мы сами находимся в этом мифе. А в действительности они такое же художественное творение, как и антропоморфические боги, которых они заменили собой.

Все упомянутые до сих пор досократовские философы стремились выявить универсальный Бессмертный принцип во внешнем мире, который был вокруг них. Их общие усилия объединили их в группу, которую можно назвать Космологами. Все они сходились в том, что такой принцип существует, но не могли преодолеть разногласий в том, что же он из себя

представляет. Последователи Гераклита настаивали, что Бессмертный принцип — это изменение и движение. А ученик Парменида, Зенон, доказал целым рядом парадоксов, что любое восприятие движения и изменений иллюзорно. Действительность должна быть неподвижной.

Разрешение споров Космологов проявилось в совершенно новом направлении со стороны группы, которую Федр посчитал ранними гуманистами. Они были учителями, но стремились преподавать не принципы, а верования людей. Их целью была не единая абсолютная истина, а усовершенствование человека. Они говорили, что все принципы, все истины — относительны. “Человек — мера всего”. Они-то и были знаменитыми учителями “мудрости”, софисты древней Греции.

Для Федра такое новое освещение конфликта между софистами и космологами ставит “Диалоги” Платона в совершенно другую плоскость. Сократ вовсе не исповедует благородные идеи в вакууме. Он находится в гуще войны между теми, кто считает истину абсолютной, и теми, кто считает её относительной. И он ведёт эту войну всеми имеющимися у него средствами. И противник у него — софисты.

Только теперь становится понятной ненависть Платона к софистам. Он с Сократом защищает Бессмертный принцип космологов от того, что они считают декадентством софистов. Истина. Знание. Они не зависят от того, что кто-либо о них думает. Идеал, за который Сократ отдал жизнь. Идеал, который есть только у Греции впервые в истории мира. Он всё ещё очень хрупок. И может исчезнуть совсем. Платон безудержно проклиная софистов не потому, что они низкие и аморальные люди, в Греции очевидно есть гораздо более низкие и аморальные люди, на которых он совершенно не обращает внимания. Он проклиная их за то, что они мешают человечеству впервые ухватить идею истины. Вот в чём дело.

Результатом жертвенности Сократа и последовавшей затем непревзойденной прозы Платона стала вся западная цивилизация человечества в том виде, как она нам известна теперь. Если бы идее истины позволили погибнуть нераскрытой вновь в эру Возрождения, вряд ли мир сегодня ушёл бы далеко от уровня доисторического человека. Идеи науки и техники и прочих систематически организованных усилий человека непосредственно нацелены на это. Это ядро всего.

И всё же Федр понимает, то что он говорит о Качестве, каким-то образом противостоит всему этому. Оно как бы стоит гораздо ближе к софистам.

“Человек есть мера всех вещей”. Да, вот это он и говорит о Качестве. Человек не является источником всех вещей, как сказали бы субъективные

идеалисты. Он также не является пассивным наблюдателем всего, как бы сказали объективные идеалисты и материалисты. Качество, создающее мир, возникает как соотношение человека и его опыта. Он участник создания всех вещей. Мера всех вещей — это подходит. И они учили риторике — тоже сходится.

Единственное, что не сходится из того, что говорит он и что говорит Платон о софистах, так это их претензия на то, что они преподают добродетель. Все сведения указывают на то, что это центральная часть их учения, но как вы собираетесь учить добродетели, если утверждаете, что все этические идеи относительны? Добродетель, если она что-либо значит, прежде всего подразумевает этический абсолют. Человеком, чьи представления о том, что верно, меняются изо дня в день, можно восхищаться, ценить широту его ума, но не его добродетель. По крайней мере не в том плане, как понимает это слово Федр. Но как можно было вывести добродетель из риторики? Это нигде не объясняется. Чего-то не хватает.

В своих поисках он прочитал ряд книг историков древней Греции, которых он как обычно читал так, как читают детективы, выискивая только те факты, которые могли бы помочь ему и отбрасывая те, которые не подходят. Вот он читает “Греков” Г.Д.Ф. Китто, бело-голубенькую книжонку, которую купил за пятьдесят центов, и доходит до абзаца, где дано описание “самой души Гомерического героя”, легендарной фигуры доупадочной, досократовской Греции. Вспышка прозрения по прочтении этих страниц настолько ярка, что герои так и остались в памяти, и я вижу их безо всякого напряжения.

“Илиада” — это история осады Трои, которая будет повержена в прах, а её защитники будут перебиты. Жена их руководителя, Гектора, говорит ему: “Твоя сила тебя же погубит, в тебе нет жалости ни к своему сыну младенцу, ни к своей несчастной жене, которая скоро станет твоей вдовой. Ибо скоро ахейцы набросятся на тебя и убьют, и если я тебя потеряю, то мне лучше самой умереть”.

Муж отвечает ей: “Мне хорошо это известно, я уверен в том, что наступит день, когда погибнет Троя, погибнет Приам и народ богатого Приама. Но я печалюсь не столько о троянцах, не о самой Гекубе, не о царе Приаме, не о моих благородных братьях, которых перебьют враги, и которые будут лежать в пыли, сколько о тебе, когда один из одетых в бронзу ахейцев утащит тебя всю в слезах, и на том закончатся твои дни свободы. Тогда ты, возможно, будешь жить в Аргосе и работать за ткацким станком в доме какой-нибудь женщины или носить воду для другой женщины в

Мессене или Гиперии, ты будешь мучиться в неволе, и на тебе будет тяжёлая обязанность. И увидев тебя плачущей, какой-нибудь мужчина скажет: “Она была женой Гектора, самого благородного в битве укрощающих коней троянцев, когда они сражались за Илион.” Так они будут говорить, и это вновь усугубит твоё горе, тебе придётся вытерпеть и такое. Но пусть лучше я погибну, пусть сомкнётся земля над моей могилой, лишь бы не слышать мне твоих стонов и не видеть насилия, совершённого над тобой.”

Так говорил блистательный Гектор, протягивая руки к сыну. Но младенец заплакал и спрятался на груди своей дородной няньки, ибо испугался при виде дорогого папочки, в бронзе и с конским хвостом, грозно развевавшимся на шлеме. Отец громко рассмеялся, и его благородная жена тоже. Тут же блистательный Гектор снял шлем и положил его на землю, и пока ласкал и лелеял дорогого сыночка, он молился Зевсу и другим богам: “Зевс и вы другие боги, сделайте так, чтобы сын мой, как и я, стал самым славным среди троянцев, чтобы он стал могучим мужчиной и правил в великом Илионе. И пусть говорят, когда он вернётся с войны: “Он гораздо лучше своего отца”.

Китто комментирует: “Греческого воина на подвиги вдохновляет не чувство долга, как мы понимаем его, долг по отношению к другим, а больше долг по отношению к самому себе. Он стремится к тому, что мы называем “добродетелью”, но по-гречески это arete, “великолепие”... мы остановимся поподробнее на arete. Оно пронизывает всю жизнь греков.

Здесь, считает Федр, и есть определение Качества, которое существовало тысячу лет до того, как диалектики стали придумывать для него слова-ловушки. Любой, кто не в состоянии понять это значение без логических *definiens*, *definendum* и *differentia* либо лжёт, либо настолько оторван от общей судьбы человечества, что недостоин вообще получить какой-либо ответ. Федре также восхищает описание мотива “долга по отношению к самому себе”, которое является почти точным переводом санскритского слова *dharma*, которое иногда передают словом “один” на хинди. Могут ли быть *dharma* индусов и “добродетель” древних греков идентичными?

Затем Федр чувствует позыв снова перечитать этот отрывок, он так и делает и затем... что это?!.. “То, что мы переводим как “добродетель”, на греческом значит “великолепие”.

Озарение молнии!

Качество! Добродетель! Дхарма! Вот чему учили софисты! А не этическому релятивизму. Не просто “добродетель”. А arete. Великолепие.

Дхарма! Прежде Храма Разума. Прежде сущности. Прежде формы. Прежде духа и материи. Прежде самой диалектики. Качество было абсолютным. Эти первые учителя западного мира учили Качеству, а среда, которую они выбрали для этого, была риторикой. Он всё время делал всё верно.

Дождь перестал настолько, что стало видно горизонт, чёткую линию, разграничивающую светло-серое небо и темно-серую воду.

Но это ещё не всё, что Китто говорил об arete у древних греков. “Когда мы встречаем arete у Платона, — пишет он, — мы переводим его как “добродетель” и следовательно теряем весь аромат его. “Добродетель”, по крайней мере в современном английском, почти полностью слово, относящееся к морали. Arete, напротив, применяется без разбора во всех категориях и просто означает великолепие.”

Итак, герой “Одиссеи” — это великий воин, ловкий интриган, прирождённый оратор, человек с мужественным сердцем и широкой мудростью, который знает, что ему следует вынести без особых сетований то, что ему посылают боги. Он может и построить корабль и плавать на нём, может провести борозду ничуть не хуже любого, победить молодого хвастуна в метании диска, посостязаться с фракийским юношей в кулачном бою, борьбе или беге, забить быка, снять с него шкуру, разделить его и зажарить, его может взволновать до слёз песня. В действительности он прекрасный мастер во всём, он превосходит arete.

Arete подразумевает уважение цельности и единства жизни и следовательно неприязнь к специализации. Оно подразумевает презрение к эффективности, или пожалуй к гораздо более высокой идее эффективности, эффективности, которая существует не в какой-то одной сфере жизни, а в самой жизни.

Федр вспомнил строку из Торо: “Никогда не приобретаешь ничего, кроме того, что теряешь”. И тогда он впервые стал сознавать невероятные масштабы того, что потерял человек, когда обрёл способность понимать мир и править им в плане диалектических истин. Он выстроил империи научной способности манипулировать явлениями природы и создавать громадные воплощения своих мечтаний о власти и богатстве. Но на них он променял царство понимания не меньших масштабов, понимания того, что значит быть частицей мира, а не его врагом.

В какой-то степени можно обрести спокойствие духа просто наблюдая за горизонтом. Это геометрическая линия... совершенно плоская, ровная и известная. Может быть, это та самая линия, которая привела к евклидовому пониманию линейности, исходная линия, из которой были выведены расчёты первых астрономов, которые начертали звёзды.

Теперь с такой же математической уверенностью, какую ощущал Пуанкаре, решив фуксианские уравнения, Федр понял, что arete и было тем недостающим звеном, которое довершало структуру, но теперь он решил дочитать всё до конца.

Ореол над головами Платона и Сократа теперь исчез. Он понял, что они неизменно проделывают именно то, в чём обвиняют софистов. Они используют эмоционально убедительные выражения для того, чтобы в конечном итоге выдвинуть более слабый аргумент в пользу диалектики так, чтобы он выглядел сильнее. Больше всего мы осуждаем в других то, думал он, чего сильнее всего боимся в себе.

Но почему так, удивлялся Федр. Зачем разрушать arete? И не успел он задать этот вопрос, как тут же появился ответ. Платон и не стремился разрушить arete. Он лишь заключил его в кокон, сделал из него постоянную, фиксированную идею, он превратил его в жёсткую неподвижную Бессмертную истину. Он сделал из arete Благо, высшую форму, высшую Идею всего. Она подчинена только самой Истине в синтезе всего того, что произошло прежде.

Вот почему то Качество, к которому пришёл Федр в классной комнате, казалось так близко к Благу Платона. Благо Платона было взято у риториков. Федр искал, но не нашёл никого из космологов, кто бы прежде говорил о Благе. Оно пришло от софистов. Разница лишь в том, что по Платону Благо было фиксированной, вечной и неподвижной Идеей, а для риториков оно вообще не было идеей. Благо не было формой реальности. Оно было самой реальностью, постоянно изменяющейся, в конечном итоге непостижимой каким-либо фиксированным, жестким путём.

Зачем Платон сделал это? Федр рассматривал философию Платона как результат двух синтезов.

Первый синтез пытался разрешить разногласия между последователями Гераклита и последователями Парменида. Обе космологические школы исповедовали Бессмертную истину. Чтобы добиться исхода борьбы в пользу Истины, где проигрывает arete, против противников, которые учат arete, где проигрывает истина, Платон должен был сначала разрешить внутренний конфликт среди поборников Истины. Поэтому он утверждает, что бессмертная истина не просто изменение, как утверждают последователи Гераклита. Она также не неизменная сущность, как твердят последователи Парменида. Обе эти Бессмертные истины сосуществуют как Идеи, которые неизменны, и как Видимость, которая изменяется. Поэтому Платон находит уместным разделять, к примеру, “лошадность” и “лошадь”, и говорит, что лошадность реальна,

фиксирована, верна и недвижима, а лошадь — простое, неважное, преходящее явление. Лошадность — это чистая Идея. Лошадь, которую мы видим, — это набор изменяющихся Видимостей, лошадь, которая может сколько угодно видоизменяться и двигаться как хочет, может даже тут же сдохнуть, ничуть при этом не потревожив лошадность, которая является Бессмертным принципом и может вечно следовать по путям древних Богов.

Второй синтез Платона — включение arete софистов в эту дихотомию Идей и Видимостей. Он ставит его в положение высших почестей, подчинённое только самой Истине и методу, которым приходят к Истине, диалектике. Но в попытке объединить Благо и Истинное, делая Благо наивысшей из идей, Платон, тем не менее, узурпирует место arete, подставляя туда диалектически определённую истину. Как только Благо ограничились в качестве диалектической идеи, для другого философа не составило труда показать диалектическими методами, что arete, Благо, выгоднее поместить на более низкую позицию в пределах “истинного” порядка вещей, более совместимого с внутренним механизмом диалектики. И такой философ не заставил себя ждать. Его звали Аристотель.

Аристотель чувствовал, что смертная лошадь Видимости, евшая траву, занимавшая место людей и порождавшая маленьких лошадок, заслуживает гораздо больше внимания, чем ей уделит Платон. Он заявил, что эта лошадь не просто Видимость. Видимости льнут к чему-то, что не зависимо от них, и что, подобно идеям, неизменно. Это “нечто”, к которому льнут видимости, он назвал “сущностью”. И именно в этот момент, и ничуть не раньше, родилось наше современное научное понимание реальности.

По “Читателю” Аристотеля, где знания о троянском arete блистают своим отсутствием, во всём доминируют форма и сущность. Благо — относительно мелкая ветвь знаний, называемая этикой; его главным образом интересуют разумение, логика, знания. Arete мертво, а наука, логика и университет в их нынешнем виде получили в качестве устава следующие положения: находить и изобретать бесчисленное множество форм у существенных элементов мира и называть эти формы знанием, а также передавать эти формы будущим поколениям как “систему”.

А риторика. Бедная риторика, когда-то “познававшая” себя, теперь сводится к преподаванию маньеризма и форм, аристотелевых форм, для письма, как если бы они имели значение. Федр припоминал: пять орфографических ошибок, или одна ошибка неполноты предложения, или три определения, поставленных не на месте, или... и так далее и тому подобное. Любой из этих позиций было достаточно, чтобы сообщить студенту, что он не знает риторики. Ведь риторика, в конце концов, в этом и

состоит, не так ли? Конечно, существует также и “пустая риторика”, то есть риторика, вызывающая к эмоциям без должного подчинения диалектической истине, но ведь нам не нужно ничего подобного, а? При этом мы уподобимся тем лгунам, лжецам и мошенникам древней Греции, которых называют софистами, помните их? Мы же выучим истину на других академических курсах, затем подучим слегка риторику, чтобы можно было красиво изложить её и произвести впечатление на наших начальников, которые продвинут нас по службе.

Формы и манеры, которые лучшие ненавидят, а любят худшие. Из года в год, десятилетие за десятилетием “ученики” с первых рядов с любезными улыбками и аккуратным почерком получают аристотелевы пятёрки, а те, кто обладает подлинным arete, молча сидят на задних партах и удивляются, в чём же дело, почему они не могут полюбить этот предмет.

И сейчас в тех немногих университетах, где всё ещё берут на себя труд преподавать классическую этику, студенты, следуя Аристотелю и Платону, бесконечно играют вопросом, который в древней Греции и задавать-то было незачем: “Что такое Благо?” И как мы угадываем его? Поскольку разные люди определяли его по разному, можем ли мы знать, что оно существует вообще? Кое-кто говорит, что благо находят в счастье, но откуда нам знать, что такое счастье? И как можно определить счастье? Счастье и добро — не объективные термины. С ними нельзя иметь дело по научному. А поскольку они не являются объективными, то они существуют лишь в вашем воображении. Так что, если хотите быть счастливы, просто вообразите себе что-либо другое. Ха-ха, ха-ха.”

Аристотелева этика, аристотелевы дефиниции, аристотелева логика, аристотелевы формы, аристотелева сущность, аристотелева риторика, аристотелев смех... ха-ха, ха-ха.”

Кости софистов давным-давно превратились в прах, и то, что они говорили, также обратилось в прах вместе с ними, а прах похоронен под руинами упадочных Афин и затем под руинами падшей Македонии. В результате упадка и гибели древнего Рима и Византии, Оттоманской империи и современных государств они погребены так глубоко, с такой бесцеремонностью, с такой помпой и злорадством, что только сумасшедший спустя века мог бы найти ключи, нужные для их раскрытия, и с ужасом увидел бы, что же было сделано...

На дороге стало так темно, что мне теперь приходится включить фару, чтобы уследить за ней сквозь эти туманы и дождь.

В Аркате мы заходим в небольшую холодную и сырую столовую, едим перцы с бобами и пьём кофе.

Затем мы снова на дороге, на этот раз магистральном шоссе, тоже мокро, но транспорт идёт быстро. Мы сегодня проедем столько, чтобы завтра за день доехать до Сан-Франциско, и сделаем остановку.

Полотно шоссе озаряется странным светом от фар встречных машин через разделительную полосу. Дождь дробью стучит по щитку шлема, который отражает свет странными кругами, которые проходят волнами. Двадцатый век. Он вокруг нас теперь, этот двадцатый век. Пора кончать эту одиссею Федра в двадцатом веке и отделаться от неё.

Когда в следующий раз класс по Идеям и методам, 251, по курсу риторики собрался за круглым столом в южном Чикаго, секретарь факультета объявил, что профессор философии заболел. На следующей неделе он также был болен. Несколько обескураженные остатки класса, которых теперь было около трети от начального числа, отправились через дорогу попить кофе.

За кофейным столиком один студент, которого Федр считал умным, но снобом по интеллекту, сказал: “Такого противного класса как этот у меня до сих пор не было.” При этом он посмотрел на Федра с некоторым женственным капризным выражением, как на человека испортившего всё удовольствие.

— Полностью согласен, — ответил Федр. Он ожидал, что на него набросятся, но ничего такого не случилось.

Остальные студенты как бы чувствовали, что причиной всего этого был Федр, но придраться было не к чему. Затем одна женщина постарше с другого конца стола спросила его, зачем он ходит на этот курс.

— Я вот сейчас как раз и пытаюсь это выяснить, — ответил Федр.

— Вы занимаетесь здесь очно? — спросила она.

— Нет, я ещё преподаю в университете у пирса ВМФ.

— А что вы преподаёте?

— Риторику.

Она запнулась, все за столом повернули к нему головы и замолчали.

Прошёл ноябрь. Листья, прекрасного оранжевого цвета, залитые солнцем в октябре, опали, и голые ветви теперьгнулись под холодным северным ветром. Выпал первый снег и растаял, и мрачный город замер в

ожидании зимы.

Пока профессор философии отсутствовал, им задали ещё один диалог из Платона. Он назывался “Федр”, но для нашего Федре это ничего не значило, ибо в то время он носил другое имя. Греческий Федр не был софистом, а молодым оратором, которого Сократ использовал в качестве партнёра в этом диалоге, посвященном природе любви и возможностям философской риторики. Федр там предстаёт не очень умным, но обладает огромным чувством риторического качества, ибо он по памяти цитирует довольно скверную речь оратора Лизия. Но вскоре выясняется, что эта речь нужна лишь в качестве фона, чтобы Сократу легче было выступить со своей гораздо лучшей речью и продолжить её ещё более блестящим монологом, который является одним из лучших в “Диалогах” Платона.

Кроме этого единственно примечательной чертой диалога была личность Федре. Платон нередко даёт партнёрам Сократа клички, характеризующие их личность. Молодой, слишком разговорчивый, простоватый и добродушный партнёр в “Горгии” назван Полусом, что по-гречески значит “жеребёнок”. Личность Федре отличалась от него. Он не связан с какой-либо конкретной группой. Он предпочитает одиночество сельской местности городу. Он агрессивен до такой степени, что может быть опасен. В одном месте он даже грозит Сократу физической расправой. Федр по-гречески значит “волк”. В этом диалоге его увлекла беседа Сократа на тему любви и он стал совсем ручным.

Наш Федр читает диалог, и на него оказывает огромное впечатление великолепное поэтическое воображение. Но он не поддаётся на это, ибо также чувствует слабый привкус лицемерия. Речь не является самоцелью, а используется для осуждения той же чувственной сферы понимания, к которой он взывает в плане риторики. Страсти характеризуются как разрушитель понимания, и Федр задаётся вопросом, не здесь ли начинается осуждение страстей, так глубоко укоренившееся во всём западном мышлении. Возможно нет. Описание трений между греческим мышлением и эмоциями дано где-то в другом месте как основа греческого уклада и культуры. И всё же интересно.

На следующей неделе профессор философии снова отсутствует, и Федр тем временем решил наверстать запущенную работу в университете штата Иллинойс.

На следующей неделе в книжном магазине чикагского университета через дорогу от того класса, где должны проходить занятия, Федр замечает пару тёмных глаз, уставившихся на него через книжную полку. Когда он увидел лицо, то узнал в нём того несчастного студента, который в начале

четверти получил взбучку и затем пропал. На его лице такое выражение, как будто бы он знает что-то, что неизвестно Федру. Федр решил подойти к нему и поговорить, но тот попятился и вышел из магазина, а Федр так и остался в недоумении. И встревожен. Возможно он просто переутомился и нервничает. Преподавание у пирса ВМФ и стремление побороть всю мощь западного академического мышления в чикагском университете вынуждает его работать по двадцать часов в сутки, пренебрегая пищей и упражнениями. Может он просто переутомился, раз ему показалось что-то странное в этом лице.

Но когда он стал переходить улицу по пути в класс, этот человек последовал за ним, приотстав шагов на двадцать. Что-то не то.

Федр проходит в класс и ждёт. Вскоре туда заходит тот студент, впервые за много недель. Теперь ему уж не получить зачёта. Он смотрит на Федра с затаённой улыбкой. Да-да, он чему-то улыбается.

У дверей раздаются шаги, и вдруг Федр понял, ноги у него стали ватными, а руки начали дрожать. Добродушно улыбаясь, в дверях появляется никто иной, как сам председатель Комиссии по анализу идей и исследованию методов чикагского университета. Он пришёл замещать их преподавателя.

Так вот оно что. Вот теперь-то они и выставят Федра через парадную дверь.

Величественный, вальяжный, с царственным величием председатель стоит некоторое время в дверях, затем заговаривает со знакомым ему студентом. Улыбаясь, он оглядывает класс, как бы высматривая ещё одно знакомое лицо, кивает и слегка хихикает, ожидая, когда прозвенит звонок.

Так вот почему этот паренёк появился здесь. Ему объяснили, что взбучку он получил по ошибке, и чтобы показать, какие они хорошие, ему позволили занять место у ринга, когда будут бить Федра.

Как они это сделают? Федр уже знает. Сначала они диалектически перед всем классом разрушат сложившееся положение и покажут, как мало он знает о Платоне и Аристотеле. Здесь трудностей не будет. Очевидно, им известно о Платоне и Аристотеле в сто раз больше, чем он когда-либо узнает. Они ведь этим занимаются всю свою жизнь.

Затем, когда они основательно искромсают его диалектически, предложат ему либо одеть их форму, либо убираться. После зададут ему ещё несколько вопросов, а он и на них не сможет ответить. Тогда ему скажут, что успехи у него настолько ужасны, что ему не следует больше заниматься и предложат тут же покинуть помещение. Возможны кое-какие вариации, но по существу всё будет так. Всё очень просто.

Ну что ж, он многое познал, для этого ведь он сюда и пришёл. Он сможет доделать диссертацию как-нибудь по другому. При этой мысли ноги у него перестали быть ватными, и он успокаивается.

С тех пор, как они в последний раз виделись с председателем, Федр отрастил бороду, так что тот его не узнал. Но это преимущество продлится недолго. Председатель выявит его достаточно быстро.

Председатель аккуратно кладёт своё пальто, садится на стул по другую сторону большого круглого стола, достаёт старую трубку и набивает её в течение чуть ли не полуминуты. Видно, что он проделывал это множество раз и прежде. Он осматривает лица слушателей улыбочным гипнотическим взглядом, прощупывая настроение, и чувствует, что оно не очень-то хорошее. Он неспешно посасывает трубку.

Вскоре наступает нужный момент, он зажигает трубку и вскоре в классе возникает аромат дыма.

Наконец он произносит:

— Насколько я понимаю, — говорит он, — сегодня мы должны начать обсуждение бессмертного “Федра”. — Он смотрит на каждого в отдельности. Верно?

Его робко заверяют, что это так. Его персона просто величественна.

Председатель затем извиняется за то, что предыдущий профессор отсутствует и обрисовывает план урока. Поскольку сам он уже знает этот диалог, он будет задавать вопросы, по которым можно будет выяснить, насколько хорошо они выучили его.

Федр думает, что это самый лучший способ. Таким образом можно познакомиться с каждым из слушателей. К счастью, Федр настолько тщательно изучил этот диалог, что знает его почти наизусть.

Председатель прав. Это бессмертный диалог, вначале какой-то странный и запутанный, но затем захватывает вас всё крепче и крепче, как сама истина. То, что Федр говорил о Качестве, Сократ описывает как взволнованную душу, источник всего. Противоречий нет. Их и не может быть по основным понятиям монистических философий. Одно в Индии должно быть таким же Одним и в Греции. Если же нет, то их получается два. Среди монистов есть разногласия лишь по поводу атрибутов Одного, а не по нему самому. Поскольку Одно — источник всего и включает в себя всё, ему нельзя дать определение в плане этих вещей, ибо чем бы вы не воспользовались для такого описания, описание всегда будет несколько меньшим чем само Одно. Можно дать описание Одного только аллегорически, с использованием аналогии, применяя воображаемые образы и обороты речи. Сократ избрал аналогию земли и неба, показывая

как отдельные люди притягиваются к Одному колесницей, запряженной двумя конями...

Вот председатель задаёт вопрос слушателю рядом с Федром. Он слегка заигрывает с ним, предлагая ему нападать.

Студент, которого он принял не за того, не нападает, и председатель с огромным разочарованием и неудовольствием отпускает его, упрекнув, что надо было лучше учить материал.

Очередь Федре. Он уже совсем успокоился. Ему нужно теперь объяснить диалог.

— Позвольте мне начать снова по-своему, — говорит он, частью чтобы скрыть, что не слышал, что говорил предыдущий слушатель.

Председатель, посчитав что это ещё один упрёк в адрес соседа, улыбается и снисходительно говорит, что мысль эта неплохая.

Федр продолжает. “Мне кажется, что в этом диалоге личность Федре характеризуется как волк”.

Он произнёс это довольно громко, как-то даже сердито, и председатель чуть ли не вскочил. Попал!

— Так, — говорит председатель, и блеск в его взгляде свидетельствует о том, что он понял, кто этот бородатый нападающий. — Федр по-гречески действительно означает “волк”. Это очень тонкое наблюдение. — Он снова приходит в себя. — Продолжайте.

— Федр встречает Сократа, который является горожанином, и ведёт его в сельскую местность, где упоминает о речи одного оратора, Лизия, которым он восхищается. Сократ просит его прочитать её, и Федр делает это.

— Стоп, — говорит председатель, который теперь полностью освоился с положением. — Вы рассказываете нам сюжет, а не сам диалог. — И обращается к следующему.

К удовлетворению председателя никто из них толком не знает, о чём этот диалог. С притворным огорчением он говорит, что надо читать материал прилежнее, но на этот раз он поможет им и возьмёт на себя труд объяснить диалог самому. Это вызывает огромное облегчение, снимает напряжение, которое он так тщательно нагнетал, и весь класс теперь у него просто в руках.

Председатель раскрывает смысл диалога при полном внимании слушателей. Федр также слушает очень напряжённо.

Чуть погодя что-то начинает его отвлекать. Прозвучала какая-то фальшивая нота. Вначале он не понял, в чём дело, но потом осознал, что председатель совершенно выпустил описание Сократом Одного и

перескочил к аллегории колесницы и коней.

В этой аллегории стремящийся к Одному влеком двумя конями, один из них белый, благородный и покладистый, а другой норовист, упрям, своеволен и чёрен. Первый всемерно помогает ему в движении вверх к вратам рая, второй всячески мешает ему в этом. Председатель ещё не сказал этого, но сейчас он подходит к тому, чтобы сообщить, что белый конь — это умеренный разум, а черный конь — темная страсть, эмоция. Он подошёл вплотную к этому описанию, но теперь фальшивая нота превращается в аккорд.

Он несколько отступает и повторяет: “Сократ поклялся Богам, что говорит правду. Он дал клятву говорить Правду, и если дальше правды не окажется, то он просто продал свою душу.”

ЛОВУШКА! Он использует диалог для доказательства святости разума! Как только это установлено, он может перейти к исследованию того, что такое разум, и затем, вот те на, мы снова в сфере Аристотеля!

Федр поднимает руку ладонью вверх с локтем на столе. Если раньше рука у него дрожала, то теперь она совершенно спокойна. Федр чувствует, что сейчас он официально подписывает себе смертный приговор, но также знает, что подпишет себе смертный приговор другого рода, если опустит руку.

Председатель замечает руку, удивлён этим и встревожен, но даёт ему сказать. И тогда сообщение сделано. Федр говорит: “Всё это просто аналогия”.

Тишина. На лице председателя возникает замешательство.

— Что? — Очарование представления нарушено.

— Всё описание колесницы и коней — это просто аналогия.

— Как? — говорит он громче. — Это правда! Сократ поклялся перед богами, что это правда!

Федр отвечает: “Сократ сам говорит, что это аналогия”.

— Если почитаете диалог, то увидите, что Сократ особо выделяет, что это правда!

— Да, но перед этим... кажется двумя абзацами выше... он говорит, что это аналогия.

Книга лежит на столе, и можно проверить, но у председателя хватает ума не делать этого. Если он это сделает, и Федр окажется прав, то его репутация в классе окажется совершенно подмоченной. Ведь он же говорил в классе, что никто из них толком не читал эту книгу.

Риторика-диалектика: 1–0.

Просто удивительно, думает Федр, как это он смог вспомнить такое.

Это же рушит все позиции диалектики. Вот сейчас может начаться весь спектакль. Конечно же это аналогия. Всё на свете — аналогия. Но диалектики этого не знают. Вот почему председатель и упустил это утверждение Сократа. Федр ухватил его и запомнил, ибо если бы Сократ не говорил этого, он не стал бы говорить об “Истине”.

Никто ещё этого не понимает, но вскоре все поймут. Председателя Комиссии по анализу идей и исследованию методов только что подстрелили в его собственной аудитории.

Теперь у него нет слов. Он не в состоянии произнести ни фразы. Молчание, которое так помогло ему создать впечатление в начале урока, теперь разрушает его. И он не понимает, откуда в него выстрелили. Ему никогда не приходилось сталкиваться с живым софистом. Только с мёртвыми.

Он пытается ухватиться за что-нибудь, но ничего такого нет. Инерция заносит его в пропасть, и когда он обретает дар речи, то говорит уже совсем другой человек, школьник, не выучивший урока, перепутавший всё на свете, но взывающий всё-таки к снисхождению.

Он пытается блефовать, повторив, что никто толком не выучил урока, но студент справа от Федре качает головой. Очевидно, кое-кто выучил.

Председатель колеблется и мямлит, выказывает свой страх перед классом, и его больше не слушают. Федр задумывается, каковы же будут последствия этого.

Затем происходит нечто дурное. Побитый студент, который следил за ним прежде, теперь осмелел. Он дерзит председателю, задаёт ему саркастические вопросы с инсинуациями. Уже поверженного председателя теперь добивают... а затем Федр сознаёт, что всё это предназначалось для него самого.

Но ему не жаль, ему просто противно. Когда пастух идёт на волка и берёт с собой собаку, то не надо делать таких ошибок. Ведь собака в какой-то степени сродни волку, а пастух вероятно позабыл об этом.

На выручку ему приходит какая-то девушка и задаёт ему простые вопросы. Он с признательностью откликается на это, обстоятельно отвечает на них и постепенно приходит в себя.

И тогда ему задают вопрос: “А что такое диалектика?:

Он задумывается, затем, Боже ты мой, поворачивается к Федру и спрашивает, не ответит ли тот на вопрос.

— Вы имеете в виду моё личное мнение? — спрашивает Федр.

— Нет... ну, скажем мнение Аристотеля.

Никаких больше уверток. Он хочет заманить Федре на свою

территорию и там расправиться с ним.

— Насколько мне известно... — говорит Федр и делает паузу.

— Да? — Председатель расплывается в улыбке. Всё теперь расставлено.

— Насколько мне известно, Аристотель считает, что диалектика превыше всего.

Благостное выражение председателя в долю секунды меняется на шок и гнев. Вот так! Выражение его лица кричит об этом, но он так и не произносит этого. Охотник снова попался в капкан. Он ничего не может сделать с Федром насчёт цитаты, взятой из его же собственной статьи в “Энциклопедии Британника”. Риторика-диалектика: 2-О.

— А из диалектики происходят формы, — продолжает Федр, — а из...”. Но председатель прерывает его. Он видит, что так дальше продолжаться не может, и кончает дискуссию.

Федр думает про себя, что не следовало ему так поступать. Если бы он был настоящим искателем истины, а не пропагандистом какой-либо частной точки зрения, то он не сделал бы этого. Возможно, кое-что и познал бы при этом. Как только сказано, что “диалектика превыше всего”, само это утверждение становится диалектическим единством, которое подлежит диалектическому анализу.

Федр тогда спросил бы: “А каковы доказательства того, что диалектический метод вопросов и ответов при отыскании истины превыше всего? Таковых вовсе нет. А если это утверждение взять изолированно и исследовать его, то оно становится просто смехотворным. Вот она диалектика, как ньютонов закон тяготения, просто сидит себе посреди пустоты и порождает вселенную, а? Глупость.

Диалектика, родительница логики, сама вышла из риторики. Риторика, в свою очередь, дитя мифов и поэзии древней Греции. Так это было исторически, так это есть при любом восприятии здравого смысла. Поэзия и мифы — вот ответ доисторических народов на вселенную вокруг них, сотворённую на основе Качества. Именно Качество, а не диалектика, генератор всего, что нам известно.

Урок заканчивается, председатель стоит у дверей и отвечает на вопросы, Федр чуть было не подошёл сказать ему пару слов, но передумал. Если вся жизнь проходит в потасовках, то не возникает желания вступать в общение, которое может вызвать новую. До сих пор не было сказано никаких дружеских слов, даже намёков не было на это, а враждебность уже проявилась в значительной мере.

Федр — волк. Подходит. Пока он лёгкими шагами идёт к себе домой,

он понимает, что такое сравнение подходит всё больше и больше. Он не будет счастлив, даже если бы они с радостью приняли его диссертацию. Враждебность — вот его стихия. Так оно и есть в самом деле. Федр — волк, да, он спустился с гор, чтобы травить невинных граждан интеллектуального сообщества. Всё сходится.

Храм разума, как и все институты системы, основан не на индивидуальной силе, а на индивидуальной слабости. В Храме разума в действительности требуются не способности, а неспособность. Тогда вас считают подходящим для обучения. По настоящему способный человек считается угрозой. Федр понимает, что упустил шанс вписаться в эту организацию посредством подчинения тем аристотелевым положениям, которые требовались. Но возможность такого рода вряд ли стоит того, чтобы кланяться, лебезить и интеллектуально стелиться перед кем-либо. Такая жизнь слишком низкого качества.

Качество ему лучше видится на границе снегов, чем здесь у закопчённых окон и океанах слов. Он понимает, что здесь никогда не примут того, что он говорит, ибо для этого надо быть свободным от социальных авторитетов, а здесь всё-таки учреждение общественной значимости. Пастух говорит, что качество должно быть для овец. А если взять овцу и поместить её на границу снегов ночью, когда воет ветер, то овца перепугается до полусмерти и будет блять и звать до тех пор, пока не появится либо пастух, либо волк.

На следующем занятии он делает последнюю попытку хоть как-нибудь быть любезным, но председатель отвергает её. Федр просит его разъяснить какой-то пункт, говоря, что не смог понять его. Он понял, но считает, что было бы неплохо немного полюбезничать.

Ответ прозвучал так: “Может вы просто устали”. Причём это было сказано с презрением, но он не оскорбился. Председатель просто осуждает в Федре то, чего он больше всего боится в себе. Остаток урока Федр смотрит в окно, с сожалением думая об этом старом пастухе, его овцах и собаках, а также сожалея, что сам он так и не сможет стать среди них своим. Затем, когда прозвенел звонок, он уходит насовсем.

И напротив, занятия в классах у пирса ВМФ просто кипят, студенты внимательно слушают странную бородатую фигуру с гор, которая говорит им, что во вселенной есть такая вещь, как Качество, и что им известно, что это такое. Они не знают, как к этому относиться, не уверены в себе, некоторые даже его побаиваются. Они чувствуют, что он почему-то опасен, но все им увлечены и готовы слушать его дальше.

Но Федр вовсе не пастух, и то, что ему приходится вести себя так,

просто убивает его. То странное, что всегда случалось в его классах, происходит снова. Неуправляемые и своевольные студенты с задних парт сочувствуют ему и ходят у него в любимцах, а прилежные и послушные с передних парт боятся его, он их презирует. Но в конце концов овцы всё сдают, а его непокорные друзья с задних парт проваливаются. Федр понимает, хоть и не хочет даже сейчас признаваться себе в этом, он интуитивно чувствует, что его пастушеские дни также подходят к концу. Он всё чаще и чаще задумывается, что же будет дальше.

В классе он всегда боялся тишины, той тишины, что погубила председателя. Не в его характере говорить часами, говорить и говорить, это его утомляет. Теперь же ему больше не к чему обратиться, и появился этот страх.

Он приходит в класс, звенит звонок, Федр садится, но ничего не говорит. Он молчит весь урок. Кое-кто из студентов пытается расшевелить его, но затем умолкают и сами. Другие же чуть ли не сходят с ума от внутренней паники. В конце урока весь класс буквально срывается с места и бежит к двери. Затем он идёт в другой класс, и всё повторяется вновь. Потом Федр уходит домой. И всё больше и больше задумывается о том, что же будет дальше.

Наступает День благодарения.

Вместо четырёх часов он теперь спит только два, затем перестал спать совсем. Всё кончено. Он больше не вернётся к изучению аристотелевой риторики. Никогда больше он не будет преподавать этот предмет. Конец. Он начинает скитаться по улицам, голова у него идёт кругом.

Город охватывает его теперь, и его странная перспектива становится антитезисом того, во что он верит. Не цитаделью Качества, а цитаделью формы и сущности. Сущности в форме стальных листов и балок, сущности в форме бетонных пирсов и дорог, в форме кирпича, асфальта, автомобильных частей, старых радиоприёмников и рельсов, трупов животных, которые когда-то паслись в прериях. Форма и сущность без качества. В этом душа этого места. Слепая, огромная, зловещая и бесчеловечная. Она видится в свете пламени, рвущегося вверх в ночи из доменных печей на юге, сквозь тяжёлый угольный дым, сгущающийся и опускающийся всё ниже, в неоновых вывесках “Пиво”, “Пицца” и “Прачечная-автомат”, а также в неизвестных и бессмысленных вывесках на непонятных прямых улицах, бесконечно переходящих в другие прямые улицы.

Если бы всё было лишь кирпичом и бетоном, чистыми формами сущности, чёткими и открытыми, то он может и выжил бы. Но его просто

доконали мелкие жалкие потуги на Качество. Обои в квартире в виде камина, он совсем как настоящий, лишь ждёт огня, которого никогда не будет. Или живая изгородь перед домом с клочком травы позади неё. Клочок травы после Монтаны. Если бы здесь не было этого заборчика и клочка травы, то всё было бы ещё ничего. А теперь они лишь привлекают внимание к тому, что утрачено.

На улицах, идущих от его дома, он не может разглядеть ничего сквозь бетон, кирпич и неон. Но он знает, что внутри похоронены гротескные, изломанные души, вечно примеряющие себе манеры, убеждающие их, что они обладают Качеством, заучивают странные стильные позы блеска, предлагаемые модными журналами и другими средствами массовой информации, за которые платят продавцы сущности. Он в одиночестве думает о них по ночам, с их рекламируемыми блестящими туфлями, чулками и нижним бельём, глядящих из-за пыльных витрин на гротескные раковины позади себя. Когда позы слабеют, вкрадывается правда, единственная правда, что есть на свете, вызывающая к небесам, Боже, ведь здесь ничего нет, кроме мертвого неона, бетона и кирпича.

Он начинает терять чувство времени. Иногда мысли его несутся со скоростью, близкой к скорости света. Но когда он пытается принимать обыденные решения, то кажется, проходят многие минуты, пока возникнет хоть одна мысль. В мозгу у него начинает созревать одна единственная мысль, взятая из того, что он читал в диалоге “Федр”.

“Что написано хорошо и что написано плохо, — надо ли просить Лизия, другого поэта или оратора, который написал или когда-нибудь напишет политическую или другую работу, стихом или прозой, поэта или писателя, научить нас этому?”

Что такое благо, Федр, и что не есть благо, — надо ли нам спрашивать кого-либо об этом?

Именно об этом он говорил много месяцев назад в классе в Монтане. Платон и все диалектики после него упустили эту мысль, ибо они стремились дать определение Блага в интеллектуальной связи в вещами. А теперь он понимает, как далеко отошёл от этого. Теперь он сам делает то же самое. Первоначально цель у него была в том, чтобы оставить Качество без определения, но в процессе борьбы с диалектиками он делал заявления, и каждое из них стало кирпичом в стене определения, которую он сам строил вокруг Качества. Любая попытка расположить организованный разум вокруг неопределённого качества разрушает саму задачу. Ибо сама организация разума нарушает качество. Всё, чем он занимался, с самого начала было дурацкой затеей.

На третий день он поворачивает за угол на перекрёстке незнакомых улиц, и у него помутилось в глазах. Когда он приходит в себя, то видит, что лежит на тротуаре, а люди ходят вокруг, как будто бы его там и нет. Он с трудом поднимается и напряжённо пытается вспомнить путь к себе домой. А мысли всё тормозятся. Всё замедляются. Вот примерно в это время они с Крисом пытаются найти ночлежные кровати для детей. После этого он уже не выходит из дому.

Скрестив ноги он лежит на покрытом одеялом тюфяке на полу комнаты, где нет даже кровати, и тупо смотрит в стену. Все мосты сожжены. Назад пути нет. А теперь нет и пути вперёд.

Трое суток Федр смотрит на стену спальни, мысли его не движутся ни вперёд, ни назад, застопорившись на текущем. Жена спрашивает, не заболел ли он, а он не отвечает. Жена начинает сердиться, а Федр лишь безучастно слушает. Он слышит, что она говорит ему, но в этом нет уже никакой важности. И не только мысли у него замедляются, но и желания тоже. Они всё тормозятся и тормозятся, как бы набирая инертную массу. Так тяжело, он так устал, но сон не приходит. Он чувствует себя гигантом, ростом в миллион миль. Он чувствует, что восходит в беспредельную вселенную.

Он начинает отказываться от всего, что обременяло его всю жизнь. Он говорит жене, чтобы она бросила его и ушла с детьми, чтобы считала себя свободной. Страх отвращения и стыда пропадают, когда моча у него непроизвольно начинает вытекать на пол комнаты. Страх боли, боли мучеников проходит, когда сигареты начинают догорать до самых пальцев, и на руках у него образовались волдыри ожогов. Жена видит его обложенные руки, мочу на полу и обращается за помощью.

Но ещё до того, как пришла помощь, сознание Федра медленно и незаметно начинает распадаться... растворяться и улетучиваться. И потом его уж больше не интересует, что будет дальше. Он уже знает, что будет, и он льёт слёзы по своей семье, по себе самому, по всему миру. Возникает обрывок из старого христианского гимна: “Ты должен пересечь эту долину в одиночестве”. Он захватывает его. “Ты обязан перейти её сам.” Он похож на западный гимн, место которому в Монтане.

“Никто за тебя её не перейдёт”, - говорится в нём. Там дальше как будто есть что-то. “Ты обязан пройти её сам”.

Он пересекает эту пустынную долину из мифа, и как бы воспрянув ото сна видит, что всё его сознание, миф, был просто сон, не чей-либо сон, а его собственный, сон, который он теперь должен поддерживать собственными усилиями. Затем исчезает даже “он”, и остаётся только сон о

себе самом с ним в нём.

А Качество, arete, за которое он так боролся, ради которого шёл на такие жертвы, которое его ни разу не предало, но которое за всё это время так никто и не понял, теперь становится для него совершенно ясным, и на душе у него стало покойно.

Поток машин почти иссяк, а дорога настолько черна, что свет фары еле пробивается сквозь дождь, едва освещая её. Убийственно. Может случиться всё, что угодно: внезапный ухаб, масляное пятно, задавленное животное... Но если ехать медленно, то тебя убьют сзади. Не отдаю себе отчёта, чего это мы всё едем. Давно надо было остановиться. Совсем не соображаю, что делаю. Наверное я высматривал вывески мотелей, но задумавшись пропускал их. Если так пойдёт дальше, то они все скоро закроются.

На следующем выезде с магистрали мы съезжаем в надежде, что попадём куда-нибудь, и вскоре оказываемся на ухабистой дороге с остатками гравия. Еду медленно. Уличные фонари мутно просвечивают призрачным светом сквозь пелену дождя. Попеременно мы попадаем со света в тень, снова свет и тень, но никаких признаков пристанища не видно. Слева появляется знак “Стоп”, но нет указателя, куда поворачивать. Одна сторона его такая же тёмная, как и другая. Можно бесконечно ездить по этим улицам и ничего не найти, а теперь даже не сможем вернуться обратно на магистраль.

— Где это мы? — кричит Крис.

— Не знаю. — Я уже туго соображаю. Даже не представляю себе, как правильно ответить... или что делать дальше.

Вдруг замечаю яркий свет и светящуюся вывеску бензоколонки дальше по улице.

Она ещё открыта. Подъезжаем и заходим внутрь. Заправщик, чуть ли не ровесник Крису, смотрит на нас как-то странно. Он не знает ни о каких мотелях. Я беру телефонный справочник, нахожу несколько адресов. Он пытается дать пояснения, но как-то путано. Я звоню в мотель, который ближе всего, заказываю номер и уточняю, как проехать.

Но в такой дождь на тёмных улицах, даже после указаний, мы чуть не проехали мимо. Они уже выключили свет, и оформляют нас молча.

Комната представляет собой наследие серости тридцатых годов, угрюмое помещение, отделанное плотником самоучкой, но там сухо, есть обогреватель и постели, а нам только это и нужно. Я включаю обогреватель, мы садимся рядом с ним, и вскоре холод, дрожь и влага покидают нас.

Крис, не поднимая головы, просто смотрит на решётку обогревателя в

стене. Немного спустя он произносит: “Когда мы поедем домой?”

Провал.

— Когда приедем в Сан-Франциско, — отвечаю, — а что?

— Мне так надоело просто сидеть и... — Голос у него замирает.

— И что?

— Да... не знаю. Просто сидишь... как будто мы никуда и не едем по-настоящему.

— А куда надо ехать?

— Не знаю. Откуда мне знать?

— Я тоже не знаю, — отвечаю я.

— Ну почему ты не знаешь?! — всхлипывает он и начинает плакать.

— В чём дело, Крис?

Он не отвечает. Затем опускает голову на ладони и начинает раскачиваться. От этого у меня возникает какое-то нереальное ощущение. Чуть погодя он перестаёт качаться и говорит: “Когда я был маленький, всё было не так.”

— А как?

— Не знаю. Мы всегда что-то делали. То, что мне хотелось делать. А теперь мне не хочется делать ничего.

Он снова раскачивается всё таким же образом, положив голову на руки, а я не знаю, что мне делать. Какое-то странное, неземное качательное движение, как у младенца во чреве, когда ты остаёшься вне, когда всё вокруг отгорожено. Возврат куда-то в неизвестное место... дно океана.

Теперь я знаю, где я видел всё это, на полу в больнице.

Не знаю, что же делать.

Немного спустя мы раскладываем постели, и я пытаюсь уснуть. Затем спрашиваю Криса: “А что, было лучше, до того, как мы уехали из Чикаго?”

— Да.

— Чем? Что ты помнишь?

— Было интересно.

— Интересно?

— Да, — отвечает он и замолкает. Затем продолжает: “Помнишь, как мы искали ночлежку?”

— И это было интересно?

— Конечно, — отвечает он и снова надолго замолкает. Дальше:

“Ну разве ты не помнишь? Ты заставлял меня искать дорогу домой... Ты тогда любил играть с нами. Ты рассказывал нам разные истории, мы катались повсюду, а теперь ты ничего такого не делаешь”.

— Так ведь делаю.

— Нет, не делаешь! Ты просто сидишь, уставившись куда-то, и ничего не делаешь! — Слышу, что он снова плачет. Дождь порывами стучит в окно, и я чувствую, как на меня наваливается какая-то тяжесть. Он плачет по нему. Ему не хватает его. Вот о чём был тот сон. В том сне...

Кажется бесконечно долго я продолжаю прислушиваться к потрескиванию обогревателя, к шуму ветра и дождя на крыше и за окном. Затем дождь затихает, и слышен только звук капель с деревьев, качающихся под порывами ветра.

Поутру меня остановил вид зелёного слизняка на земле. Он около шести дюймов длиной, три четверти дюйма шириной, мягкий, как будто резиновый и покрытый слизью как какой-то внутренний орган животного.

Вокруг меня всё сыро, влажно, туманно и холодно, но достаточно ясно видно, что мотель, где мы расположились, стоит на склоне, поросшем яблонями, травой и сорняком под ними. Их листья усыпаны каплями не то росы, не то дождя, которые ещё остались с ночи. Замечаю ещё одного слизняка, ещё одного, Боже мой, да они тут просто кишмя кишат.

Когда подошёл Крис, я ему показываю их. Он движется медленно, как улитка по листу, и никак не реагирует.

Мы выезжаем из мотеля и завтракаем в городке у дороги под названием Веотт, а настроение у него всё ещё отчуждённое. Настрой у него такой, что он всё смотрит в сторону и не хочет разговаривать, и я не докучаю ему.

Дальше в Леггете мы подходим к пруду с утками, где покупаем корм и бросаем его уткам, но я вижу, что он делает это настолько безучастно, что дальше некуда. Затем мы попадаем на какую-то извилистую горную дорогу и вдруг оказываемся в густом тумане. Температура падает, и я ощутил, что мы снова у океана.

Когда туман рассеялся, с высокого гребня нам виден океан, он от нас далеко и кажется синим-синим. Чем дальше мы едем, тем холодней мне становится, совсем замерзаю.

Мы останавливаемся, я достаю куртку и надеваю её. Вижу, что Крис подходит совсем близко к краю утёса.

— КРИС! — кричу я. Он не отвечает.

Я подбегаю, хватаю его за ворот рубашки и оттаскиваю назад.

— Не делай этого.

Он смотрит на меня как-то прищурившись.

Достаю одежду и подаю её ему. Он берёт, но всё копается и не одевает.

Торопить его теперь бесполезно. В таком настроении он будет делать только то, что хочет.

А он всё тянет и тянет. Проходит десять, пятнадцать минут.

Ну что ж, кто кого переупрямит.

Тридцать минут спустя на холодном ветру с океана он спрашивает: “Куда мы едем?”

— Теперь на юг, по побережью.

— Поедем назад.

— Куда?

— Туда, где теплее.

На это ушло бы миль сто лишних. — Сейчас мы поедем на юг, — повторяю я.

— Зачем?

— Потому что назад придётся давать крюк во много-много миль.

— Поехали назад.

— Нет. Одевай тёплые вещи.

Но он не делает этого и просто сидит на земле.

Минут пятнадцать спустя он снова говорит: “Поехали назад.”

— Крис, не ты ведёшь мотоцикл, а я. Мы поедем на юг.

— Почему?

— Потому что слишком далеко, и потому что я так сказал.

— Ну, а почему бы нам просто не поехать назад?

Меня охватывает гнев. — Да тебе и вовсе это ни к чему, а?

— А я хочу назад. Ну скажи, почему нельзя ехать назад?

Я стараюсь сдержаться. — В самом деле тебе вовсе не хочется назад. В действительности ты лишь хочешь посердить меня, Крис. И если постараться, то у тебя получится!

Вспышка страха. Вот этого ему и надо было. Ему хочется возненавидеть меня. Потому что я — это не он.

Он угрюмо смотрит в землю и надевает теплые вещи. Мы снова садимся на машину и едем дальше по побережью.

Я могу строить из себя отца, какой у него должен быть, но подсознательно, на уровне качества, он разгадывает это и понимает, что настоящего отца тут нет. Во всех этих беседах шатокуа не раз проглядывало лицемерие. Вновь и вновь даётся совет устранить двойственность субъекта-объекта, причём самая большая двойственность, между ним и мной, так и осталась нераскрытой. Раздвоение личности.

Кто же это сделал? Не я же. И никак нельзя исправить этого... Я всё думаю, насколько же глубоко дно у океана...

Я по существу раскаявшийся еретик, и поэтому в глазах всех спас свою душу. В глазах всех, кроме одного, который глубоко внутри знает, что спас он всего лишь шкуру.

Я существую теперь главным образом доставляя удовольствие другим. Так поступаешь, чтобы выбраться. Чтобы выбраться, надо сообразить, что они хотят от тебя услышать, затем произносишь всё как можно

убедительнее и оригинальнее, и если убедил их, то тогда спасён. Если бы я не набросился на него, то мы всё ещё были бы там, но он остался верен тому, во что верил до самого конца. Вот в этом разница между нами, и Крис знает об этом. Вот поэтому-то я иногда чувствую, что он — это реальность, а я — призрак.

Теперь мы на побережье графства Мендочино, здесь всё так буйно, прекрасно и открыто. Холмы большей частью покрыты травой, но в складках скал и между холмами растёт кустарник, причудливо изогнутый восходящими потоками ветра с океана. Мы проезжаем мимо старых, потрёпанных непогодой деревянных заборов. Вдалеке маячит старый серый фермерский дом. Как можно здесь вести хозяйство? Забор во многих местах поломан. Бедность.

Там, где дорога спускается с высоких утёсов на плёс, мы останавливаемся отдохнуть. Когда я выключил мотор, Крис спрашивает: “И зачем это мы здесь остановились?”

— Я устал.

— Ну а я — нет. Поехали. — Он всё ещё сердится. Я тоже сердит.

— Сходи-ка ты на пляж и побегай кругами, пока я отдохну.

— Поехали, — канючит он, но я отхожу в сторону и не обращаю на него внимания. Он садится на обочине около мотоцикла.

С океана доносится сильный запах гниющих органических веществ, а холодный ветер не располагает к отдыху. Но я нахожу большую грудку серых камней, куда ветер не задувает, а солнышко довольно хорошо прогревает. Я впитываю в себя тепло солнечных лучей и стараюсь быть благодарным судьбе за то небольшое, что есть.

Мы снова в пути, и теперь я начинаю сознавать, что он — другой Федр, который думает и действует так, как первый, везде ищет неприятностей, его влекут силы, о которых он едва догадывается и которых не понимает. Вопросы... те самые вопросы... ему нужно знать всё.

Если он не получает ответа, то будет добиваться, пока не получит, а он влечет за собой новый вопрос, и он снова и снова будет добиваться ответа... бесконечная погоня, он никак не может сообразить и понять, что вопросы никогда не иссякнут. Чего-то не хватает, он это чувствует и готов убиться, лишь бы выяснить.

Мы едем по гребню высокого утёса с крутым поворотом. Океан простирается бесконечно, холодный и синий, он навеивает странное чувство отчаяния. Жители побережья даже и не знают, что символизирует океан для сухопутных людей, какая это заветная мечта, которая таится глубоко подсознательно, но не видима. Когда же они попадают к океану и

сравнивают своё восприятие с той мечтой, то просто сокрушаются от того, что приехали так далеко и столкнулись с такой тайной, которую ничем не измерить. Источник всего на свете.

Много времени спустя мы приезжаем в город, где светлая дымка, казавшаяся такой естественной над океаном, теперь видится на улицах города. Она придаёт им некий ореол, туманное солнечное сияние вызывает какую-то ностальгию, как если бы ты был здесь много лет тому назад.

Мы заходим в переполненный ресторан, с трудом находим свободный столик у окна с видом на сияющую улицу. Крис насупился и не хочет разговаривать. Возможно, каким-то образом он чувствует, что ехать нам осталось немного.

— Мне не хочется есть, — говорит он.

— Ну, подожди, пока я поем.

— Поехали, я не хочу есть.

— Ну а я хочу.

— А я не хочу. У меня болит живот. — Старый симптом.

Я обедаю под гул разговоров и звяканье тарелок и ложек на других столах, через окно вижу, как проезжает человек на мотоцикле. У меня такое ощущение, что мы приехали на конец света.

Поднимаю взгляд и вижу, что Крис плачет.

— Ну что теперь?

— Живот. Болит.

— И всё?

— Нет. Мне всё опротивело... Зря я поехал... Ненавижу эту поездку... Я думал, будет интересно, а всё не так... Зря я поехал. — Он всегда говорит правду, как Федр. И подобно Федру он теперь смотрит на меня со всё большей и большей ненавистью. Пришло время.

— Я думал, Крис, посадить тебя здесь на автобус и отправить домой.

Вначале лицо у него ничего не выражает, затем появляется удивление и досада.

Добавляю: “Я поеду дальше на мотоцикле один, и мы встретимся снова через неделю-другую. Чего тебе мучиться, раз уж так вышло?”

Теперь настала моя очередь удивляться. Ему совсем не стало легче. Он раздосадован ещё больше, насупился и молчит.

Кажется, он совсем растерялся и напугался.

Поднимает взор. — А где я буду жить?

— Ну, в нашем доме больше жить нельзя, там ведь теперь живут другие люди. Можно побыть у бабушки с дедушкой.

— Не хочу я жить у них.

— Можно пожить у тёти.

— Она меня не любит, а я не люблю её.

— Тогда у других бабушки с дедушкой.

— У них тоже не хочу жить.

Я называю ещё несколько мест, но он только качает головой.

— Ну так с кем же тогда?

— Не знаю.

— Крис, кажется, ты уже сам понимаешь, в чём дело. Ты не хочешь продолжать поездку. Тебе она не нравится. И всё же ты не хочешь жить нигде и ни с кем. Все те, кого я тебе называл, либо не нравятся тебе, либо ты им не нравишься.

Он молчит, но на глаза у него наворачиваются слёзы.

Женщина за соседним столом смотрит на меня сердито. Она раскрывает рот, как если бы хотела что-то сказать. Я смотрю на неё тяжелым долгим взглядом, она закрывает рот и снова принимается за еду.

Теперь Крис уже плачет вовсю, и люди за другими столами обращают на нас внимание.

— Пойдём прогуляемся, — говорю я и встаю, не дожидаясь счёта.

Официантка у кассы говорит: “Как жаль, что мальчик плохо себя чувствует.” Я киваю, и мы выходим.

В сияющем свете я ищу где-нибудь скамейку, но их нет. Тогда мы садимся на мотоцикл и медленно едем на юг, высматривая тихое место, чтобы остановиться.

Дорога снова ведёт к океану, подымается вверх и очевидно где-то там выходит на берег, но теперь она вся скрыта тучами облаков. На мгновение в прогалине облаков я замечаю, как люди отдыхают на песке, но вскоре туман наплывает снова, и их больше не видать.

Я смотрю на Криса, вижу рассеянный, пустой взгляд, но как только я прошу его сесть, у него вновь появляется страх и ненависть, что были утром.

— Зачем?

— Кажется, нам пора поговорить.

— Ну, говори, — тянет он. И вновь вернулась неприязнь. Он терпеть не может образ “добренького папочки”. Он знает, что “любезность” тут напускная.

— Как насчёт будущего? — До чего же глупый вопрос.

— А что с ним? — парирует он.

— Я хотел спросить тебя, как ты планируешь себе будущее.

— Как будет, так и будет. — Он высказывает презрение.

Туман на время расходится, и видно утёс, где мы сидим, но вот наплывает опять, и у меня возникает чувство неизбежности того, что произойдёт. Что-то меня куда-то влечёт, и я одинаково вижу предметы как краем глаза, так и по центру, всё становится единым и я говорю: “Крис, пора, пожалуй, поговорить кое о чём, чего ты не знаешь.”

Он настораживается, чувствует, что что-то произойдёт.

— Крис, перед тобой отец, который долгое время был умалишенным, и теперь снова на грани того же.

Да уже не на грани. А совсем. Дно океана.

— Я отправляю тебя домой не потому, что сердит на тебя, а потому что боюсь того, что с тобой может случиться, если я буду нести за тебя ответственность дальше.

Выражение на его лице всё ещё не изменилось. Он ещё не понимает, о чём я говорю.

— Так что нам придётся распрощаться, Крис, и я не уверен, что мы когда-либо увидимся вновь.

Вот оно. Сделано. А теперь всё пойдёт естественно.

Он смотрит на меня так странно. Кажется, он всё ещё не понимает. Этот взгляд... где-то я его видел... где... где...

Однажды туманным утром в болотах была маленькая уточка, чирок, который смотрел так... Я подбил ему крыло, лететь он больше не мог. Я подбежал, схватил его за шею, и прежде чем добить, по какому-то необъяснимому ощущению вселенной, остановился и посмотрел ему в глаза, и взгляд у него был такой... спокойный, непонимающий... и всё же сознающий что-то. Я накрыл ему глаза рукой и свернул ему шею, почувствовал как она хрустнула у меня в руке.

Я снял руку. Глаза всё ещё глядели на меня, но уже смотрели в пустоту и больше не следили за моими движениями.

— Крис, теперь это говорят о тебе.

Он уставился на меня.

— Что все эти беды теперь у тебя на уме.

Он отрицательно качает головой.

— Да всё это так кажется, но на самом деле это неправда.

Глаза у него расширяются, он продолжает качать головой, но уже начинает понимать.

— Дела у нас шли всё хуже и хуже. Неприятности в школе, неприятности с соседями, трудности в семье, с друзьями... беда, куда только ни глянь. Крис, только я один не давал им навалиться на тебя, говоря: “У него всё в порядке”, а теперь заступиться будет некому. Ты

понимаешь?

Он молчит, ошеломлённый. Глаза у него всё ещё следят за мной, но уже начинают дёргаться. Я не вселяю в него силы. Я никогда этого не делал. Я просто убиваю его.

— Тут вины твоей нет, Крис. И никогда не было. Пойми, пожалуйста, это.

В глазах его мелькает какая-то внутренняя вспышка. Затем он закрывает глаза, и изо рта у него вырывается странный крик, какой-то вой как бы издали. Он поворачивается, спотыкается и падает, утыкается головой в землю и начинает кататься, свернувшись в клубок. Слабый ветерок разгоняет туман на траве рядом с ним. Неподалёку садится чайка.

Сквозь туман я слышу визг приближающегося грузовика и меня это ужасает.

— Надо встать, Крис.

Вой становится всё пронзительней, бесчеловечней, как сирена где-то вдалеке.

— Вставай!

Он продолжает выть и кататься по земле.

Теперь я просто не знаю, что делать. Не имею никакого поднятия. Всё кончено. Мне хочется бежать на утёс, но я перебарываю это желание. Мне нужно посадить его на автобус, и тогда можно будет и на утёс.

Сейчас-то все в порядке, Крис.

Это не мой голос.

Я тебя не забыл.

Крис перестает кататься.

Как мог я забыть о тебе?

Крис подымает голову и смотрит на меня. Пленка, сквозь которую он всегда смотрел на меня, на миг пропадает, затем появляется вновь.

Теперь мы будем вместе.

Визг грузовика совсем рядом.

Ну, вставай.

Крис медленно садится и смотрит на меня. Подъезжает грузовик, останавливается, шофер выглядывает, не надо ли нас подбросить. Я качаю головой и машу ему, чтобы ехал дальше. Он кивает, включает скорость, и снова слышен только визг в тумане, а мы с Крисом остаемся одни.

Я набрасываю ему на плечи куртку, Он снова уткнул голову в колени и снова плачет, но теперь это тихий человеческий плач, а не тот странный вой, что прежде. Руки у меня вспотели, и я чувствую, что на лбу выступила испарина.

Немного спустя он воет: “Зачем ты бросил нас?”

Когда?

— В больнице.

Мне ничего не оставалось. Ведь вмешалась полиция.

— И тебя не выпускали?

Да.

— Ну, а почему ты не открывал дверь?

Какую дверь?

— Стеклянную!

Меня просто ударило током. О какой стеклянной двери он говорит?

— Разве ты не помнишь? — продолжает он. — Мы стояли по одну сторону, ты был на другой, а мама плакала.

Я никогда не рассказывал ему об этом сне. Вот почему у меня такой странный голос.

Я не мог открыть стеклянную дверь. Мне велели не открывать ее. Мне приходилось подчиняться.

— Я думал, что ты не хочешь видеть нас, — говорит Крис и смотрит вниз.

Все эти годы у него в глазах стоял ужас.

Теперь я вижу эту дверь. Она в больнице.

Я вижу их в последний раз. Я — Федр, вот кто я такой, и они хотят уничтожить меня за то, что я говорю Правду.

Все сошлось.

Крис снова тихонько плачет. Плачет, и плачет, и плачет. Ветер с океана веет сквозь высокие стебли травы вокруг нас, и туман начинает подыматься.

— Не плачь, Крис. Только дети плачут.

Много времени спустя я даю ему тряпку, чтобы вытереть лицо. Мы собираем вещи и укладываем их на мотоцикл. Туман вдруг внезапно подымается, солнце освещает ему лицо, и я замечаю у него такое выражение, какого еще никогда не видел. Он надевает шлем, затягивает ремешок и смотрит на меня.

— Ты действительно был сумасшедшим?

С чего бы это он спрашивает об этом?

Нет.

Он удивлен, но глаза у него сияют.

— Я так и знал.

Потом он садится на мотоцикл, и мы отъезжаем.

Мы теперь едем по прибрежной Мансанита среди кустов с восковыми листьями, мне вспоминается то выражение на лице Криса. Он сказал: “Я так и знал”.

Мотоцикл без особых усилий проходит каждый поворот, наклоняясь так, что наш вес всегда проходит сквозь машину, независимо от того, под каким углом к земле она находится. На пути много цветов и удивительных видов, множество поворотов, следующих один за другим, так что весь мир вместе с нами крутится, вертится, вздымается и падает.

“Я так и знал”, - сказал он. Теперь мне это вспоминается как один из фактиков, дергающих за конец лески, дающих понять, что он не так уж мал, как мне кажется. Он был у него на уме очень давно. Годы. И все его трудности стали гораздо понятнее. “Я так и знал”, - сказал он.

Давным-давно он, должно быть, слышал что-то, и при его детском недопонимании всё у него смешалось. Именно это всегда говорил Федр, я говорил это, много лет назад, а Крис поверил и всё это время скрывал у себя внутри.

Мы были с ним в таких отношениях, которые никогда полностью не понять, возможно не понять вовсе. Он всегда оставался подлинной причиной того, что меня выписали из больницы. Позволить ему расти самому было бы совсем неправильно. И во сне именно он всегда пытался открыть дверь.

И вовсе не я влёл его за собой. Он увлекал меня!

“Я так и знал”, - сказал он. Леска всё дёргается, давая знать, что проблема не так уж и велика, как мне кажется, ибо ответ находится прямо передо мной. Ради бога, освободи его от этого бремени! Стань снова одним человеком!

Нас обволакивают густой аромат и странные запахи цветов на деревьях и кустарниках. Вдали от моря прохлада пропала, и на нас снова наваливается жара. Она просачивается сквозь куртку и одежду, высушивает всю сырость внутри. Перчатки, которые были темными от влаги, снова стали светлеть. Как будто бы океанская сырость пронизала меня до костей, и я как бы забыл, что такое жара. Мне становится дремотно, в небольшой балке вдали я замечаю съезд и стол для пикника. Подъехав туда, я выключаю мотор и останавливаюсь.

— Меня клонит в сон, — говорю Крису. — Вздремну слегка.

— Я тоже, — отвечает он.

Мы поспали, и проснувшись, я чувствую себя хорошо отдохнувшим, так хорошо, как не бывало уже давно. Я беру куртку Криса и свою и запикиваю их под резиновые растяжки багажника.

Так жарко, что мне не хочется одевать шлем. Вспоминаю, что по правилам этого штата, шлем не обязателен. Я привязываю его к одному из шнуров.

— Возьми и мой туда же, — говорит Крис.

— Он нужен тебе для безопасности.

— Но ты же ведь снял.

— Ну хорошо, — соглашаюсь я и креплю его тоже.

Дорога всё так же петляет и кружит среди деревьев. Она подымается на разворотах и спускается к новым видам, открывающимся один за другим то сквозь кустарник, то вновь на чистом месте, откуда видны каньоны под нами.

— Красота! — ору я Крису.

— Незачем орать, — отвечает он.

— О, — восклицаю я и смеюсь. Когда шлем снят, можно говорить нормальным голосом. После всех этих дней!

— Ну, всё-таки красиво, — повторяю я.

Всё больше деревьев, кустов и роц. Становится всё теплее. Крис повисает у меня на плечах, я слегка оборачиваюсь и вижу, что он стоит на подножках.

— Так небезопасно, — говорю я.

— Нет, совсем нет, я всё чувствую.

Возможно и так. — Всё-таки будь осторожен, — бросаю я.

Немного погодя, когда мы въезжаем на серпантин под нависающими над нами деревьями он восклицает “Ох”, чуть позже “Ах” и затем “Ух ты”. Отдельные ветви так низко висят над дорогой, что могут стукнуть его по голове, если не остерегаться.

— В чём дело? — спрашиваю.

— Теперь всё не так.

— А что?

— Всё. Раньше за твоей спиной мне ничего не было видно.

Солнечный свет, попадая на дорогу сквозь ветви деревьев, разливается странным причудливым узором. Свет и тень так и брызжут мне в глаза. Мы входим в вираж и снова вырываемся на свет.

Точно. Я как-то об этом и не думал. Ведь всё это время он сидел глядя мне в спину. — И что ты видишь? — спрашиваю.

— Всё по другому.

Мы снова устремляемся в рощу, и он спрашивает: “А тебе не страшно?”

— Да нет, привыкаешь.

Немного спустя он интересуется: “А когда я вырасту, можно мне будет иметь мотоцикл?”

— Если будешь ухаживать за ним.

— А что надо делать?

— Много чего. Ты ведь смотрел, что я делаю.

— А ты мне всё покажешь?

— Конечно.

— А это трудно?

— Нет, если правильно относиться к этому. Самое трудное — это иметь верное отношение к делу.

— А-а-а.

Некоторое время спустя он садится на место. Затем говорит:

— Пап?

— Да?

— А у меня будет правильное отношение?

— Да, пожалуй, — отвечаю. — Вряд ли у тебя будут проблемы.

Так мы и едем всё дальше и дальше, минуем Юкиа, Хоплэнд, Кloverдейл и въезжаем в виноградарскую местность. На магистральном шоссе мили так и мелькают. Двигатель, протащивший нас через полконтинента, гудит и гудит себе в монотонном забытьи, безразличный ко всему, кроме своих внутренних сил. Проезжаем Асти и Санта-Розу, Петалуму и Новато по шоссе, которое становится все шире, машин на нём всё больше, легковых и грузовых, автобусов, полных людей, вскоре у шоссе появляются дома, суда в заливе неподалёку.

Испытания, конечно, никогда не кончатся. Несчастья и неудачи будут всегда, пока люди живут на свете. Но теперь появилось новое чувство, которого не было прежде, оно не просто лежит на поверхности, оно проникает насквозь. Мы победили. Теперь будет лучше. Такое как бы предсказывается.

Послесловие к изданию 1984 года

В этой книге много говорится о перспективах древних греков и о их значении, но одна перспектива здесь упущена. Это их воззрение на время. Они рассматривали будущее, как нечто наступающее на них сзади, а прошлое отступало у них перед глазами.

Если вдуматься, то такая метафора гораздо более точна, чем современная нам. Кто, в самом деле, может смотреть в будущее? Мы можем всего лишь планировать на основе прошлого, даже если опыт свидетельствует, что такие планы зачастую неверны. И разве может кто-либо позабыть прошлое? Что ещё можно знать?

Десять лет спустя после публикации «Дзэн и искусства ухода за мотоциклом» перспектива древних греков совершенно уместна. Какого рода будущее наступит сзади, я совсем не знаю. А прошлое, простирающееся впереди, заслоняет взор.

Конечно, никто не мог предсказать того, что произошло. Тогда 121 издатель отказался от этой книги, и лишь один-единственный предложил мне стандартный аванс в 3000 долларов. Он сказал, что эта книга заставила его задуматься над тем, зачем он взялся за издательское дело, и добавил, что хоть и почти наверняка это последняя плата, отчаиваться не стоит. При такой книге деньги совсем не главное.

Так и оказалось. Затем настал день публикации, ошеломляющие рецензии, статус бестселлера, интервью для журналов, радио и телевидения, предложения о съёмке фильма, издания за рубежом, бесконечные предложения выступить, и читательская почта, из недели в неделю, месяц за месяцем. В письмах было полно вопросов: Почему? Как это случилось? Что там упущено? Что вас побудило на это? Прослеживается какая-то досада. Они поняли, что в этой книге есть нечто большее, чем видно на глаз. Им хочется услышать всё до конца.

В самом-то деле, нет никакого «секрета». Не было никаких глубинных подспудных мотивов. Просто мне казалось, что написать — это лучшее качество, чем не писать, вот и всё. Но по мере того, как время отступает вперёд и перспектива вокруг книги становится шире, можно дать более подробный ответ.

Есть такое шведское слово *kulturbarer*, которое можно перевести как «носитель культуры», хотя в нём не так уж много смысла. Эта концепция не очень-то в ходу в Америке, хотя и должна бы быть таковой.

Книга, носитель культуры, подобно мулу, тащит культуру на своём горбу. Никому не следует садиться и преднамеренно писать такую книгу. Книги, носители культуры, появляются почти случайно, как происходят внезапные перемены на фондовом рынке. Есть книги высокого качества, являющиеся важной частью культуры, но это не одно и то же. Они её составная часть. Они никуда её не уводят. К примеру, в них могут с сочувствием говорить о безумии, ибо это стандартное культурное отношение. Но в них нет никакого намёка на то, что безумие — нечто иное, чем болезнь или деградация.

Несущие культуру книги бросают вызов посылкам культурных ценностей, и это нередко происходит тогда, когда культура меняется в пользу такого вызова. И книги эти не обязательно высокого качества. «Хижина дяди Тома» не была литературным шедевром, но эта книга — носитель культуры. Она появилась в то время, когда вся культура была на грани отказа от рабства. Люди тянулись к ней как к отражению своих собственных ценностей, и она обрела ошеломляющий успех.

Успех «Дзэн и искусства ухода за мотоциклом» и представляется результатом такого несущего культуру явления. Принудительная шоковая терапия, описанная здесь, сейчас запрещена законом. Она — нарушение свободы человека. Культура изменилась.

Эта книга также появилась во время культурного подъёма по поводу материального успеха. Хиппи его начисто отвергли. Консерваторы обескуражены. Материальный успех был американской мечтой. Миллионы европейских крестьян стремились к нему всю свою жизнь и в поисках его приехали в Америку, мир, где они и их потомки будут, наконец, в достатке. Теперь же их испорченные потомки бросают эту мечту им в лицо и говорят, что она не годится. Чего же они хотят?

Хиппи тоже чего-то хотели, они называли это «свободой», но в конечном анализе «свобода» — это чисто отрицательная цель. Она лишь утверждает, что нечто — плохо. Хиппи практически не предлагали никаких альтернатив, кроме цветастых краткосрочных; к тому же, многие из них всё больше и больше смахивают на чистейшей воды дегенератство. В дегенератстве можно найти удовольствие, но трудно сохранить его как серьёзное занятие на всю жизнь.

В этой книге предлагается другая, более серьёзная альтернатива материальному успеху. И альтернатива вовсе не состоит в расширенном толковании «успеха» по сравнению с устройством на хорошую работу или избавлению от неприятностей. И нечто гораздо большее, чем просто свобода. Она даёт положительную цель работать для того, что не

ограничивается. И в этом, мне кажется, основная причина успеха книги. Вся культура как бы ждала именно того, что предлагается в этой книге. Вот в этом-то смысле она и есть носитель культуры.

У уходящей древнегреческой перспективы за последние десять лет появилась одна очень тёмная грань: Криса больше нет.

Его убили. Примерно в 8:00 вечера, в субботу, 17 ноября 1979 года в Сан-Франциско, он вышел из Дзэн-центра, где занимался, и пошёл навестить приятеля за квартал оттуда на улице Хайт-стрит.

По показаниям очевидцев, рядом с ним на улице остановилась машина, и из неё выскочили два негра. Один из них подошёл к Крису сзади, чтобы он не смог убежать, и скрутил ему руки. Второй спереди обчистил ему карманы, ничего не нашёл и рассердился. Он стал угрожать Крису большим кухонным ножом. Крис ответил что-то, чего свидетель не расслышал. Нападавший рассвирепел ещё больше. Крис тогда добавил ещё что-то, и тот вышел из себя. Он воткнул нож в грудь Крису. Затем оба прыгнули в машину и скрылись.

Крис какое-то время опирался на стоявшую рядом машину, стараясь не упасть. Немного спустя он проковылял через дорогу к фонарю на углу улиц Хайт и Октавия. Затем, когда правое лёгкое наполнилось кровью от перерезанной лёгочной артерии, он упал на тротуар и умер.

Я же продолжаю жить, больше по привычке, чем по другой какой-либо причине. На похоронах мы узнали, что в то утро он купил билет, чтобы ехать в Англию, где я со своей второй женой жил в то время на корабле. Затем от него пришло письмо, в котором, как ни странно, говорилось: «Никогда не думал, что доживу до 23 лет». Двадцать три года ему исполнилось бы через две недели.

После похорон мы погрузили все его вещи, включая подержанный мотоцикл, который он только что купил, на старый полугрузовик и отправились назад по западным горным и пустынным дорогам, описанным в этой книге. В это время года горные леса и прерии были покрыты снегом, пустыни и прекрасны. Когда мы приехали в дом к его дедушке в Миннесоте, мы уже чувствовали себя гораздо спокойнее. Его вещи до сих пор так и находятся на чердаке дома у дедушки.

Меня же вновь и вновь обуревают философские вопросы, которые так и ходят кругами, повторяясь снова и снова, пока на них либо найдётся ответ, либо они зацикливаются и становятся психиатрически опасными, и теперь один из них становится наваждением: «Куда же он шёл?»

Куда шёл Крис? В то утро он купил билет на самолёт. У него был счёт в банке, полный комод одежды, полки, набитые книгами. Он был настоящим, живым человеком, занимавшим место и время на этой планете, и теперь вдруг так внезапно куда он делся? Вылетел ли он в трубу крематория? Был ли он в небольшой урне с костями, что нам вернули? Перебирает ли струны золотой арфы на облаке вверху? Ни один из ответов на эти вопросы не имеет смысла.

Надо бы спросить: К чему я был так привязан? Что-то в воображении? Если вы побывали в психиатрическом заведении, то такой вопрос вовсе не банален. Если же он не был просто плодом воображения, то куда же он делся? Неужели реальные вещи исчезают просто так? Если да, то что-то неладно с законами сохранения вещества в физике. Но если признавать законы физики, тогда исчезнувший Крис был нереален. Кругом, и кругом, и кругом. Он, бывало, убегал от меня так, чтобы позлить. Рано или поздно он всегда появлялся, но где он появится теперь? В самом деле, право же, куда он делся?

Круги, наконец, остановились, когда дошло, что прежде, чем спрашивать «Куда он делся?», надо спросить: «Чем же был “он”, который пропал?» Есть старая культурная привычка думать о людях прежде всего как о чём-то материальном, вроде крови и плоти. До тех пор, пока сохранялась эта идея, решения не было. Окислы плоти и крови Криса действительно вылетели в трубу крематория. Но ведь не они же были Крисом.

Надо дать себе отчёт в том, что Крис, по которому я так тосковал, был не объектом, а структурой, и хотя эта структура несла в себе и плоть, и кровь Криса, это было далеко не всё. Эта структура была больше, чем Крис и я вместе взятые, она связывала нас так, что мы сами этого не понимали целиком, и ни один из нас не мог ею полностью управлять.

Теперь тело Криса, бывшее частью той структуры, ушло. Но более крупная структура осталась. В центре её образовалась большая дыра, вот она и вызвала такую сердечную муку. Структура ищет, к чему бы прилепиться, и не может ничего найти. Вот, возможно, почему скорбящие люди так привязаны к надгробиям и любым вещественным предметам, связанным с усопшими. Структура пытается цепляться за собственное существование, отыскивая новые материальные вещи, на которых можно сосредоточиться.

Несколько позднее стало ясно, что эти мысли весьма сходны с утверждениями, которые находят у многих «примитивных» культур. Если взять ту часть структуры, которая не является плотью и кровью Криса, и

назвать её «духом» или «призраком» Криса, тогда безо всяких дальнейших толкований можно сказать, что дух или призрак Криса ищет себе новое тело, куда бы вселиться. Когда нам рассказывают такое о «примитивных», мы просто отбрасываем это как предрассудки, ибо толкуем призрак или дух как некую материальную эктоплазму, хотя они, возможно, ничего такого вовсе и не подразумевали.

Как бы то ни было, несколько месяцев спустя моя жена совершенно неожиданно забеременела. Тщательно обсудив положение, мы решили, что продолжать это дело не следует. Мне уже за пятьдесят, и я не хочу больше испытывать превратности воспитания ребёнка. С меня достаточно. Итак, мы приняли решение и договорились с врачом о дате визита.

Затем случилось нечто престранное. Я никогда этого не забуду. Когда мы снова в подробностях стали обсуждать наше решение в последний раз, произошло какое-то отчуждение, как будто бы жена стала отдаляться от меня, хотя мы сидели рядом и разговаривали. Мы сидели и нормально разговаривали, глядя друг на друга, но всё стало как на фотографиях ракеты после запуска, когда видно как две ступени разделяются в космосе. Вы думаете, что вы вместе, и вдруг видите, что вы уже больше не одно целое.

Я сказал: «Погоди. Стоп. Что-то не так.» Что это было, неизвестно, но возникла большая напряжённость, и я не хотел, чтобы она сохранялась. Это было нечто по-настоящему пугающее, позднее всё прояснилось. Это была более крупная структура Криса, которая, наконец, дала о себе знать. Мы изменили решение и теперь понимаем, какой катастрофой всё обернулось бы, если бы мы этого не сделали.

Так что, пожалуй, можно сказать, при таком примитивном взгляде на вещи, что Крис всё-таки использовал свой авиабилет. На этот раз он стал маленькой девочкой по имени Нэлл, и наша жизнь снова обрела перспективу. Дыра в той структуре затягивается. О Крисе останутся тысячи воспоминаний, но только не разрушительное цеплянье за какое-то материальное образование, которое никак нельзя вернуть. Теперь мы живём в Швеции, на родине предков моей матери, и я работаю над второй книгой, которая будет продолжением этой.

Нэлл учит меня тем аспектам родительства, которых я прежде не понимал. Если она плачет, пачкается или решает перечить (что бывает относительно редко), то это меня не волнует. Это всегда можно сравнить с молчанием Криса. Теперь же становится гораздо яснее, что, хотя меняются имена и тела, более крупная структура, удерживающая нас вместе, всё же сохраняется. В плане этой структуры в конце книги будут

даны несколько строк. Мы преодолели это. Теперь стало лучше. Такие вещи как бы предсказываются.

ooolo99ikl;ipyknulmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
111

(Последнюю строку написала Нэлл. Она дотянулась до угла машинки, постучала по клавишам и затем стала смотреть с таким блеском в глазах, какой был у Криса. Если редакторы сохраняют эту строку, то это будет её первая опубликованная работа.)

Гётенбург, Швеция, 1984 г.